

Проза  
Очерк и публицистика  
Поэзия  
Критика и литературоведение  
Литературное наследие

Наверное, одной лишь вологодской литературы с ее вершинами, укрепляющими всю современную русскую литературу, явлениями, с ее пока еще не открытыми широким читателем яркими именами хватило бы на целую национальную литературу какой-нибудь вполне приличной европейской страны. Для нас же это лишь часть или, может быть, лишь одна из корневых частей нашей родной русской литературы. И очень грустно то, что всероссийскому читателю она сегодня неизвестна. Мы в своем первом приближении к современной литературе Вологды вполне сознательно чаще обращали внимание на имена для нас новые. Не сомневаемся, что при более обстоятельном изучении будет для нас настоящим открытием вся вологодская литература последних лет.

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ  
«ВЕСТНИК», МОСКВА 2000

Литературная  
ВОЛОГДА

1

К 1316496

ЛВ

Литературная  
ВОЛОГДА

Альманах





Литературная  
ВОЛОГДА

*Альманах*

Оформление  
**Э. В. ФРОЛОВ**

ISBN 5-8402-0073-5

© Вологодская писательская  
организация, 2001

*В этом году Вологодской писательской организации исполняется сорок лет. Накануне праздничных дат свойственно припоминать былое. Прежде всего вспоминаются люди, как ныне живущие, так и оставившие нас.*

*Но история писательской организации — это не только биография людей, трудившихся в ней и создававших ее славу, это книги, издания, без которых она никогда бы не появилась на свет. И, в первую очередь, конечно, альманах «Литературная Вологда».*

*Вот они — пять ныне легендарных томиков, на обложках которых изображены то уголок Вологды, то морозный узор вологодского кружева. С них началась история писательской организации, история современной литературы на Вологодской земле. В самом деле, перелистываешь страницы и видишь имена тогда малознакомые, а ныне гордость нашей отечественной литературы — В. Белов, С. Викулов, А. Романов, В. Коротяев, Б. Чулков... Литературная жизнь на просторах Вологодчины кипела в те годы молодым, бурным ключом, требовала выхода, воплощения в печатных изданиях. Так появился этот альманах. Не все его авторы стали признанными писателями, поэтами, не всё равноценно в их творчестве, но читаешь иной рассказ, стихотворение, и тебя поражит меткое слово, живая интонация, неповторимая примета тех лет, когда страна, оправившись от военного лихолетья, строила будущую жизнь.*

*Альманаху была суждена короткая жизнь, на пятом выпуске он прекратил свое существование. Однако это не был чей-то злой умысел или акт чиновничьего произвола. Просто в 1958 году в Вологде открылось книжное издательство, появилась счастливая возможность печатать молодых, начинающих писателей более широко и объемно, поток рукописей даровитых литераторов не вмещался в рамки альманаха.*

*Прошли годы. Писательская организация обрела заслуженное всероссийское признание, однако в результате произошедших в минувшее десятилетие общественных перемен опубликовать свои произведения стало труднее. Не все же хотят писать пошлые авантюрные романы и пустопорожние романы любовные. Жизнь гораздо богаче и интересней того прокрустова ложа, в которое ее пытается втиснуть нынешний книжный рынок. Искусство не измеряется денежным успехом и скоропреходящей популярностью.*

*Поэтому, чтобы помочь начинающим писателям увидеть свои произведения опубликованными, чтобы рукописи профессиональных писателей, залежавшиеся в столе, нашли своего читателя, Вологодская писательская организация совместно с руководством департамента культуры областной администрации приняли замечательное решение — возобновить издание «Литературной Вологды», который станет выходить регулярно.*

*В альманахе будут приветствоваться любые художественные направления, кроме проповедующих безнравственность, презрения к Отечеству, высокомерие, групповщину под видом современного взгляда на жизнь. Державин — Пушкин — Некрасов — Блок — Рубцов; Карамзин — Пушкин — Достоевский — Булгаков — Белов, — кто скажет, что это одинаковые поэты и писатели, — нет, они разные во всем, кроме одного — любви к Отечеству, к русскому языку, его говорящей, звучной душе. Каждый из них был в свое время новатором, но никогда для каждого из них новаторство не становилось самоцелью.*

*Читатель заметит, что, кроме основных разделов прозы и поэзии, в альманахе присутствует и публицистика, и раздел литературного наследства. Много места в альманахе отведено молодым писателям.*

*Итак, светлого и широкого пути, «Литературная Вологда» нового века!*

## РОБЕРТ БАЛАКШИН

### БРИГАДИР ЗЕМЛЕКОПОВ САША ГОЛОВACHEВ И ВСЕКРЫСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ

(достоверное повествование)

*Мышиный король был тут как тут, и еще отвратительней, чем в прошлую ночь, сверкали его глаза.*

*Э. Т. А. Гофман, «Щелкунчик и мышинный король»*

#### 1

Если бы Саша Головачев знал, что произойдет сегодня с ним на работе, и что последует за тем, он бы шагу не сделал из дому — сказался бы больным, взял отгул, предпочел бы, чтоб его вообще уволили с работы, лишь бы избежать случившегося.

Но, увы, людям не дано знать будущего, как бы ни уверяли их в обратном многочисленные шарлатаны: астрологи, гадалки и ясновидцы, и миллионы людей каждое утро в блаженном неведении перешагивают порог своего дома, выходя навстречу уже ожидающим их событиям, которые ни предугадать, ни изменить, ни отсрочить невозможно.

Так было и в этот раз. Совершилось великое событие, исковеркавшее жизнь Саши и жизнь возглавляемой им бригады, прогремело громом отдаленной грозы и затихло.

Как часто бывает, великое событие началось с действий самых что ни на есть незначительных, мелких, в нашем случае из года в год повторявшихся в конце каждого месяца, когда Саша вместе с мастером участка Димой в бригадном вагончике закрывал наряды. Процедура эта была малоприятной, нервотрепной, потому что Саша добивался, чтобы сумма зарплаты была как можно больше, а мастер Дима, сдерживаемый накинутой на него уздой фонда зарплаты, не имел возможности полностью удовлетворить пожелание бригадира. Саша понимал мастера, но тем не менее сердился на него, ругался, курил папиросу за папиросой, хмуро поглядывал в окно, думая, что мужики будут вдвойне недовольны, ведь в этом месяце вкалывали как следует, ломили по-настоящему, зарплату же получают прежнюю.

А в это время в другой половине вагончика за фанерной перегородкой мужики, пообедав, рубились в домино. Слышался стук доминошных костей по столу, победные вопли: «Встать, смирно!», смех, обыденная, на которую не обращают внимания, матерщина. Вдруг воздух распорол страшный, нечеловеческий взвизг, с грохотом обрушилась на пол длинная, общая скамья, послышалась возня, хлопнула разлетевшаяся вдребезги стеклянная посуда («Литровая банка-пепельница» — отметил Саша) и вагончик наполнился частым хрустом стекла под множеством топчущихся ног.

Саша переглянулся с мастером: драка?, привстал за столом, но тут дверь приоткрылась и к ним заглянул Вовка Полетаев — неофициальный замбригадира.

— Саша,— запыхавшись, выпалил он,— мы крысу поймали. Сходи, посмотри. В шкафу сидела.

Саша внимательно осмотрел своего зама: кажись, трезвый, и, затаившись папиросой, повернулся к мастеру.

— Поищи у себя в талмуде — шестнадцатого числа за подтоварником на лесобиржу ездили...

— Саша,— позвал Вовка.

Бригадир раздраженно отмахнул рукой: досуг мне ерундой заниматься.

— Саш,— не отлипал Вовка.

— Да вы чего, дураки что ли? — разгневался Саша.— Крыс я не видел, пойду посмотреть. Убейте, да выкиньте к чертовой матери.

— Понимаешь, тут, в общем,— мялся Вовка, не договаривая что-то важное.

Бригадир встал и, скрипнув зубами, направился на рабочую половину вагончика.

Когда Саша Головачев, высокий, что называется — прогонистый, не злой, но решительный, а когда нужно жестокий мужик, оказался на рабочей половине и шагнул среди расступившихся мужиков, он, как и все присутствующие, остолбенел. В горле у него пересохло, глаза изумленно округлились, а в голове жаркий молоточек гулко отчеканил: чушь! не может быть! Между железным ящиком с гаечными ключами и переносным трансформатором, который давно собирались отправить на перемотку, прижавшись к плинтусу, действительно сидела крыса. Здоровенная, величиной с добрую кошку, со складкой жира на загривке, с длинным, змейчато елозившим по полу хвостом, но — голова!, голова у ней была — человечья. Внутри у Саши, то ли в животе, то ли в груди, то ли в самой душе что-то начало тяжело и надрывно переворачиваться, словно весь мир становился с ног на голову, пока он неотрывно рассматривал эту с хорошее яблоко голову — с ушами, носом, с четким пробором седых волос по правой стороне. Судя по полным, сытым щекам, по крошечной, с маковое семя родинке у правого глаза, по затравленному, но все же презрительному взгляду карих глаз, крыса была из начальничков. И не из малых.

Саша чуял затылком тихое, напряженное дыхание мужиков, сгрудившихся за его спиной, ловил взгляд бусинок-глаз диковинного зверя, словно шильцами покалывавшими в его сторону, и жуткая мысль, что он сошел с ума, на мгновение оледенила голову. Но что же, тогда, выходит, вся бригада чокнулась?

На половине мастера отворилась дверь. Дима шел сюда. Саша с облегчением вздохнул: мастер сейчас все растолкует, обернулся и — ах! — в этот миг зверина сиганула на трансформатор, еще прыжок и скроется в открытом окне. Саша схватил кочергу, в полете сбил уже прыгнувшую тварь на пол и одним ударом зашиб ее. Отбросив печной инструмент, двумя пальцами он поднял убитого за самый кончик гладкого, блестящего, как шнур электроплитки, хвоста, показал его побледневшему Диме, пинком открыл дверь вагончика и вышвырнул дохлятину в котлован. А потом долго, тщательно мыл руки с мылом, намыливая их до локтей, и с отвращением, звучно плевался. Когда он шмякнул урода по шее, у того отвисла нижняя челюсть и на пол вытекла потяготная, кровавая слюнка. От воспоминания о слюнке Сашу, человека вообще-то небрезгливого, крепкого нервами и желудком, едва не стошнило.

— Зря все же ты его укокошил, — в конце дня, когда Саша запирал вагончик, сказал Дима.

— Любоваться на него?

— Не любоваться, а в зверинец сдать. Это же чудо природы. Мутант. Или бы в институт научно-исследовательский подарить, пусть бы ученые с ним разбирались.

— Ученые разберутся, — недоверчиво сказал Саша, — что они по улицам завтра забегают. А как ты слово-то сказал: му..., — Саша смущенно не договорил.

— Мутант, — улыбнулся Дима. — Перерожденец, выродок. В античном мире, особенно до появления христианства, такое случалось весьма часто: то ребенок родится с головой собаки, то теленок с двумя головами. Как правило, это происходило накануне каких-либо общественных потрясений.

Саша уважительно слушал мастера. Несмотря на ежемесячно повторявшиеся сцены ругани и взаимного раздражения при закрытии нарядов, в остальное время бригадир с мастером жили душа в душу, уже восьмой год неразлучно кочуя с объекта на объект. Когда однажды начальник управления вздумал перекинуть Сашину бригаду на другой участок, Саша сказал, что лучше уволится, но у другого мастера работать не станет.

Дома Саша поужинал, вполглаза посмотрел футбол по телевизору и лег спать.

Всеми мыслями он был по-прежнему на работе, странный, несообразный зверь не выходил у него из головы. Но желание сна побороло думы и, словно в вознаграждение за пережитое, посетил Сашу чудный сон. Снилось ему, будто он в армии, и бегут они вместе с парнями из летнего полкового лагеря в самоволку. Вообще-то какая это самоволка — яблочко в совхозе-плодопитомнике поесть, да с девками совхозными потрепаться, а если посчастливится, то и поцеловать какую из них. Название одно, а не самоволка. Бегут они, вьется лесная тропинка, поют птицы, солнце ласково играет на светло-медных стволах сосен. И радостно Саше думать сквозь сон, что ему не сорок лет, а снова он молодой, двадцатилетний солдат из лихой второй роты, лучший пулеметчик батальона. Вот уже близко опушка леса, вдали, за соснами мелькнули ровные ряды посадок питомника, и манящие, белые косынки девчат, как вдруг в сон тараном вперлась морда убитого сегодня Сашей крыса.

— Отвечай немедленно, — заполняя мордой пространство сна, грозно хрюкнул крыс, — почему ты так грубо обошелся со мной?

— А кто ты такой, чтоб с тобой нежничать? — машинально, не успев ни удивиться, ни испугаться, ответил Саша.

— Я — всекрысский президент. Особа неприкосновенная, — важно объявил упитанный крыс.

Саша поразился (И у крыс есть президенты!), но ответил, преодолевая внезапно прихлынувший к сердцу ужас:

— Тогда и веди себя по-президентски, а не шастай по шкафам, не гадь на столе.

— Ты еще поплатишься за это, — пригрозил незванный пришелец.

— Идешь ты..., — послал его Саша. — С такими, как ты, у меня разговор короткий: по мозгам и на помойку. —

И Саша повернулся на другой бок, мечтая досмотреть сон с питомником.

Однако сон не вернулся, он был сломан. В голове, как в бетономешалке, перетекала от края к краю рыхлая белиберда из марширующих солдатских сапог, ожившей фотографии на газетном клочке, очереди в магазин, морга, хохочущих, подпитых мужичков, ясного солнечного дня, и вдруг — через все это, через головоломную, не до конца понятную, но привычную кутерьму жизни протиснулось мускулистое, длинное крысиное тело. Прокатилось сквозь сон, сквозь жизнь, оставив в ней черную, с завывшим студеным, подвальныйм ветром дыру.

Саша обмер и — проснулся. Долго лежал в кровати, боясь шевельнуться, поднялся с постели, босиком прошел на кухню, хмуро курил у окна. Что за дьявольщина прицепилась к нему с этой крысой? До женитьбы он много лет скитался по общагам, за годы работы сменил десятка два, если не больше вагончиков, повидал и мышей, и крыс, но — чтобы сниться, да еще и разговаривать, такого не бывало.

За окном раскинулся ночной город. Цепочки светильников обозначали проспекты и улицы. В темных башнях и коробках жилых домов кой-где светились окна. И там кому-то не спится. Времени — два часа. Рассветет не скоро.

Саша выпил бутылку молока, закусив краюхой черного хлеба, выкурил еще папиросу, лег в постель в тревожном ожидании, а заснул без помех и безмятежно проспал до утра.

На работе весь день шел бетон. МАЗ за МАЗом, работали молча, курили редко. В обед кто-то завел речь о вчерашнем, обратившись к Саше, а он не захотел продолжать разговор, ушел на половину мастера, листал там газеты и журналы за прошлые годы. Шуршали страницы, мелькали знакомые, лукавые физиономии. Газетные листы пестрели зазывными, верткими, как слова фокусника, заголовками о социализме с человеческим лицом, о народной дипломатии, о рынке, о гласности. Один политик ложился на рельсы позади просвистевшего поезда, другой убеждал народ, что если всем не есть 500 дней, то наступит неизбежное изоби-

лие, третий предлагал выдать каждому гражданину по пистолету, чтоб сподручнее было обогащаться, четвертый... Все говорили, звали, обещали, но посулы правды, добра и справедливости странным образом обращивались делами зла. Какие бы слова ни звучали, на деле продолжались многолетние, как он помнит себя, только еще более бесстыдные обман и вранье.

Утром он не посмотрел туда, мешала какая-то тяжесть на сердце, а сейчас, после газет потянуло. Он вышел из вагончика, отыскал взглядом ржавый железный лист, на который вчера шлепнулся мертвый уродец. Лист был пуст. Видимо, тело уволокли постаревшие, беспризорные кошки, ютившиеся в каналах теплотрассы, и сожрали его. А, может, это сделали сами крысы. У них такое водится.

Саше стало противно, что он думает о крысах, он плюнул, пошел прочь. А за спиной уже гудел пришедший МАЗ с бетоном.

— «Бугор», куда сваливать? — опустив стекло дверцы, кричал шофер.

— Вон, к тому колодцу, — показывал Саша. — Не весь, полмашины. Остальной к следующему.

Мужики выходили из вагончика с засученными рукавами рубах, загорелые, здоровые, веселые и, глядя на них, а потом в работе, Саша забывал ночной кошмар. К вечеру он вовсе выветрился из души. Осталось слабое, неприятное чувство ознобца по коже, как если на зуб попадет песчинка, но и оно проходило.

Дома вечером Саша поужинал, посидел, как обычно, у телевизора, подымил на балконе и лег спать. Заснул скоро и только окунулся в успокоительное за бытѐ сна, как опять увидел его. Сначала опешил, но, мигом припомнив минувшую ночь, ужаслся всей душой в боязливый комок, затаился.

Если в прошлый раз президент был в своем природном, шкурном обличье, то сегодня он счел нужным одеться по-людски: в белую, с вольно расстегнутым, отложным воротником рубаху, серые, превосходно выглаженные брюки, светлые, летние сандалеты и модную нынче, матерчатую спереди, сеточную над головой кепку, с орлом, рогато растопырившим крылья.

— Здрассьтегосподинбригадир,— сквозь зубы прошепелявил крыс, с кислой гримаской протянул Саше правую лапку с бледно-розовыми перепонками меж шерстистых хилых пальцев. Вторичное явление гостя настолько потрясло Сашу, что он только растерянно тряхнул головой в ответ.

Саша дивился на густую, плотно-серую, с искрами серебристых волосин звериную шерсть, яростно выпирающую из ворота рубахи, и детское, паническое чувство ужаса поглощало его. Сердце пронзило неодолимое желание заорать, завизжать и — Саша проснулся.

Он порывисто сел на кровати. Испарина холодного пота проступила на лбу. Тело сотрясала частая, из глубины души восходившая дрожь.

— Шурик, ты что? — потревоженным, вялым голосом спросила в полусне жена.— Спи, родной.

Озираясь, Саша шарил испуганным взглядом по стенам, потолку, как будто крыс мог быть везде. Сердце загнанно колотилось в висках.

Сколько времени он сидел на кровати, Саша не знал. Сон одолевал его, голова клонилась к подушке, а Саша боялся лечь. Ляжет и опять увидит его — черноватые с бледными прожилками коготки на пальцах, колечко часов на запястье, золотую фикса на резцах, опухшую то ли с похмела, то ли с пересыпу ряшку.

### 3

Так началась для Саши Головачева ненормальная, двойная жизнь с президентом. Каждую ночь, только он засыпал, в сон просовывалась довольная морда с подрагивающими от возбуждения усиками. Затем объявлялся сам хозяин усов, вольготно разгуливал по сну, топтал его и гадил в тот самый момент, когда Саша, вспомнив себя ребенком, видел во сне умершую мать и сердце его умилялось от прежней любви к ней. Саша пробуждался, заставлял себя уснуть, а крыс уже стоял наготове с какой-нибудь мерзкой каверзой.

Саша попробовал скрыться от наваждения, заночевал не дома, а у двоюродной сестры. Жалкая уловка.

Ровно в полночь крыс спрыгнул с подоконника в марлевом колпаке на голове, в клеенчатом фартуке, надетом поверх грязно-белого, заплатанного халата. Он построил из своих кургузых, кривых пальчиков «козу», бодал Сашу в живот, противно, как нянька в яслях, сюсюкал:

— А-а, вот мы куда сплятались! А мы вас насли! Тю-тю-тю.

Саша не высыпался, приходил на работу с гудящей, распухшей от бессонницы головой, собачился с мастером, остервенело рычал на мужиков, с трепетом ожидая наступления ночи.

Укладывался в постель и долго лежал с открытыми глазами, надеясь утомить себя, чтобы крепче заснуть. Но только смыкались усталые, воспаленные веки, как тут же в первой, паутинно-нежной клеточке сна мелькал тонкий, как шило, стремительный кончик крысиного хвоста и Саша просыпался, как от удара электро-током.

На пятую или шестую ночь, изнемогая от усталости, Саша впервые в жизни принял снотворное и только чудом не лишился рассудка. Крыс не замедлил явиться и в этот сон, с удовольствием рассказывая Саше о всех его больших и малых прегрешениях, о случайных и намеренных постыдных делишках, которые есть у каждого человека. Многих из них Саша стыдился, постарался забыть и, думалось, схоронил в памяти навеки, но крыс, взломав память, выволакивал их оттуда и расписывал — привирая — с такими срамными подробностями, что Саша ужасался собственной низости и грязи. Саша жаждал проснуться, бился, как в клетке, а проснуться не мог: таблетка, отравившая мозг, держала сон на запоре.

На другой день Саша чуть не погиб на работе. Шагая с Димой по кромке котлована, он задремал на ходу, оступился, еще шаг — и полетел бы на разбитые сваебойкой оголовки свай с торчащими пиками арматурных прутьев. Почуввав неладное в его неверном шаге, Дима рванул его за рукав, оттащив от края. Очнувшись от краткого, как падение звезды, сна, ощутив резкий, рассердивший его рывок, Саша заорал на мастера, а когда тот попробовал что-то объяснить, покрыл его

таким разъяренно-похабным матом, что сам потом со стыдом изумлялся: откуда они взялись у него — эти наотмашь хлещущие, как оплеухи, слова? Оскорбленный Дима назвал его неблагодарной свиньей и убежал в вагончик.

Не понимая, что произошло, Саша все-таки смутно чувствовал свою неправоту, однако извиняться перед кем-либо было не в его характере. Долголетние, приятельские отношения с мастером были порваны напрочь.

Начались нелады и в бригаде. Бригада Головачева славилась в управлении постоянством состава, текучести в ней почти не было, к Саше просились, а он еще не всякого брал. Саша был известен, как грубый, ни с кем не церемонившийся бригадир, но человек честный, работающий, горой подымавшийся за своих мужиков, умеющий из глотки вырвать у снабженцев необходимые для работы материалы. Заработки у него были высокие. Однако за последние дни мужики стали недовольно ворчать, двое — чеканщик стыков Витя и плотник Игоряха, работники безотказные и незаменимые, напрямик сказали, что «бугор»-псих их не устраивает, они уходят.

Обычно Саша сам гнал из бригады провинившихся (за лень или несвоевременное пьянство), а тут Витя с Игоряхой бросили его. Это больно ущемило его самолюбие. Преодолевая страх и отвращение, Саша решил в ближайшую ночь объяснить с президентом.

И только показалась его усатая харя, раздвинувшая сон, спросил напористо:

— Отвечай, не увиливая, откуда ты взялся на наши головы?

— Обижаешь, мужик,— с интонацией известного прораба, громогласного верзилы, туповатого выпивохи и бабника, сказал крыс.— Я не взялся. Вы меня сами выбрали.

— Да ты что? — ахнул от такой наглой залипухи Саша и едва не проснулся.

— А вспомни-ко, браток, как год назад,— крыс назвал весенний месяц и точное число,— вы обмывали получку и кто-то сказал со смехом: у всех есть президенты, а мы что — бедные?, давайте и мы себе выберем.

Стамеской вырубил чье-то лицо из газеты, слюной прилепили к плакату о борьбе с домашними вредителями и единогласно проголосовали «за». Впрочем, сейчас можно сказать правду. Двоих мужиков, гонцов в лавку за вином и закусью, не было, трое не голосовали (они помирали со смеху от этой затеи), один был против. И вот я перед вами, впервые за тысячу лет рабства законно избранный ваш президент! («А в бригаде десять гавриков», — подумал Саша.)

Крыс поклонился как артист на сцене и взмахнул лапками. Сегодня он вырядился в пиджак с огромным выемом спереди, открывавшим живот и грудь в белой, туго накрахмаленной рубашке. Шею его украшал размашистый, шире крысиных плеч, в три полоски галстук-бабочка, а на ногах красовались лакированные, с высокими каблуками и золочеными пряжками полуботинки.

Глядя на серого клоуна, гнувшегося перед ним, на длинные, как крылья стрижа, полы пиджака, на алмазные горошины запонок, мерцавшие в манжетах рукавов, Саша, с усилием продираясь памятью в чашобе дней, вспомнил: Да, да, было — не вранье. Вырезали из газеты, наклеивали, выбирали и даже чокались с ним. Оказывается, вот с кем! Да как же так? Почему какой-то шут гороховый, избранный наспех, сдуру президентом, может хозяйничать в его снах, ломать и калечить его жизнь?

— До каких же пор ты будешь мучить меня? — с мольбой воскликнул Саша.

— Пока нового не выберете! — ответил притвора, торжествующе хохоча.

Саша в восторге проснулся от этой избавительной мысли: перевыбрать прохвоста и дело с концом. Но утром, обдумывая, как это совершить практически, Саша понял торжество неотвязной твари.

Кого переизбирать? Ту фигурку с прислуживленной к плакату головой, которую давным-давно вместе с прочим сором вывели из вагончика? Или ночного посетителя? Но как расскажешь о нем?

В этом и заключалась отчаянная безвыходность ситуации. Мужики, видевшие, как он собственноручно уделал крыса кочергой, сочтут рассказ о лиходее его снов

чепухой и не поверят ему. Жена, выслушав такую притчу, скажет: «Дыхни»,— и когда он дыхнет, чтобы удостовериться в своей абсолютной, многодневной трезвости, покрутит пальцем у виска. Могли помочь врачи, у них наверняка имелось какое-то средство, чтобы эта гадость не мешала ему спать, но как человек, находящийся в здравом уме, Саша горестно сознавал: лишь только он поведаст о хвостатом супостате какому угодно врачу, то на другой день жена понесет ему передачу в дурдом. И носить их будет долго — возможно, всю жизнь. Залететь в это заведение проще пареной репы, а выбраться оттуда тяжеленько.

Его мог понять и что-то посоветовать Дима, но мастер теперь и не здоровается с ним.

— Когда перевыборы? — похохатывая, осведомился ночью крыс. В драной, заляпанной грязью и брызгами раствора фуфайки, из кармана которой подмигивало горлышко чекушки, он взгромоздился на бочку из-под солярки, чадил самокруткой из прогорклый, душной махры.

— О, сволочь! — сдавленно простонал Саша.

А крыс, будто прочитав его мысли о врачах, и желая доказать, что чихать он на них хотел, этих якобы все-сильных людей в белых халатах, переселился теперь в дневную жизнь Саши, отныне не расставаясь с ним круглые сутки.

Не раз, вздрогнув, Саша наблюдал, как, запрыгнув на стол в вагончике, незримый для всех, кроме него, президент, усевшись грязным мохнатым задом на стакан, из которого опохмеляющиеся мужики сосут мутный, липкий портвейн, покуривает заморскую шикарную сигарету с золотым ободком и, верный своей привычке, гадит в стакан.

Или на собрании у начальника управления он сходил с портрета дедушки Ленина, отряхивался, как мокрая собака, умывал лапками морду, распушал усы и, прыгнув на стол начальника, шевелил под носом у него служебные бумаги.

— Прикройте дверь, сквозняк,— сердился начальник, хотя сквозняка быть не могло, форточка за его спиной была закрыта.

А президент, вскарабкавшись по лацкану пиджака начальника, устраивался на его широкой, вспотевшей лысине и, делая вид, что ищет у себя блох, то и дело зыркал лукавым взглядом на Сашу, который, как за-гипнотизированный, глядел на него.

— Головачев, ты что-то хочешь сказать? — по своему понимая Сашин взгляд, спрашивал начальник.

— Нет, нет, ничего, — покраснев, бормотал Саша, а начальник вынимал из кармана клетчатый платок, обтирал им лысину (рука проходила через крыса, не причиняя ему ни малейшего беспокойства), продолжая совещание.

И ведь сказать ничего нельзя. А ну-ка обрадуй начальника, что у него на темечке чешется крыс, и без врачей загремишь в психушку.

Саша потерял сон, аппетит, похудел. Жена заметила это. Собираясь в гости, она отпаривала мужнины брюки.

— Шур, — озабоченно спросила она, — ты что, худеешь?

— С чего ты взяла? — с напускным безразличием спросил он.

— Посмотри на ремень-то в брюках. На две дырки против старого туже застегиваешься.

Саша ушел курить на балкон. Похудеешь тут. Всего лишь за три недели жизнь уткнулась в глухой тупик. На работе непрерывная ругань, все из рук валится, и Дима вчера сказал, как отрезал, что ему такой бригадир не нужен. Жена, почуяв, что с ним что-то такое творится, поняла это по-своему, по-бабски: приревновала его неизвестно к кому, стала следить за каждым его шагом, придираться к словам, кричать со слезами, что все мужики — мерзавцы, одно у них на уме. Раньше хоть дома была отдушина, а нынче — хоть с балкона вниз головой. И сосед по даче, домовитый, запасливый хохол, с которым они и выпивали, и на рыбалку без счета раз ездили, на днях отколол номер, толкнул речугу, что полоска Сашиного огорода за канавой принадлежит ему. Надо изменить границы участка. Саша подружески увещевал его: перестань, соседушко, окоlesiцу нести, земля эта искони моя. Сосед, окрысившись, кинулся на него с лопатой. Саша схватился за топор. Отставной полковник, трудившийся неподалеку, бросился к ним, отвратил беду.

А президент уж тут как тут.

— Хочешь спалю его, заразу? — участливо шепнул он. Мстительно сощурившись, Саша чуть не выдохнул: «Валяй!», но смолчал. И не потому, что пожалел курия-соседа («Так бы ему ненасытному жлобу и надо»), а усек подвох в президентском совете. Покамест крыс изводит его только по злобности своей натуры, но если он окажет ему услугу, сделает его своим должником, так он же тогда веревки вить из него станет, не отвяжется ни за какие коврижки.

А Саша верил, надеялся и ждал, что когда-нибудь просияет и для него день освобождения.

Хотя терпеть становилось все трудней, невыносимей. Не встречая сопротивления, крыс распоясался окончательно. Спал с Сашей в одной кровати, укладываясь прямо на подушку. Спал, блаженно похрапывая, а Саша заснуть не мог от этого забористого, с причмокиванием храпа и стойкого, могильно-подвального смрада, исходящего от президента во что бы он ни рядился. Проснувшись утром, крыс вместе с ним умывался, чистил его щеткой зубы, ел с ним из одной тарелки, следовал на работу (трусил рядом, как комнатная собачонка, вперед всех врывался в троллейбус и, конечно же, не брал билета), безобразничал в вагончике, а вечером устраивался на подлокотнике кресла смотреть телевизор, отпуская идиотские, не смешные шуточки.

И всюду — гадил. Всюду. Саша не знал ранее, что первойшая заповедь крысы — везде гадить. Никто не видел и не подозревал, что уютная, чистенькая квартира Саши, в благоустройстве которой он вложил столько старания и любви, трудами президента давно превращена в крысиный сортир.

— Как тебе не стыдно? — не стерпев, крикнул он в сердцах этому паразиту. — Ты же президент.

— Поэтому и делаю, что хочу. Такая моя тяжкая доля, — надменно процедил крыс, явившийся сегодня в образе спортсмена: в безрукавке «адидас», фирмовых джинсах-шортах, в неизменном кепарике с рогатой птицей и с теннисной ракеткой под мышкой.

Саша, возмущившись наглой речью, хапнул этого

игрока своей цепкой ладонью, надеясь удавить гадкого негодя, но ладонь схватила пустоту.

— Ха-ха-ха! — брызжа вонючей слюной, потешался любитель тенниса. — Близок локоть, да не укусишь.

Это была вторая попытка каким-то образом избавиться от крыса. Первая тоже оказалась неудачной.

Саша знал, что если о чем-нибудь настойчиво думать, оно рано или поздно приснится. И он думал и думал о кошке. Сибирской мурлыке, свирепой охотнице за крысами, этом ручном тигре, который выпустит кишки зловонному проходимцу.

И кошка приснилась. Именно такая, какая была нужна. С виду ленивая, полусонная, но внезапно прыгучая, с не знающими промаха и пощады стальными когтями, с глазами, в которых горел зеленый огонь смертельной ненависти ко всем дармоедам, обжирющим род человеческий.

Саша предвкушал упорную битву и славную победу, а все завершилось форменным конфузом. Крыс появился в сон, с брезгливым недоумением покосился на кошку, высоко взметнул хвост и одним взмахом, как ударом бича, выщелкнул кошку из сна. Как ее и не бывало.

И ухмыльнулся, ударив лапкой о лапку.

#### 4

На исходе четвертой недели мытарств у Саши произошла взволновавшая его встреча.

Бригадный вагончик стоял на одной из главных улиц города, и не раз, и не два сюда стучались пьянчуги, просили стакан.

— Ничего, и из горла добро пойдет, — говорил им Саша. — Больно культурные стали.

— И тебе плеснем, — прельщали они его.

— Не собираюсь. Катитесь, катитесь своей дорогой, — гнал их Саша, наученный горьким опытом, как приваживать эту публику. Пустил одного такого козла, а он втихаря рубанок спер.

В последнее время, когда торговлю водкой и пивом дозволили на каждом углу, от хануриков не стало отбоя.

И попросился к нему один мозглявенький, еле-еле душа в теле, мужичонка, с виду интеллигент. Глаза его смотрели так измученно, умоляюще, что Саша сжалился и выпустил его, тем более, что президент в эту ночь свирепствовал: за то, что Саша хотел его сцапать, не дал всю ночь сомкнуть глаз.

Мужичок забрался в вагончик, достал из-за пазухи поллитровый пузырь, отковырнул гвоздем пробку, набулькал полстакана, выплеснул в рот и, занюхав рукавом, откинулся к стене. Поблекшее мятое лицо его стало оживать: скулы и кончик носа расцвели нездоровым румянцем, разгладились морщины на лбу и по нему промчалась тень проснувшейся мысли.

— Понимаешь, дорогой соотечественник, в чем трагедия нашей жизни? — вдруг ни с того, ни с сего заявил он. — В том, что власть в ней захватили крысы.

Огорошенный Саша выпучил глаза на пьянчужку.

— Идите, — крикнул он вдогонку мужикам, выходящим после обеда из вагончика. — Сейчас догоню.

— Они захватили ее о-о-очень давно, — мужичок поднял кверху исхудавший палец, а Саша глядел на его русую, жидкую бороденку, синие, добрые глаза и ловил каждое его слово, — когда нас с тобой еще не было. Продолжительное время, десятилетия, они успешно прикидывались людьми, но грянул судьбой назначенный час, маски стали опадать, как первая листва в августе, и многие, но еще не все, далеко, далеко не все, увидели — бал на государственном корабле правят крысы. Всюду, если посмотришь детским, незамутненным взглядом, сверху до низу, от капитанского мостика до трюма, от парламента до базара, везде ты увидишь эту серую, поганую, готовую укусить тебя своими ядовитыми зубами морду. Немало средств придумано для истребления крыс: силки, отравы, капканы. Лично я с ними предпочитаю расправляться вооруженной рукой... — Мужичок поднял взгляд на Сашу и как гвоздь забил: — Лучше всего для этой цели подходит кочерга.

Саша, казалось бы, приученный президентом к самым невероятным потрясениям, смешался. Он не знал, что думать: или это сообщник президента из одной с

ним конторы, или какой-то сверхумный человек, умеющий узнавать чужую жизнь.

Саша любопытствовал, как относится к дерзким речам гостя президент. А он расположился на его левом плече, закинув ногу на ногу в хромовых генеральских сапожках, и залихватски высвистывал игривый мотивчик. То была давняя, забытая песенка о маленькой Мари.

*— Мари не может  
Стряпать и стирать.  
Зато умеет  
Петь и танцевать.*

— Но мало крыса уничтожить,— продолжал гость и снова наполнил стакан.— Бушш? Не пьешь на работе. Уважаю принципиальных людей. Так сказать, физически. Надо истребить его в душе своей. Как этого достичь? Только крысам безразлично где жить: в тропиках, в Арктике или в средней полосе России. На чердаке Белого дома, в подвале ГУМа или в заурядной квартире землекопа. Недаром это отвратное племя расплодилось по всему земному шару. Настоящий же человек прежде всего любит Родину, которая у каждого человека, что бы там ни плели всякие вральи, одна. Это, во-первых. Во-вторых...

Саша снова поглядел на президента, который повел себя непривычно суетливо: бросил свистеть и, вертя хвостом, устался за окно. По губам его прозмеилась довольная усмешка. Саша перевел взгляд на улицу. По дороге неторопливо катила позорная колымага — машина вытрезвителя. Вопреки всем правилам уличного движения, она вдруг свернула налево под красный свет и наперерез потоку транспорта устремилась к вагончику.

— Ах, дятел! Дешевка! — прошептал Саша, убирая со стола бутылку.

— Кто? Я? — спросил гость.

Дверь вагончика распахнулась.

— Пьем, значит,— поигрывая висевшей у пояса дубинкой, сказал молодой, рыжеусый сержант.— Это кто такой?

— Мой рабочий,— соврал Саша.— В отпуске он.

Сержант вразвалку поднялся в вагончик.

— А ты сам кто?

— Бригадир.

— Фамилия твоего бригадира? — спросил сержант красноречивого интеллигента и словно нечаянно уронил ногой бутылку под столом.

Гость переводил растерянный взгляд с Саши на хама-милиционера и обратно. А президент уже оседлал дубинконосца, поплеывая на лапку, заботливо, любовно приглаживал удалой чуб, выбившийся из-под козырька фуражки, укладывал волосок к волоску.

— Вот что бывает с такими болтунами,— поучал крыс Сашу, когда его таинственного собеседника швырнули в воронок и повезли.— И это еще самый благоприятный исход для него. Обычно это заканчивается более печально. А ты иди, работай, лопата с ломом тебя ждут.

Закипев гневом, Саша внимал высокомерным речам, с досадой понимая, что не может ни помочь тому бедолаге, ни отхлестать по щекам этого подонка, доносчика.

Саша худел, тощал, зато президент жирел и рос на глазах. Еще недавно он умещался на краю подушки, но всего за неделю отъел такое брюхо, что и половины подушки ему было мало. К тому же оказался привередливым обжорой. Заявил, что куриный суп и борщ, которые попеременно варила на обед Татьяна, его не удовлетворяют, ему, как особе высокопоставленной, положена по чину осетрина.

— Да что ты, пес! — взвыл Саша.— Где я тебе ее достану? Я сам осетрины в жизни не едал. Мы люди не балованные, простые. Жри ты, чего дают.

— Получишь за это один день выходной,— прервал его вопли крыс.

Целый день не видеть этого гада! Ради этого Саша был готов на все.

— Не день, а сутки! — решительно сказал он.

— Однако! — возразил крыс.— Интересно, кто здесь хозяин? — Но все же смиловался и продлил увольнительную на сутки.

Соглашение было достигнуто. Впереди светили двадцать четыре часа без паскудного надоеды! Но где раздобыть осетрины? Она продавалась только в валютном магазине, а Саша отродясь цента не держал в руках.

— Дуй в ломбард,— спустил директиву президент.

— А где это?

Наводчик дал адрес.

Саша было не поверил, но крыс не соврал — в бывшей областной станции переливания крови действительно разместился валютный ломбард. Саму станцию опустили в подвал, а на трех ее этажах гудом гудел взбудораженный люд. В те окошечки, куда люди раньше просовывали свои руки с напряженными венами, и сестра, заправив в вену толстую иглу, цедила в стерильную бутылочку кипучую кровь, теперь эти же люди подавали туда золотые часы, кольца, перстни с камнями, серебряные полтины и рубли советской чеканки и даже — русские золотые пятерки и червонцы. Такие счастливцы были в редкость, каждого из них персонально вызывали в кабинет. После беседы в кабинете одни выпархивали из него с окрыленностью во взорах, а другие с унылым выражением: чем богаты, тем и рады, и понуро брели по коридору.

Валюты, вырученной на Сашино обручальное кольцо (он носил его один день, на свадьбе, а потом жена спрятала его в шкатулку), хватило всего-навсего на двухсотграммовый ломток осетрины. И то Саша поругался из-за него в магазине с хапугой-продавцом, который завернул деликатес в толстую оберточную бумагу, а на другую чашку весов бросил клочок замасленной кальки.

— Ты с какой стати расшиковался? — напустилась на него дома жена.

— Халтуру сшиб, можно позволить,— оправдывался Саша, зло поглядывая на стол: за ним в салфетке, заправленной за ворот рубахи, уже восседал серый проглот, жадно облизывая губы.

А Сашин мозг сверлила мысль: если президент и завтра потребует осетрину, где найти денег? С безмолвным ликованием он припомнил, что в рыбацкой шарманке, в коробке с мормышками у него спрятан, завернутый в почетную грамоту, серебряный царский

рубль. Сколько раз он примеривался соорудить из него блесну, и все откладывал. Вот где рубль пригодится! На него, если крупно повезет, можно будет еще один выходной отхватить.

## 6

Днем дорого купленной свободы Саша распорядился с умом. Взял на работе отгул, полноценно выспался, с наслаждением вымылся в бане, пропарился до самых косточек, и уехал на автобусе в пригородный парк, чтобы там наедине с природой, гуляя по берегу реки, покуривая на скамеечке, основательно обдумать свое горемычное положение.

А оно было — хуже некуда. Жизнь разъезжалась на глазах, как гнилая тряпица. На работе — развал, дома — скандал (а что будет, когда жена о кольце пронюхает!), с соседом по даче были лучшие друзья, ныне — злейшие враги. И все из-за президента.

Из сложившегося положения было два выхода. Первый — убрать президента, и тогда вернется нормальная жизнь. Не сразу, не скоро, но вернется. Второй выход — петлю на шею. Потому что терпеть уже не вмоготу, нервы натянута, как струна, до предела.

Размышляя в парке под сенью высоких тополей и душистых акаций, Саша видел, что президент — это не сон, как можно было предположить в первые дни. Ведь он являлся не только ночью, но и днем. Крыс был вне сна, но и вне этой, подлинной жизни, поскольку в ней он был убит изготовленной из рубчатой арматурины кочергой. Тогда получалось, что помимо сна и естественной жизни существует еще какая-то жизнь.

С трудом усвоив эту новую и даже в какой-то мере дикую для него мысль, Саша сделал вывод, что избавиться от президента можно в том случае, если ты получишь доступ в ту, иную жизнь или сможешь как-то воздействовать на нее.

Но как? Если эта жизнь лежала, что называется, перед тобой на блюдечке; если во сне, пусть и самом запутанном, можно было разобраться или, в крайнем случае, махнуть на него рукой, то на президента рукой

не махнешь, он обманом вломился в твою жизнь, сделав ее невыносимой, а сам при этом живет в свое удовольствие. Его же, президентская жизнь, для тебя за семью печатями. Вроде бы рядом она, но не проникнуть в нее, хоть в лепешку разбейся.

Весь день Саша провел в парке, два раза искупался, позагорал, но так ни до чего и не додумался. Думай — не думай, мысль утыкалась в стену, которую ни пробить, ни обойти.

Под вечер, когда истекал срок выходного дня, Саша собрался домой. Все равно домой идти надо, от президента никуда не денешься, да и проголодался Саша изрядно. За весь день он выпил в павильоне кружку пива, да съел два черствых кооперативных пирожка.

Домой пришлось тащиться на своих двоих, все денежки улетели на пирожки и пиво. Цены ежедневно взбухали как на дрожжах, он не рассчитал сколько взять наличных.

К парку примыкало старое кладбище. Саша с завистью поглядывал на кресты и тумбочки, кусты сирени у оград. Лежат себе покойнички, сложили руки на груди, о президентах знать ничего не знают.

Посреди кладбища стояла церковь. В синие церковные двери (с крестом на них) входили старухи, женщины в годах. Мужиков почти не видно. Прошел старик с красивой большой бородой, да у дверей остановился насупившийся мужчина в штанах защитного цвета.

«Что ежели о крысе у попа спросить? — подумал Саша.— Позавчера один батюшка так складно в телевизоре о бесах толковал. Может, и мой президент — бес, чем черт не шутит».

Старухи у церкви засуетились. По асфальтовой дорожке от ворот, увенчанных крестом, сюда приближался худощавый, с короткой бородкой мужчина в шляпе. «Поп», — смекнул Саша. Насупившийся мужчина у дверей поклонился, достав рукой до земли, и шагнул к попу. Тот перекрестил ему голову, а он поцеловал поповскую руку. Сашу покорило, что мужик мужику целует руку, но, видать, уж тут такие порядки.

Все зашли в церковь. Саша побродил возле крыльца, ступил за порог, однако в саму церковь зайти постес-

нялся, стоял в длинном тамбуре, наблюдая за происходившим через застекленную дверь.

В церкви горели свечи, мигали лампадки у икон, кто-то красиво пел наверху. В глубине церкви из дверей выходил поп с большой книгой, подняв ее над головой. Словно там, за этой легкой стеклянной дверью была другая страна, иная жизнь. Войти бы туда, но что-то препятствует, не пускает его.

Служба закончилась. Шагая в отдалении, Саша проводил священника до самого дома, так и не решившись подойти и заговорить. С детства он знал пропасть непристойных, пакостных частушек и анекдотов о попах, и ему думалось, что священник все это прочтет на его лице, и не то что говорить с ним не станет, а вообще турнет от себя как шелудивого, подзаборного кобеля.

А дома Саша с радостью обнаружил, что срок выходного дня истек, а крыс не объявился. Не потревожил он его и назавтра, и на третий день, и через неделю. Исчез, испарился, как ледышка на горячей плите. Несколько дней Саша вздрагивал от каждого шороха, оглядывался с трепетом на каждый мелькнувший предмет, но — УРА! УРА! УРА! — крыс сгинул бесследно. Как сквозь землю провалился.

Однако вскоре глухой ночью вспыхнула, как сноп, и сгорела дотла дачная домушка Сашиного соседа. Сгорела с импортным садовым инвентарем, с японским телевизором, с холодильником на элементах, со всем великим, в многолетии нажитым скарбом.

Еще на пожарище дымились головешки, а мужики из Сашиной бригады провожали гроб с телом своего неосторожного бригадира на кладбище. В сумерки его сбила легковая машина. Наехала сзади, когда Саша, не подозревая о беде, шел по тротуару. Он скончался на месте происшествия, не приходя в сознание. Водитель-убийца скрылся. ГАИ ведет расследование.

Когда жена Саши пришла в морг, переодеть тело любимого мужа в новую, погребальную одежду, в потайном кармашке брюк она нащупала и извлекла оттуда обручальное кольцо. Пропадая вечерами и ночами на изнурительных халтурах, Саша вызволил его из ломбарда и нес домой.

## ОЛЬГА ФОКИНА

### *...И БЫЛА У МЕНЯ РОССИЯ*

\* \* \*

...И была у меня Москва.  
И была у меня Россия.  
И была моя мать жива,  
И красиво траву косила.  
И рубила стволы берез  
Запасая дрова по насту,  
И стоял на ногах колхоз —  
Овдовевших солдаток братство.  
И умели они запрячь,  
Осадить жеребца крутого,  
И не виданный сроду врач  
Был для них отвлеченным словом.  
И умели они вспахать  
И посеять... а что ж такого?!  
И — холстов изо льна наткать,  
И нашить из холстов обновы!  
Соли, сахара, хлеба — нет.  
И — ни свеч. И — ни керосину.  
...Возжигали мы в доме свет,  
Нащепав из берез лучины.  
И читали страницы книг,  
Протирая глаза от дыма,

Постигая, как мир велик  
За пределом избы родимой.  
Но начало его — в избе,  
В этой — дымной, печной, лучинной,  
Где в ночи петушок запел  
Без малейшей на то причины.  
Мы хранили избы тепло,  
В срок задвижку толкнув печную...  
Неторопкое время шло,  
Припасая нам жизнь иную.  
И распахивались пути,  
Те, которым мы были рады,  
И, отважась по ним идти,  
Мы ступали под своды радуг.  
Сердце пело. Играла кровь.  
Справедливость торжествовала.  
И возвышенная любовь,  
Словно ангел, меж нас витала.  
И копились в душе слова,  
И копилась в народе сила:  
Ведь была у людей — Москва!  
Ведь была у людей — Россия!

\* \* \*

*«Плакала Саша,  
как лес вырубали...»  
Н. А. Некрасов*

Плакала Таня, как Башня горела...  
(Башня — в Останкино, Таня — в глуши.  
Ей-то, казалось бы, что и за дело?  
Да и слезами ли башни тушить?!)

А о подлодке, что всплыть не сумела  
Со стометровой — всего! — глубины,  
Таня не плакала, в голос ревела:  
Сто восемнадцать! — ведь чьи-то сыны!

Чьи-то отцы, чьи-то милые братья,  
Чьи-то любимые, чьи-то мужья...  
Пусто в раскрытых навстречу объятьях,  
И никакого не видно вражья,

Кроме холодного мрачного моря,  
Гневных валов злободневной воды...  
Плакала Таня от общего горя,  
Как от своей неизбывной беды.

Никнет черемуха. Рдеет рябина.  
Таня выходит картошку копать.  
Около — два подрастающих сына.  
Радуйся, Таня!.. пока — не рыдать.

\* \* \*

Не стало смысла бегать на реку:  
Наш Островок прирос к Материку.  
А что такое этот Материк?  
А Материк немеряно велик.

И если даже очень захотеть,  
Не обойти его, не облететь!  
Он весь зарос, покрылся с головой  
Крапивой, ивой, сорною травой.  
Там комары, слепни да овода  
Заели лошадь заживо... беда!

А что такое бывший Островок?  
На нем блистал серебряный песок!  
Над ним сияла солнечная высь!  
Стрекозы с тихим шелестом вились!  
В промытой гальке слитки-янтари  
Оказывались запросто: бери!

Увы! Пока в уюте Островка  
Мы подставляли солнышку бока,

По дну протоки от Материка  
Ползли шпионы — корни ивняка!  
И вот — один росток... другой росток...  
А из ростка — листок... потом — кусток...  
Там — деревце — и вырос целый лес!  
А Островок серебряный исчез:  
Как не бывал — припал к Материку.  
...Не стало смысла бегать на реку.

\* \* \*

На печи сидючи  
Ягоды катала.  
Задремала в ночи —  
Решето упало:  
На приступку с колен,  
С табуретки — на пол  
До припечных полен  
За посудным шкапом...  
Мне бы встать да поднять,  
Только не встанется:  
Приклонюсь — буду спать,  
Где и как придется.  
...По углам, по щелям,  
Белым половицам,  
По лесным моим снам  
Ягода катится...

\* \* \*

Светлое августа утро.  
Приемник шипит новостями.  
Только уж лучше не слушать  
Российских теперь новостей...  
Радуюсь дню выходному,  
Бегут мужики за груздями:  
В прошлом-то годе  
На всех — не хватило груздей.

Нынче — растут! — говорят:  
По еловым чащобам,  
По ручьевинам глухим,  
Вдалеке от жилья.  
Тоже и рыжик неплох!  
Но груздок почитаем особо.  
Вот и бегут мужики:  
Из Казённые, с Прилуку, с Голья,  
Жёнок оставивши дома:  
Не женская это охота —  
Росы подолом с некошенных трав собирать.  
Да и денек-то какой?  
А денек-то сегодня — СУББОТА!  
Баннный денек —  
И чего тут кому объяснять?!  
...По-двое, по-трое,—  
Топчется тропочка-строчка.  
Эти — с кузовьем, а те — с рюкзаком за спиной.  
Есть смельчаки вроде Пашки:  
Потопал, гляди, в одиночку!  
Ну, да ведь он —  
С малолетства такой-то: лесной!  
Ладно, ребята!  
Под вечер тяжелые ноши  
С плеч онемевших  
К хозяйкиным бросив ногам,—  
В баньку скорей,  
До себя новостей нехороших  
Не допуская:  
Пуускай достаются врагам!  
Дух самоварный.  
На шаньгах — янтарное масло.  
Свечку зажгли.  
(Запаслись, потому — не впервой  
Свет-электричество  
Рано-прерано угасло...)  
«Пашка,— жена говорит,—  
До сих пор не вернулся домой...»  
Лишь через месяц  
Останки его отыскали

Друзья-доброхоты  
И погребли —  
Под груздочки, под водочку! —  
Короб костей.  
Случай — не столь уж и редкий  
По нашим местам-то...  
Ну, что ты!  
Жалко! Но — всякий рискует.  
Иначе живи без груздей.

\* \* \*

Сизые костра усы,  
Алые — уста...  
И тумана страусы —  
Позади костра.  
Не кусты рябинные  
За моей спиной —  
Стадо кенгуриное  
Отдыхает в зной.  
Искрами,— не знай, с чего! —  
Взмыла и летит  
Стая попугайчиков  
Из костра в зенит!  
Из ствола погиблого,  
Источая чад,  
Зубы крокодиловы  
Сучьями торчат.  
С чада ли, с угара ли,  
Сердце с неких пор  
Птицей кукабаррою  
Оглашает бор,  
И жирафошеится  
Вдоль реки ивняк,  
И в душе шевелится  
Прошлого пустяк,  
Как, нарушив правила,  
Я «ушла в загул»:  
В океане плавала,  
Не боясь акул...

Сгинь, страна Австралия,  
Миф далекий мой,  
С рифами-кораллами  
Под морской водой!  
Силой фантастической  
Не колебли сны,  
Мощь океанической  
Голубой волны:  
Люди не заметили  
Ровно ничего!  
...Только есть свидетели  
Мифа моего:  
Сизые костра усы,  
Алые уста,  
И тумана страусы  
Позади костра...

\* \* \*

Доноры были.  
Теперь — обескровлены.  
Жилы опали.  
Нет сил закричать.  
Сеяли. Жали.  
Рожали. И строили.  
Кабы до капли из нас не качать,  
Кровушку,  
Нужную городу, городу!  
Мы бы, возможно,  
Еще поднялись...  
Молча уходим.  
Молчания золото  
Тут же сгребают,  
Как плату за жизнь.  
Сгинем —  
Безмолвно. Печально.  
Беспамятно.  
Наши дворища  
Репьем зарастут.

Наши надгробья —  
Песчано-бескаменны —  
Воды и годы  
Бесследно сотрут.

\* \* \*

Чернобыль.  
Чубайс.  
Черномырдин.  
С червочкой внутри —  
Горбачев:  
Скрыта червочка!  
Но выйдет  
Наружу... И будет «при чем».  
Чечня:  
Разрушенья и смерти.  
Джинн выпущен.  
Сломан сосуд.  
Бессчётны чернявые черти:  
Разборки. Захват. Самосуд.  
Чудовище — «обло, обозло,  
Огоромно...»  
Кричи не кричи —  
И в бричке оно, и на козлах!  
...Русь мчится.  
Бубенчик бренчит.

\* \* \*

Высохнуть не успело —  
Туч наползает рать...  
Сенушко мое, сено,  
Как мне тебя убрать?  
Летико-то господне:  
Мошки, дожди, жара...  
Вся я одна — сегодня,

Вся я одна — вчера!  
Встала — еще до света,  
Лягу — уже темно.  
Радоваться бы лету!  
Да на душе — черно.  
Нету на жизнь азарта.  
Страшно смотреть вперед:  
Завтра — как послезавтра,  
То же и через год.  
Сенушко мое, сено!  
Как мне тебя убрать?  
Высохнуть не успело —  
Туч наползает рать...

\* \* \*

Потешу собратьев:  
Не руша традиций,  
Сошью себе платье  
Из синего ситца.  
По синему полю —  
Да белые капли,  
Как будто по морю —  
Судёнки-корабли!  
Да выберу брошку —  
Как раз, невелику —  
С болота морошку  
Али княженику.  
Прикноплю, прилажу  
Близ сердца, под горло —  
Пусть царствует-княжит  
Достойно, не гордо.  
Запутаю шею  
В рябиновы буски  
И захорошею —  
По-сельски! По-русски!  
И в этом наряде —  
При полном параде!

Я — в гости к собратьям...  
А братья — не рады:  
Стесняются, вроде,  
Родимы-то братцы  
Глаза-то отводят,  
Меня-то стыдятся:  
Ведь ихни-то жены  
При тальях не узких  
Давно наряжены  
По-турски-французски!  
По-польски-английски,  
Испански-цыгански...  
Великие риски —  
Ходить по-славянски!

## ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ

### *ОТ КОСТРОВ ПОДНИМАЕТСЯ ДЫМ*

#### ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

Вот опять над угором седым  
С огородов, где черные грядки,  
От костров поднимается дым —  
Дым Отечества — горький и сладкий.

Отзываясь на запах его,  
Перепутаешь дни и эпохи.  
Дым над полем висит — и всего!  
Но дыхание сводит на вздохе.

Вдруг призывный пронзительный звон  
Дальним эхом напомнит о ком-то  
Из иных, из минувших времен,  
Издалека — из-за горизонта.

И встревожит померкшую даль  
Грозный отблеск пожарищ и сечи,  
И душой овладеет печаль  
О безвестных и канувших в Вечность.

Обо всех. О самом о себе.  
О согретых судьбой, о гонимых,  
Обо всем — о родимой избе,  
Обернувшейся пеплом и дымом.

Потому, ставший нынче седым,  
Сам и запаху внемля и звуку,  
Полюбил я Отечества дым  
Через горе утрат и разлуку.

## ИСХОД

### 1

Вершатся жизнь и смерть  
На старом белом свете.  
...Ты умирал один.  
О вспохватился кто б!  
Ноябрь.  
Морозный день.  
Конец тысячелетья.  
Крестьянская изба,  
В избе —  
Сосновый гроб.

Какая-то напасть,  
Какая-то проказа  
На каждую семью,  
На каждый дом и род.  
Как будто к счастью нам  
Уже и путь заказан,  
Как будто обречен  
На гибель весь народ.

И вот опять стою  
Перед крыльцом —  
У входа  
И не могу войти  
В знакомую избу.  
А в ней еще одна  
Трагедия исхода —  
Жена в параличе,  
А ты лежишь в гробу...

Уж легче бы тогда  
Похоронить всех разом.  
И дело бы с концом,  
И меньше бы хлопот.  
Не добровольно, нет,  
А строго по Указу:  
Ведь он у нас такой  
Послушливый народ.

Похоронить бы всех,  
Кто слаб, убог и болен,  
Кто отпахал свое,  
В ком не осталось сил.  
Похоронить бы всех.  
Такая, видно, доля  
Всех тех,  
Кто не сумел  
Вписаться в новый мир.

В безумный этот мир...  
И ты вот,  
Дядя Витя,  
Ушел в другой, к тому,  
Кто там уже давно.  
Теперь в деревне смерть —  
Обычное событие,  
Хоронят каждый день.  
Кого?  
А все равно...

2

Но как ни тяжек грех,  
В час смерти,  
В час прощанья  
Мы вспоминаем вдруг  
О Боге и душе.  
И близких нам людей  
Везем на отпеванье,

Еще при жизни той  
Потерянных уже.

Священник приходской  
В холодном старом храме,  
Над грешною душой  
Молитву сотворя,  
Пытается сказать  
О нашей общей драме,  
Еще — напомнить нам  
О смысле бытия.

Смысл потерявшим —  
Нам  
И в горе безутешным,  
Он говорит живым  
О Боге и Судьбе.  
И обращаясь к нам,  
Изломанным и грешным,  
Он закликает нас  
Подумать о себе.

Подумать о душе.  
Кому живем в угоду —  
Себе или врагам?  
Как вразумить слепца!  
Иль дьявольский обряд  
Утраты и исхода  
Вершится на Руси  
Как таинство конца?

Я слушаю его  
И всматриваюсь в лица.  
Потухшие глаза —  
В них скорбь  
И ужас в них.  
Пора, давно пора,  
Но как остановиться?  
Пора, давно пора,  
Но как спасти живых?..

Не первый ты ушел  
Из жизни —  
Не последний.  
Не первый в ней прозрел,  
Чтоб вскрикнуть и упасть.  
И шестилетний сын —  
Единственный наследник —  
В земле лежит сырой...  
Времен прервалась связь.

Под кронами берез  
В земле,  
До пуха взбитой,  
Ты брата, и сестру,  
И мать похоронил.  
Кружится жесткий снег,  
Звучит в тиши молитва.  
Да не хватило слез,  
И не хватило сил...

3

Какой трагичный круг!  
От боли сердце стынет.  
И сам немолод я,  
Доживший до седин.  
Семь братьев и сестер  
Имел отец,  
А ныне  
Из всей большой родни  
Остался он один.

И страшно оттого,  
Что нам уже не страшно.  
Привыкли ко всему —  
И смерть не утрашит.  
Привыкли за столом  
За дорогих за наших  
Смирненно есть и пить  
За упокой души.

Угрюмы мужики  
Из деревень окрестных.  
У них, у мужиков,  
Заботушка одна —  
Копать. Копать. Копать.  
На кладбище не тесно,  
И хватит за столом  
Закуски и вина.

Напиться и уснуть.  
День прожили — довольны.  
Потом — девятый день,  
За ним — сороковой.  
Вон сколько их еще,  
Старушек сердобольных,  
Готовых хоть сейчас  
На вечный на покой.

Пока еще они  
Ведут обряд по чину.  
Пока еще в шкафу  
Их скорбное белье.  
Но смерть уже глядит  
Им,  
Православным,  
В спину.  
И каждая из них  
Предчувствует ее.

Когда они уйдут,  
Мир станет холоднее,  
А в этом мире мы  
Несчастней и бедней.  
Тогда, быть может, мы  
И оценить сумеем  
И красоту и скорбь  
Безумных этих дней.

Тогда, возможно, мы,  
Безродные изгои,

Их потеряв,  
Пойдем,  
Чего лишились мы.  
И почему в душе  
Ни света,  
Ни покоя.  
И почему такой  
Судьбы исход и смысл.

Молчим, потупя взгляд,  
Вокруг сырой могилы.  
А, может, здесь она  
Стоит Судьба сама?  
Надолго ль хватит слез!  
Надолго ль хватит силы!  
Не очерстветь душой  
И не сойти с ума...

\* \* \*

Над дорогой небо серое.  
Вдоль дороги серый снег.  
Непутевый я, наверное,  
В этой жизни человек.

Вот опять куда-то еду я  
Мимо сонных деревень.  
Но пока и сам не ведаю,  
Где закончится мой день.

Еде-еду — думу думая,  
Где застанет ночка — где?  
Про жите и про судьбу мою  
И о всякой ерунде...

Труден путь — легка дороженька.  
Три часа — и двести верст!  
Живы руки, живы ноженьки,  
Не устал и не замерз.

Трасса. Скорость. Одиночество.  
Но порой куда-нибудь  
Мне, уставшему, так хочется  
С большака пешком свернуть...

\* \* \*

Здравствуй, сельская дорога!  
Здравствуй, старая сосна!  
Снова здесь я — слава Богу!  
Вечер. Сумерки. Весна.

Не сворачивая — прямо  
Я иду, где был знаком  
На дороге с каждой ямой,  
С каждой кочкой и кустом.

У берез и у черемух  
Отдыхал не раз, когда  
Уходил по ней из дому  
Не на сутки — навсегда.

Легок путь мой был и весел  
От избы до большака.  
И, не слыша птичьих песен,  
Сам взлетал под облака.

...Перепахана дорога.  
Горек мой обратный Путь.  
Не найти теперь порога,  
Где бы мог я отдохнуть...

\* \* \*

Столб у тропы — вороний трон.  
И, накликав в поле вьюгу,  
Скрипит победный крик ворон  
Вслед птицам, полетевшим к югу.

Ворона села на жнивье.  
Пришел и наш черед прощанья.  
И столько в выходках ее  
И гордости, и ликованья.

Слежу за ней издалека.  
Вот, выказав свой птичий разум,  
Глядит без страха — свысока,  
Блестя стеклянным черным глазом.

Прошлась — поднялась на крыло.  
И перелесков голых мимо  
Курс выправила на село —  
На лай собак и запах дыма.

И я, в предчувствии зимы,  
О ней подумал по-другому  
И понял, что она — не мы —  
Еще верна родному дому.

\* \* \*

Вот и отпуск — еду снова  
На малину, на грибы.  
От бетонки до Попова  
Километров семь ходьбы —  
Перелески да столбы.

Налегке июньской ранью,  
Закатав штаны, иду.  
Было время — на свиданья  
Не такие расстоянья  
Я отмахивал в бреду  
У округи на виду.

Еле сдерживая дрожь,  
По вертлявому проселку,  
По тропе,  
Где желтой челкой  
На ветру сбивалась рожь,  
Было время — ну и что ж!

Лишь бы только ветер в спину!  
Прибегал на радость — ей —  
За деревню, под рябину,  
Было время — был бойчей!..

Вот и мост. Сбежал в лощину.  
Мост все тот же, а ручей  
Чивкнул, как птенец,  
— Ты чей?

— Чей ты, чей?  
Светло и звонко  
Доносилось сквозь кусты.  
— Твой же, милая сторонка!  
Иль не рада встрече ты?

\* \* \*

*Николаю Осипову*

Светло и тихо у родных берез.  
Дом на краю с открытою калиткой.  
Грачи хлопочут на ремонте гнезд,  
Приветствуя тебя веселым криком.

Вновь после зимних обложных ночей  
Друзья мои стоят у касс вокзалов.  
Ведь и у нас — у нас, как у грачей,  
Лететь на родину пора настала.

Туда, где рада солнышку земля.  
И где опять, освободясь от стужи,  
Затылки греют мерзлые поля,  
А мы — остывшие за зиму души.

Я у твоих побуду у берез.  
Они поймут, встречая человека,  
Который, как и ты, не уберег  
Покой на шумных перекрестках века...

\* \* \*

Вот и осень загуляла  
От столба и до столба.  
Пахнут лугом сеновалы  
И соленьем погребя.

И опять меня скрутила  
Боль в прокуренной груди.  
Вымывают мою силу  
Морозящие дожди.

Выдувают мои мысли  
Ветры северных широт.  
И опять совсем раскисли  
И дороги, и народ.

Вот и все — и кончен праздник.  
Лишь, лукавый глаз кося,  
По утрам сорока дразнит  
Неуклюжего гуся.

Да еще хрустит капуста,  
Отзываясь на мороз.  
У кого какие чувства,  
У меня — тоска до слез...

\* \* \*

Ветер стих. И смолкли шорохи.  
Я опять совсем один.  
Под дождем погасли всполохи  
Кленов рыжих и осин.

Первый день мятежной осени  
Тих и светел, но уже  
Мы и сами скорость сбросили  
На последнем вираже.

Сад зарос. Трава нескошена.  
Друг! Доволен ли судьбой?  
Неужели все хорошее  
Позади у нас с тобой?

Иль прошла пора мятежная  
И у нас — уходим в тень...  
Потому и сердце нежное  
Громче бьется в тихий день.

\* \* \*

В поселке ночь.  
Ворота на замке.  
На мокрых ветках  
Сальный отблеск окон.  
Горит звезда  
В туманном далеке.  
Ей,  
Как и мне,—  
Светло и одиноко.

\* \* \*

Гуляй, моя душа, гуляй!  
Да развернись в гульбе пошире.  
Октябрь за окнами — не май,  
Не тьма, а свет в подлунном мире.

Твори, душа моя, твори!  
Хотя бы в стол, хотя бы вчерне.  
От бледной утренней зари  
До огненной зари вечерней.

Трудись, душа моя, трудись!  
Всему живому чутко внемли.  
Взмывай, отчаянная, в высь,  
Не падай, грешная, на землю!

## СТАНИСЛАВ МИШНЁВ

### МЕЛЬНИК

Мельницы издавна славятся нечистой силой. Нечисть заводится в мельничных постройках вместе с установкой жерновов и не покидает облюбованного места, даже если вода перестает шуметь в мельничных колесах. Дьявольская братия резвится на вольных хлебах, жиреет и плодится в великом множестве и самой разной масти. Находится много очевидцев, видевших своими глазами самого речного хозяина, отдыхающего на каком-нибудь топляке. Русалки же постоянно балуются после душного летнего дня в тумане молочного пара, поднимающегося над рекой.

Мельника тоже побаивается народ. Не зря же годами вертятся колеса, принося немалый доход владельцу. Может, он сродни черному ангелу? Может, за главного у них?

Не всякий мужик отважится ночевать один на мельнице. А вдруг утянут под воду... Мельнику что, показал, в какой ковш засыпать, где обдернуть, и на покой можно. Мели, родной, не засни, смотри, да со сна головой сам в тот ковш не упади. Еще на голе жернова не пусти, дел ремонтных много будет.

Шум от работающей мельницы слышен далеко, как

и самые невероятные истории и сплетни, что передаются здесь из уст в уста, сортируются, поправляются и расходятся по окрестным деревням. Хорошо, если попольщиками окажутся свояки или кумовья. Ночь длинная, обо всем можно успеть поговорить. По русскому обычаю встреча есть встреча, чтобы немного помнилась. Добавка спиртного всегда есть у мельника, и нет большой беды, если утром с больной головы оставишь хозяйину мельницы мешок муки за услуги.

Но пятый день помольщиков нет.

Мельник лениво развалился на солнцепеке, сунув под голову кулак, поросший рожим волосом. Лежит в одних кальсонах. Потухшая трубка выпала из руки, ничего не выражающий взгляд устремлен на реку. Краски жизни стерлись, растворились, сделались нудными от одиночества. Не так красива радуга после недавней без дождя грозы, нет ажурного каскада из брызг падающей воды с большой высоты. Все не то. И сама плотина, не очищенная в этом году от зелени, выглядит заброшенной.

Мельник вдов. Всего три дня не дожидая до своего сорокалетия покойница Параня. Вымылась в жарко нагретой бане, расчесала перед зеркалом смолистую косу, легла на кровать и тихо простилась с миром. Муж даже не сразу понял, какое несчастье обрубило ему радость жизни. С тех пор проклятая тоска поглотила его душу, вырвала из рук всякую работу. Не ожило его сердце даже весной по прилету уток, до которых был раньше большой охотник. Само утиное кряканье казалось насмешкой над ним, одиноким.

Уж как любил он свою Параню! Какая была женщина удивительной и чувствительной души. Вон на тех мосточках полоскала, бывало, белье. Разогнет спину, вытрет брызги с лица и долго смотрит в речной изгиб. Потом вздохнет тяжело и снова принимается за работу. Может, страдала оттого, что не было у них детей, может, другое что тревожило. Не раз, пробудившись ночью, видел жену стоящей у окна. Любила Параня лунные ночи. В такие минуты смутно и тревожно смотрел он на жену, догадывался, что живет в ее сердце

большое невысказанное чувство, что она одна переживает ей одной ведомое. Назавтра старался прочесть в ее глазах ночные думы, но Параня только смеялась.

«Ой, Параня, рано ты осиротила меня, ой рано. Завтра Ильин день, не за горами Покров, снова братан в гости звать будет, а идти на родину, что себя живого зарыть. Как плясала ты, бывало, как частушки пела!..»

На волосатой груди запутался овод, но даже его гудения не замечает Ефим. Лежит, в который раз перебирает на весах совести плохое и хорошее. Не вечен человек, как и все живое, но не задумывается в повседневной жизни над смыслом бытия. Раньше и Ефиму жизнь казалась бесконечной и длинной, как та дорога в день их свадьбы. Добрые кони мчали во весь дух по снежной равнине, летели комья снега от копыт в передок саней, а Параня толкала в спину Ефима и озорно кричала, чтоб гнал еще быстрее. Волоклась по снегу малиновая шаль с кистями, свистел ветер в гривах коней... Не задумывался и Ефим, когда куражился в пьяном виде. По обычаю нашему пил редко да метко. А Параня как ни в чем не бывало хлопотала утром по хозяйству, смеясь, спрашивала про больную голову и ставила на стол туесок с квасом. Ефим, как побитая собака, убегал куда-нибудь и еще не одни сутки чувствовал себя не в своей тарелке.

«Поздновато хватился казнить себя, поздновато. Другомя можно было прожить, ой другомя! Хоть бы знать, о чем страдала. Эх, житуха человечья...»

После смерти жены начал было с горя попить крепко, потом враз остановился и впал в совершеннейшую апатию. Думы, думы...

Петух подвел своих подружек к самой воде, оглашенно захлопал крыльями, закукарекал.

Ефим потянулся за трубкой, но не нашарив ее, повернулся на бок. Взгляд упал на веревку: показалось, идет его Параня с ивовой корзиной на руке и ловко кидает белье для просушки.

«Завшивею скоро», — мелькнула мысль. Сел на песок и стал набивать трубку, старательно уминая табак пальцем.

«Может, спалить эту мельницу и на родную сторону мотануть? У братана семья большая, да ведь и я не чужак и не нищий. Наделил батько меня хозяйством. С одной стороны — спасибо, а с другой... понеси все нечистая сила! Ведь говорили люди: нечего добра ждать...»

Отец Ефима вошел в дом в деревню Новгородскую. Таких примakov называют у нас домовиками. Был Иван Михайлович здоровущим мужиком, роста трехаршинного. Он сразу зажил на широкую ногу. Не скупясь нищим давал, ставил миру в праздники три лагуна пива, торговал овсом и маслом. Мать Ефима была болезненная женщина, быстро уставала на работе, часто плакала. Держал Иван Михайлович работников. Один глуповатый парень жил постоянно в доме Ивана Михайловича, летом пас коров, зимой валил лес для казны. Хозяин часто хлопал парня по плечу, обещал женить на самой красивой девке и дать за работу ту корову, которая на него посмотрит. Дурак почитал Ивана Михайловича за бога. Хозяйка однажды при дураке начала хлестать корову, которая нравилась работнику и которую он уже считал своей. От ярости парень схватил кол и ударил хозяйку по голове. Женщина охнула и без памяти дожидла только до следующего утра. Хозяин не рассердился на дурака, только виновато сказал:

— Зря ты, Грушуха, она и так не жилец была.

Вскоре женился Иван Михайлович вторично. Посадил обоих сынов за стол и велел молодке накормить ребят. Ефимка, старший, никогда не видел отца таким. Сидит в углу, нахохлился, как сыч, густые брови глаза закрыли. А молодка убежалась около стола.

— Вот,— сказал отец, когда ребята поели,— чтоб так всегда было, Дарья,— и показал пудовым кулаком на икону.

По окончании полевых работ наступала пора временного затишья. Начинался сезон свадеб. На свадьбы рыжий Иван приглашался первым, и считалось большим почетом, если садился он около жениха. Иван Михайлович брал с собой на свадьбы глуповатого парня. Парень сидел на пороге и дожидался, когда хозяин,

сходив до ветру, сядет рядом с ним. В свадебной шумихе иногда забывали во время поднести обоим сидящим на пороге братыню пива. Тогда хозяин говорил работнику:

— Харкни-ко, Гришуха, женишку в рожу, чего это гостей забирают.

Парень, довольный от совершенного, смеялся до колик, тогда как жених выглядел мокрой курицей. Против Ивана Михайловича хвост поднять? Да по одному через колено переломает.

Однажды ограбили крещенскую ярмарку в Великом Устюге. Появление в первых числах июня незнакомых мужиков не прошло незамеченным. Пришлые схватили у перевоза Зинка-хапка и велели принести два лагуна пива. Видимо, слышали, что Троицу в этих краях справляют знатно. Иван Михайлович наслышан был от урядника про устюгские дела и сразу смекнул: вот где сорок нош добра. От Устюга до Кокшеньги суём стеной стоит, черт ногу вывернет, пока доберутся.

Посоветовались мужики и решили: дело не доводить до греха, если сами воровские людишки не полезут. Праздник праздником, а придурок по приказу хозяина следил за ворами. Его ответы еще больше укрепили уверенность Ивана Михайловича. Он уговорил своих мужиков порубить хриstopродавцев. Мужики согласились, только в схватке погиб и сам Иван Михайлович. Может, свои тяпнули топориком, может, вор какой не сплеховал. Между тем старший Ефим подрост. При отце была построена мельница и держался на ней работник. После смерти отца сын исполнил его волю: женился и уехал с молодой женой жить на мельницу, оставив младшему дом и хозяйство.

Все мельнику дает река. Рыбы есть не переест, да не лезет и в глотку. Эх, как варила уху Параня! Лицо покраснеет, волосы дымом пропахнут... а как звала отведавать ушицы! Голос и теперь стоит в ушах, певучий, нежный. И спешил Ефим на зов, охлапывая на ходу себя от мучной пыли, приглашал помольщиков в компанию... Вместе с Параней, бывало, ездил он на лодке снимать донки. Параня гордо вскидывала голову и начинала петь.

...поедем, красотка, ката-а-ться-я-я,  
давно я тебя поджидал.

Неслась над рекой песня, рвала душу. В сильном волнении подхватывал и Ефим, забывая про весла.

— Счастливо живет Ефим. Что голубки,— говорили между собой помольщики,— не всякому бог такую бабу отвалит.

А теперь что? Лодка еле на плаву держится, донки забыты. Идет день к вечеру, и слава всевышнему...

Мельник встает, идет к воде, останавливается у кромки и пыхтит трубкой.

«Может, бабешку какую огоревать? Одних нищенок к осени вон сколько будет. Только вряд ли какая добром пойдет, затрусит, убоится меня, дьявола косматого. Не-е-е, добром не пойдет, все меня с покойником батьком сравнивают. Может... богу молиться начать? Вон Серафим преподобный сорок лет, сказывают, на коленях в пустыне стоял... А чего его в ту пустыню понесло? Молился бы у себя на задворках, бог все видит. Овши-вел, поди-ко, вроде меня, вот и понесло в пустыню. Дурак...»

Ефим бросает на песок трубку и кидается с маху в реку. После купания снова садится на старое место и глядит на сосны противоположного берега. Лес медным отливом вытянулся к самому небу.

«Вон он пень, спасибо тебе, Яшка, хороший крест смастерил. Не обижайся, Параня, я тебя не забываю. Может, зря только с бабкой положил?..»

Из раздумий выводит Ефима подъезжающая подвода. Саженой за тридцать слышится треск и женское уханье. Ефим лениво оглядывается, видит такую картину: нагруженная мешками подвода завалилась правым колесом в весеннюю промоину, соскочившая с возу баба что есть силы пытается заставить лошадь вывезти воз. Ефим невольно улыбнулся, сравнив ее старания с бегающей вошью по гребню. Лошадь рывками берет так, что готова выскочить из хомута, баба забегает с разных сторон, понукает, заглядывает под телегу, чувствуя неладное. После нескольких попыток баба в отчаянии

кидает повод и идет к мельнику. У бедной заподгибались ноги, когда она увидела наполовину голого Ефима.

— Что скажешь, голуба? — Ефим поднимает на подошедшую женщину голову.

— Тележка, дяденька, в яму колесиком попала, как-то выехать надо, — отвечала та, немного оправившись от страха.

«Дяденька... колесико...» Слова, кажется, не доходят до Ефима.

— Надо как-то... — баба принимает его за пьяного или не в своем уме.

— Ты иди, тово-этово... Иди.

Женщина быстро поворачивается и возвращается к повозке.

«Господи, пронеси и помилуй!» — шепчет она на ходу слова молитвы.

Ефим устало смотрит вслед, по-мужски отмечает про себя, что ладно скроена баба и чем-то похожа на покойницу Параню. Потом встает, идет к мельнице, думая про это сходство. У самой плотины сильно всплескивает щука. Этот всплеск и расходящиеся круги окончательно возвращают его к реальности. К повозке он идет уже в штанах и рубахе. Глядит, как женщина поправляет съехавший мешок и спрашивает:

— Откуда будешь-то, голуба?

Баба отвечает:

— Так в вашей деревне свояк мой живет, Михайло Кузьмич, знаешь?

— Как не знать, чай, не завозная.

Ефим осматривает телегу, находит, что сломалась ось.

— Придется отсюда носить, — говорит он, по привычке снимая расшитую рубаху, но, оглянувшись на бабу, натягивает ее обратно.

— Ты что, поменьше мешков не нашла? — спрашивает, берясь за первый пятипудовый мешок.

— Так свекор в таких отправил. Говорила, что не унести одного, мне и не поднять-то, а он злится да матюкается. Поедом заел... — зачастила, оправдываясь, баба.

— А кто свекор-то?

— Как и сказать, не знаю, в народе Митькой-рылом зовут.

— А-а-а, в глаза не видел, а слышал про вас. Ума палата... Это твой мужик на барках ходит?

— Ушел и не вертается.

Женщина бьет оводов на изъеденной в кровь груди не лошади, помогает ставить мешки. Наконец воз разгружен. Помольщица ведет за узду лошадь к мельнице, сломанная телега скребет боком о галечник.

— Распрягай тут,— говорит ей Ефим,— я засыпать на обдирку пойду.

Через полчаса выходит на улицу. Женщина спит прямо на траве, прикрыв лицо и руки простеньким платочком. Лошадь, привязанная к столбу, бьется от наседающих кровососов.

«Заморилась пашная. Что бы лошадь в сарай поставить, голова сосновая».

Заводит лошадь в сарай, ругает про себя свекра, Митьку-рыло, отхватившего у коня хвост по самую репницу, потом приносит из дома покрывало и осторожно укрывает им женщину от жужжащей твари.

Проворно работает пущенная мельница, наверстывает простой: ей тяжело, как и человеку, без дела.

Мельник садится на чурак, набивает трубку. Потом вспоминает, что в сарае есть хорошая ось, и принимается за ремонт телеги.

Смолото зерно, починена телега. Все это проделал Ефим легко и проворно, оглядываясь на спящую бабу. Уж очень захотелось сделать ей приятное. Знать, хватила лиха, едут на ней, как на тягловой лошади. Сам Рыло небось не поехал, ее отправил, надрывайся баба.

Ефим раскладывает костерок, легонько трясет спящую за ногу.

— Слышь, голуба... голуба, время вставать.

Баба заойкала, увидев на телеге уложенные мешки с мукой.

— Только задремала, кажется...

— Солнце за твою деревню завернуло, задремала...— Ефим засмеялся.— Вставай да поужинаем, чем бог послал.

Оба идут к реке. Женщина черпает ладошкой воду, отфыркивается, стирая капли с лица. Ефим скидывает рубаху, плещется и обливается с удовольствием. Баба снова со страхом смотрит на страшный волосатый торс мужика, пятится от воды. Ефим зачерпывает пригоршни воды и кидает на бабу.

— Не озоруй, Ефим Иванович...

— Ладно, ладно, не ругайся. Пошли ушку сварганим, до дому тебе не близко, протрясет.

Сбегал к себе домой, притащил ведро картошки и пестерь.

— Ставь котелок на огонь, картошку почисти, а я мигом за рыбешкой слетаю.

В хитром колодце-заводи всегда есть у мельника на запас живая рыба. Волочагой выхватывает пару приличных щурят, кидает снасть на черемуху и возвращается к костру.

— Я и спасибо сказать не успела, прости, Ефим Иванович,— встречает его женщина,— как бы я теперя...

Ефим отмечает про себя, что прибралась баба, похорошела.

— Да чего там,— отмахивается, заглядывая в котелок.— Так... Забулькало? Потроши щурят, а я еще сбегая в одно место.

Когда возвращается, женщина уже поджидает его.

— Может, рыбок спускать?

— Рыбок... Ха-а-хх. Отпускай. Это не рыбки, а щурята.

Ефим вытряхивает содержимое пестеря на разостланное полотенце.

— Как Параня оклала, так все и лежало с последнего раза,— со вздохом сказал он.

Баба молча уложила обратно в пестерь всю посуду и пошла ее мыть к реке.

«Вот-те на. С характером, оказывается»,— мелькнуло в голове Ефима.

— Слышь, а как тебя звать-то?

— Анной,— как аукнулась та.

«Анна... Мать покойница тоже была Анна, царство ей небесное. Анна...»

За ухой Ефим стал уговаривать Анну выпить стакан-

чик водки, ведь не зря же он за косушкой бегал. Едва уговорил.

— Сказывают про тебя, Ефим Иванович, что нелюдим ты... Сижу вот, а всю до костей пробирает. Сама не знаю...

— Пустое колоколит народ. Слышал, что меня уж к водяному в родню записали, мужики и те на ночь оставаться боятся. А я все Параню забыть не могу.

Уха показалась мельнику на редкость вкусной. Ефим спрашивал про житье-бытье, про хозяйство, свекра, про деревню. Отмечал, что бог умом бабу не обидел.

— Не знаю, как и отблагодарить тебя, Ефим Иванович,— старательно перемывая посуду, сказала Анна.

Мельник запряг отдохнувшую лошадь в телегу, схватил подошедшую женщину на руки и, продержав немного, посадил на мешки. Анна только ойкнула, как очутилась наверху. Понуднее уселась, взяла в руки протянутые вожжи.

Ефим шел рядом с повозкой. Ему не хотелось отпускать женщину, ведь вместе с ее уходом снова придет тоска и одиночество.

— Стой, Анна,— неожиданно решившись, сказал он,— стой! Выходи за меня замуж.

— Что ты, Ефим Иванович, что ты, бог с тобой?! — опешила баба.— Да что ты право... Ведь у меня мужик есть.

— Тьфу, не в обиду будет сказано, не жив твой мужик. Два года, не два дня, вернулся бы.

— Что ты, Ефим Иванович, ведь венчана я!..Что люди-то скажут? Может, жив Ванька? Как потом-то? Ой...

— Плюнь ты на собачий лай. Да один свекор тебя в гроб загонит! Смотришь на него, как на божницу. А жизнь-то одна дадена, худая и хорошая. Нам с Параней бог детишек не дал, а так уж хотелось... Любить меня твой Илюшка будет, вот увидишь. А что поп? Поп за деньги венчает и отпевает, замолит, если грех какой. Приглянулась ты мне, Анна...

— Давно я, Ефим Иванович, без мужика, а жила честно, подолом не трясла...

— Не отпущу, пока слова твердого не услышу. Годы мои не те, чтобы, как рекрут, за ригами волочиться да шептаться. Согласись, Анна! Жить будешь, как у Христа за пазухой, словом не наднесу...

— Как тут жить-то? Народу нету, дико все, я этой мельницы с издали боюсь.

— Привыкнешь. А что народ? Каждый день народ, новости из первых рук. Хозяйка мельнице нужна. Раньше четыре хряка землю рыли у сарая, теперь замухрышка один ползает.

Ефим смотрит на Анну. Мысли Анны беспорядочны от такого поворота дел.

«Нет, такие мужики не обманывают. И правда, может, нет Ваньки в живых, а я смотри на свекровьи сопли, ни вдова, ни мужняя жена, ломи от зари до зари, угождай, а им все неладно. Горелой коркой попрекают... А он... По мне так и нисколько не старый, вон как меня на телегу кинул. Медведушко... Ой, грех-то какой...»

— Свекор, Ефим Иванович, сарафана за мной рваного не даст.

— В нарядах ли дело-то?! Чай есть у меня на что наряды завести.

— Не попрекнешь потом?

— Бог ты мой, Анна, не корову в хлев завожу — бабу в дом беру, да разве можно?

— Тяжело тебе будет, Ефим Иванович. Сравнить меня во всем с Параней будешь. Не забыть тебе ее, хоть и не прошу об этом.

— Что мое, то мое. Не тронь ее, ладно?

— Говорим-то с глазу на глаз, и поверить не знаю как.

Ефим крестится, призывая в свидетели мать покойницу и небесную твердь, ангелов и сосновый бор.

— Только без попа я не согласная. Как без попа-то?

— Да будет тебе поп, будет. Жди, дня через два на вечеру прикатим с братаном на лошадях! Парнишка чтобы не убежал куда, все как у людей будет. Ох, заживем, ей богу, не скаешься! Уж больно ты мне, Анна, приглянулась. Согласна, значит?

Женщина утвердительно кивает.

— Жди, голуба ты моя, через два дня подкачу. Ну, прощай пока, не торопись, с богом.

Мельник возвращается на свою мельницу. Приветливо гудит в вершинах мачтового леса ветер, запах перестоявших медовых трав щекочет ноздри.

## КОРОВА

Катится по небу круглый и блестящий месяц, дрожат и искрятся звезды. В такую ночь месяц — царь державного неба, но до царского венца покусителей много, — выползает незваная гостья во рваном тулупе — туча, морозной пылью источенная, светлой бахромой окантованная, хватает зазевавшегося владыку и прячет; красотой дивной, волшебной раскустится спор между светом и тьмой; вырывается месяц на волю, кругом его матовое дымчатое свечение; через полы тулупа струятся к земле серебристые полосы, исчезают одни прорехи, бледными заплатками накрытые, режутся другие, и бредут по снежной равнине исполинские ноги; проходит миг, полный таинственного волнения, одни завитушки овчины исчезают, другие дыбятся, но всплывает месяц, чистый и свободный, и опять он заливает щедрым светом землю, опять собирает вокруг себя испуганных поклонниц.

Ночью не гудели электрические провода. За ночь не один раз Максим Ионыч поднимался с кровати, шел к окну, отодвигал цветастую занавеску и, опершись сухими пальцами о подоконник, глядел через стекла в огород. Из окна было далеко видно снежную перину, отвердевшую после двух крепких утренников, уносила его мыслями вниз, к реке. Там был его покос, стояли два больших шестипромежных зарода сена, жирафом задрала голову к иве косо наложенная кладка жердей. Максиму Ионычу шестьдесят восемь лет, это еще крепкий, подвижный, сутуловатый мужик. Три года назад перестал бриться, заимел привычку стоять у зеркала и че-

сать богатую бороду гребешком. Волосины, что растут по кадыку, постоянно уничтожает, ибо, как считает, они фальшивят, лезут не по чину.

Последние дни его одолели грустные мысли. Наду-мали с женой сдавать корову.

— Много ли нам двоим-то надо? Кабы ребята с вну-ками дома жили, а так... Трудно,— сказала жена, в ко-торый раз убеждая и себя, и Максима.

Он был согласен с ее доводами: колхоз еле дышит, фураж достать трудно, косить — нет тракторов, нет со-лярки. А на чем сено домой привезти? А воды сколько надо, а дров... Печаль, да и немалая, многих бутылок водки стоящая.

— Что уж делать, заведем козу,— сказала жена и осеклась: смолоду, бывало, не жаловала «сталинских коров» вниманием, и зазорно как-то коз держать, и пакостят, и блеют постоянно, и воняют чем-то особен-ным, а корова... Это корова! — крепость семьи, подруж-ка хозяйки, гордость хозяина. О корове можно говорить часами, в магазине, на автобусной остановке, у водо-разборной колонки.

Днем Максим Ионыч подыскал материал для козьих яслей, стаскал в столярку, выстрогал одну доску рубан-ком и бросил затею, обругав сам себя за спешку. Коро-ва стоит в хлеве, да сено хрумкает, а он замену ей готовит, и кем заменить хочет... Козой.

Не раз за день кинул взгляд на свою пожню. Вот сдаст он корову, перестанет косить наволоку, и попрут дурная травища. Минет лет десяток, кусты просядут — зайцу не проскочить. И все?.. И забудут все, что этот наволоку косил когда-то Максим, и не было на свете такового, и не стояла его изба посреди деревни, и липы вымахали, не знать кем посаженные? Замахиваться на десять лет он не собирался — силы не те, и здоровье пошаливает, но от мысли такой печальной было не-много горько.

Как человек, привыкший обдумывать свои дела не-спешно, он стоял ночью у окна и вздыхал, тербил бороду. Он понимал, что корова уведет с собой остатки сил, заберет желание побольше нарастить картошки,

унесет заботы о хлеве, о воде, о пастбище. Ради кого они будут хлопотать с женой? «Что кабы проснуться завтра — и мне всего тридцать лет! Господи, да на что мне трактор, на что косилка! Косу на плечо и — туда, к реке. Пока спит деревня, пока жenuшка раскидалась и нежится, я смахну траву во-он до того поворота реки, а как солнышко из-за угора на поденщину выберется, хватится меня баба... И бежит, веселая, ото сна сладкая, с туеском квасу ко мне... Обниму ее, разгоряченный, прижму к рубахе, солью смоченной, и на валки ее опрокину...» Сладко ему было думать об этой, никогда невозвратной поре.

«Большая у нас корова! Пожалуй, самая матерая в деревне!», — с гордостью думал Максим Ионыч, пропуская вперед себя по коридору готовую сорваться на бег Ласку. Едва переступив порог, всю зиму не выпускавшая из хлева животина с шумом втянула ноздрями утренний воздух, рога взлетели, готовые на бой и на праздник, все тело дрогнуло, подпираемое жаждой движения, и ноги в белых чулках понесли спрессованную из мышц и легких воспоминаний пеструю торпеду с бугристыми шрамами по паху напрямиком в сугроб.

— Побалуй, побалуй, — отпускаясь от веревки, заряжаясь радостью жизни, радостью неумемной силы. — Эт ты, эт ты, как ее разобрало, как расходилась!.. Что, умылась, ну еще разок!.. Так! Так!

Достал из взятой в дальнюю дорогу полевой сумки ломоть ржаного пирога, стоял, тщательно втирая пальцами насыпанную на хлеб крупную соль. Чувство самого близкого родства, преданности, неразрывности семьи усиливалось в нем с каждым коровьим прыжком, с каждым вывертом. Перед глазами рядком поднялись погодки телята, кои приняли они с женой от своей Ласки, услышав ее призывное мычание — медведь долго выбирал в стаде самую хорошую корову, да на Ласке опростоволосился, не по зубам выбрал... Натертый солью ломоть сначала укусил сам, дождался, когда корова, распаленная простором, морозом, снегом, сама подбежит к нему, подал. Жевнула раз-другой — нет ломтя.

— Еще?

И Максима как обожгло, такое навалилось желание отказаться от задуманного, вернуться с коровой в хлев — и живи она, пока они со старухой живы, что едва совладал с собой. Заглядывал поочередно в глубокие зеленые омуты, гадал: знает или нет? «Не омманешь», — раскашлялся по-старчески. Похолодевшими ладонями прикрыл доверчивые коровьи зеркала, тихо сказал:

— Прости, Ласка.

Проходя мимо избы в поводу с коровой, искося глянул на окно: занавески не отдернуты. «А ладно, — мысленно похвалил он жену, которая вопреки всем логическим и нелогическим объяснениям должна была услышать его на расстоянии за толстыми стенами. — Не надо провожать. Порев и успокойся. Час такой, матка... тяжелый».

Его уже ждали. Грузовик стоял, прижавшись задом к хиленькой погрузочной площадке, в кабине курил, развалившись, парень в матросской тельняшке. По дорожке, разгребенной Максимом накануне, прохаживалась молодница в черной спортивной шапочке. От нетерпения или от мороза она поколачивала себя кулаками по бокам в такт шагам. Максима Ионыча удивили сапоги на даме. Он, в прошлом строитель, почему-то сравнил их с двумя рулонами рубероида и пожалел женщину: голенища ботфортов скорее всего упирались в живот и натирали промежности.

— Можно бы и пораньше, — небрежным тоном сказала молодница.

Выдернула из карманчика кожанки носовой платок, обтерла чуточку облупившийся тонкий нос.

— Да вот, девка... — сокрушенно молвил Максим.

— Бирка есть?

— А как же, — Максим с готовностью передернул сумку, достал из нее кусочек картонки. — Во, зовут Лаской, шесть раз телилась. Не под силу, понимаешь, нам с маткой стало держать. — Подался вперед, подталкиваемый коровьим лбом. — Хлебушка хочешь?.. На. Она никого не задела, ну и ее не тронь: унесет! Медведушко почесал, видишь, след-то от когтей оставил... А по какой цене вы закупаете?

— Цены повышены.

— Что-то я...

— С пятого повысили. Бирку вяжите на рога и — в кузов.

— Ишь ты, стрекоза какая, раньше всегда взвешивали. Вон у нас весы стоят, пускай маленько погрешат, но ходят около примет.

— Когда что было, — усмехнулась женщина и под слегка приподнятой верхней губой сверкнули белые зубы.

— Теперь по выходу мяса. Мясо переводят в живой вес.

— А зачем его переводить? — пожал плечами Максим. — Карусель какая-то.

— Вы будете сдавать или нет? Если нет, то я должна взыскать с вас за прогон машины без одного рубля триста.

— Без одного? — удивился Максим сверхточности. — Ты, девка, меня как обухом ошарабонила. Вроде из ума не выжился, а ум за печкой оставил. Интересно получается. А расчет когда же?

— Как обычно, в течение двух месяцев.

— Да-а, Ласка, канитель, однако... И неудобно, замахнулись, людей сорвали...

Парень выпрыгнул из кабины, откинул задний борт, весело крикнул:

— Помочь, папаша?

— Зачем?.. Зачем ее хлестать, она худого не заслужила.

Поставил Максим Ионыч корову в кузов, бирку на рога припутал. Сошел на землю, шапку сдернул, бороду теребит.

— А теперь... — говорит он в спину готовой залезть в кабину молодежи.

— Что вам еще неясно? — с раздражением спрашивает его приемщица, с вызовом упирая руки в бока.

— Как что? И прощай, выходит? — отчаянно выговорил Максим.

Он как подавился, быстро и беспомощно ища в уме выход из тупика.

— Не целоваться же мне с вами. У нас так принято. Не задерживайте, у нашей фирмы высокий маркетинг.

Машина поехала в одну сторону, Максим Ионыч постоял, посмотрел ей вслед и побрел домой.

«Это надо же? — размышлял он, чувствуя себя одиноким и потерянным.— Раньше власть была, что баба блудливая, я ее, стерву, уважать не уважал, а побаивался. Но нынче-то... Круто берут. Вот еще волки-то заморские!»

Пришел домой, старухе обсказал все. Та кулаками по подушке бьет да причитает:

— Лучше бы я не зна-ала-а...

— Ну как так? — стоя посреди избы глаголил Максим.— Без весу, за здорово живешь?.. Всю душу мне эта холера в сапогах вынула. Доставай-ко, матка, пенсию, хоть и далеко, а съезжу. Иван свозит.

— Опять нальешь шары-то... У тя мера — пока видишь.

— Тут не пьешь, да заставит.

— Ивану не наливай, отберут права — врагом станешь.

Сосед Иван согласился свозить, благо Максим, решивший грудью стоять за правое дело, не скупясь, на стол положил три сотенных. Час сидят Максим Ионыч с Иваном в машине его, битой-перебитой, семь раз перекрашенной, и два сидят. Походят, поглазеют на деревянный забор и опять в машину. Ласка уже ободрана, и теперь, как пояснила та самая приемщица в тяжелых сапогах, мясо должно остынуть.

И оба часа мимо их машины идут и толкаются люди, мужики и бабы, мужчины и женщины. Туда идут по-рожняком, оттуда ташат и несут сумки, сетки, мешки и мешочки, набитые мясом.

На цепи у проходной лежит пес, лохматый и грозный. Перед ним в алюминиевом тазике верный пуд свежена-рубленных реберных костей. Пси́на на мясо не смотрит, и люди ей, что муравьи.

На проходной сидит охранник, телом гладкий, из раскрытого ворота камуфляжной куртки торчит клок шерсти. Он вперил в телевизор усталые сонные глаза, наблюдает за депутатом Государственной Думы Жириновским. Очень темпераментно выступает депутат, кри-

чит, с места срывается... На просьбу Максима Ионыча пропустить его «вовнутрь, где там остывает его корова», охранник стряхнул дрему, равнодушно поучительно сказал?

— Не суетись, дед.

Метрах в сорока от проходной Максим обнаружил лаз в деревянном заборе. Через него идет тропа, убитая сотнями ног. Грудастая кладовщица, а может, ветеринар или приехавшая перенимать опыт старшая по маркетингу дама в белом халате тащит два полиэтиленовых мешка. Мешки протолкала, сама застряла. Широкой спиной елозит и елозит по доскам, не может их выдавить. Берет левую грудь как ребенка малого и пересаживает на другую сторону забора, потом правую пересаживает, сама кубарем выкатилась. Даже засмеялась, то ли от озорной выходки своей, то ли от печального старика, стоящего как в церкви. Протащила мешки до деревянного ящика, пропела крышка ржавой петлей — и все, мешков как не бывало. Обрато возвращается через проходную. И правильно делает: хорошие груди не надо жамкать грубыми досками, на них надо раскладывать деньги для вечернего баланса. Взгляд честный, поступь уверенная. Мимо Максима, мимо пса с вывалившимся языком, мимо охранника.

Подрулила черная «Волга». Водитель опустил стекло, громко, голосом свежим и слегка хриловатым, кричит подпирающему стену сарая покуривающему кривоногому коротышу:

— Кто идет? Колхоз или частник?

— Частник! — орет коротышка.

И тут в груди Максима родился стон, стон возмущения, удивления, ужаса. Он, как дикий конь, с такой силой лягнул колесо «Волги» ногой, обутой в валенок с галошей, что машина дернулась. Водитель с некоторым беспокойством открыл дверку, спросил:

— Больной, что ли?

— Уйди! — прорычал Максим Ионыч.

Едет он домой пьяный. Слезы из глаз горохом.

— Ты скажи, Иван, есть у нас власть? Нет ее. Это не власть, это б... самой наглой пробы! Самая паскуд-

ная, самая мерзкая! Маху дал, кому я поверил... За кого я голосовал, Иван?.. Назло ворью подыму корову, назло всем прохвостам Лаской назову! Иван, продай телушку!

## ПОСЛЕДНИЙ МУЖИК

Онучин умер накануне Великого поста. В последнее время он страшно похудел и изменился в лице. У него болело все тело, ломило суставы, но он воображал, что выздоравливает, потому тщательно брился, смотрелся в зеркало, нетерпеливо ворочался в постели. Под конец стал очень разговорчивый, говорил тихо, через силу, тяжело дышал, вспоминал покойную жену Агафью, просил у нее прощения, жалел убитого парнишку, сына бандеровца, обещал наделать бабам к сенокосу грабель.

Горела утренняя заря, над зубчатым лесом медленно поднималось солнце, радостное, изумленное, как дите малое. Воздух был спокойный, затаенный, природа вчера, как в последний раз, вдохнула мороз, а под утро выдохнула изморозь — шевельнулась под снежным тулупом мать-земля. Сквозь стекла пали на стол, на тальянку, на лежащего Онучина лучи, окропили позолотой. Кошка, встревоженная не понятными ей переменами, то просилась у дверей на улицу, то сжималась на полу клубочком. Никто не видел, как умирал Онучин. Явился ли к нему ангел и благопристойно попросил следовать за ним, или судорожный дьявол, хохоча, подхватил железным крюком его душу...

Он лежал навзничь на большой деревянной кровати, под старым ватным одеялом из синего ситца, в пестрой рубаше с расстегнутым воротом, уставив в потолок неподвижные, как бы шальные от изумления глаза. Бритое до синевы лицо, острый нос, скрещенные смиренно руки.

На деревне топились печи, сизый дым поднимался сажень на двадцать ввысь, уходил замысловатыми кружевами на север. Жизнь, простая человеческая жизнь продолжалась в раздумьях и хлопотах.

Пришла Наталья, двоюродная сестра Онучина, прямая и высокая старуха, сняла у порога валенки, полезла на печку за теплыми обутками. Охнула раз-другой, пока их достала, попутно незлобно отругала кошку, что лезет под руки, разделась, стала затоплять печь.

— Василе-ей,— нараспев сказала она,— седни как, отвалило, не давит грудь? Сердишься, ну посердись, на сердитых воду возят... Я вот седни сон смешной видела. Помнишь, ты лошадей гонял, когда с Иваном нашим за рекой до войны жали. Народику — ну как наяву, гужом, и девки незамужние, и бабы, всех вижу. Как бы на Ильин день, по приметам. Сарафаны на всех баские, бабы веселые, так счастливы, будто весть услышали, что война проклятая кончилась... Иван-то в лазаревой рубахе с закатанными рукавами, а мать твоя, покоенка, как бы от реки заходит, из цела, рожью идет. Вот подходит, лошадей останавливает, а у самой в руке пук крапивы с корнями надран. «Васька,— кричит на тебя,— ты чего это, паскудник, за Натахой в бане подглядывал?» И давай тебя по голым ногам крапивой жалить... Васи-ле-ей, спишь, что ли?..

Кольнуло под сердцем Натальи: уж... Подошла торопливо, склонила голову к плечу, охнула. Перекрестилась, прикрыла синие глаза красными рубцами век. Взяла с табурета тальянку, прижала к себе, запричитала:

— Отыграл, Васильюшко-оо...

Страшно ей стало, тоскливо: рушилась жизнь, уходила из деревни. Смерть, безглазая ведьма, прятавшаяся в пустующих избах, махнула своей косой, как знать, чья теперь очередь.

Осиротела деревня народом: из сорока шести домов, в пору бывшего величия ее, только на сенокос выходило до ста человек, а ныне полуживых старух колготится пятеро, Онучин был шестым. Последним мужиком. Бредет Наталья по деревне, так и хочется закричать: «Эй, мужики? Эй, бабы! Куда вы все подевались?.. Выходите на деревню, дорогу протопчем, ведь занесло до крыши!» Не аукнется народ, нет его. Старшее поколение на бусле лежит, молодое в городах о машинах хлопочет.

Обошла Наталья товаров, донесла им горькую весть. Всем миром пошли к Онучину, как ходили в последние годы по всякой надобности. Осторожно ступали за порог, подходили к кровати, смотрели. Уселись около него, стали думу думать.

Лежал перед ними не дряхлый старик — отдохнуть прилег Васька-гармонист, удалой да пригожий, на жизнь способный. Девок любил страсть как, баб пуще того. Председателем колхоза был — каждое бревно по нему проехало, везде поспел, ко всякому ключик имел.

Строгий был, да отходчивый. Кажется, сядет сейчас на кровати, объедет шальными глазами всех и каждую наособицу, к тальянке потянется.

— Закислились, девки? Что нам тужить, когда не хрен прожить, запевай, Егоровна!

Себя не обманешь, не вернется молодость весенней птицей, не растянет Васька тальянку. Тугая на ухо Марья обронила, что мужик ее, Иван Прокопьевич, перед смертью два гроба сделал, себе, да и ей. Коль Онучин раньше убрался — отдает домовину ему.

Нет к деревне следа, нет проследья. Почтальонка ходит на лыжах, когда ей прикахнет, дунул ветер да спутал провода — сиди при лучине неделю-другую. Нет мужиков, некому могилу выкопать, не на чем на буево свезти.

— Бабы, стесняться нам друг дружки нечего: соборовать надо. Давай-ко Василья помоем, переоденем в чистое, — сказала Егоровна, самая сильная и решительная из старух. Егоровна еще держит корову, сама баранов режет. Засуетилась Парасковьюшка, сухой ощепок, достала из-за пазухи псалтырь, прокашлялась, хотела прочитать что-то, да Наталья махнула рукой: не время еще.

Онучин, Онучин... загадывал ли ты когда, что тебя разденут свои же деревенские бабы, с коими ты жизнь прожил рядом, изучат твое тело самым бессовестным образом, вымоют, полотенцем оботрут, как беспомощного какого, и оденут, наперекор смерти, в красную молодецкую рубаху?.. Любил Онучин жизнь, ой, любил! И пил, и гулял, и дело вел, ненасытный был до жизни. Поговаривали, что жена его, робкая и застенчивая

Агафья, через эту любовь в доски ушла раньше времени. Так это или нет, один Бог знает да Наталья немного.

Чужая баба для него была слаще меду, чужой сарафан и пахнет приятнее. Наталья помнит, как, будучи пьяным, бранился и рычал, бросался с кулаками на Агафью, тогда она молила Пресвятую деву, чтобы отняла она у Васьки-гуляки мужскую силу. Прошло время, перебесился Онучин, на могиле жены хлестался, прощения молил, а жизнь-то боком да боком, будто и не жил. Полюбовник он был скрытный, за что уважаем подружками. Другой мужик и не поймал, да ощипал, а за Онучиным такой славы не водилось. Этим он поселял в некоторых вдовушках ревность, желание отбить его, как навыхвалку...

— Подойди, птичка моя,— говорит Онучин. Стоит у свежесметанного зарода сена, распаленный, кряжистый.

— Подойди! — шепчет страстно. Глаза горят, в лицо кровь бросилась.

— Вот еще,— играет с ним Авдотья.

— Ангел ты мой единственный... Век бы тебя на руках носил, голубка сизокрылая,— голос тихий и вместе с тем исполненный какой-то демонической власти.— Ночи через тебя не сплю, как представлю, что ты на моей груди...

— Ночи он не спит... а от кого Шурка родилась?

Божится Онучин, клянется всеми святыми. Авдотья как не слышит, подняла гордую головку свою, усмехается. Лестно ей, что такой мужик перед ней половиком расстилается, лестно и боязно: как да с сенокоса не все ушли, как да кто в кустах стоит слушает?..

— Зазнобушка, иссушила меня...

Авдотья старается не смотреть на Онучина, ступает мелкими шажками к нему. Привлек к себе, и она, кроткая овечка, задрожала вся, ласки ждет.

Целует в голову, в шею, сжимает в объятиях. Качнулось небо в глазах Авдотьи, зажмурилась в истоме, подогнулись ноги...

Положили Онучина на кровать, смотрят на стены, на пустую божницу, на комод, точно запоминают, где что лежит, где что висит.

— Дожили до тюки: нет ни хлеба, ни муки,— печально говорит Парасковьюшка.

Марья вытягивает лицо — не слышит, о чем речь.

— Девки у него сами уж бабки, разве приедут?.. Телеграммку бы отбить. Испилят дом, а жалко...

— Испилят, нынче модно ломать, не строить. Боюсь я, бабы, этого. Будто нутро выворачивают...

— Им что, анкаголикам,— говорит Егоровна,— у Кузьмовичовых ломали, так будто Мамай воевал. Одежду из сундуков вывалили, топчут, Катеринины исподки на себя примеряют, гогочут. «Эй вы, говорю им, собаки?» А тот, рыжий, топором давай посуду бить, рамы пинать, и все на меня оглядывается, похвалы ждет...

— Не заводили, не ставили, душа не сболит. Насколько же народ обурел, по дрова в лес не поедем, лучше пятистенок пилить,— говорит Наталья.

— Почитать, может? — теребит псалтырь Парасковьюшка.

— Ночь-та твоя, начитаешься,— грубо говорит Егоровна.

Много хлопот доставил им Онучин. До кладбища — шесть километров, опять к алкоголикам идти на поклон.

— Придется самим,— говорит Егоровна.

— Пустое несешь,— возражает Авдотья, некогда румяная да статная, нынче — яблоко сморщенное.— Ты-то, может, еще и коренник, а какие из нас пристяжные...

Егоровна исподлобья смотрит, шурясь, пренебрежительно говорит:

— Тебе ли скудаться, Овдошка, ты ведь на четыре года меня моложе.

— Моложе, да,— качнула головой Авдотья,— счет не по годам веди, по зубам.

Смеются старухи: у Авдотьи во рту один клык желтый, у Егоровны — железные протезы.

— Полы вымою, приберу, а там как Бог положит. Вот, бабы, что кошка, и та беду чувствует. Гля, раньше все в ногах у Василья комалась, теперь под лавку юркнула. Пушка, Пушка, иди ко мне,— говорит Наталья.

— Чего свечу-то не ставите? — спрашивает Марья.— Тяжело он с белым светом расставался.

— А ты почему знаешь? — кричит ей на ухо Егоровна.

— Болел долго,— отвечает печально скромная Марья.

— Поставим-ко, бабы, и свечу, и самовар да чайку попьем, будто и Василей с нами столовается,— предложила Наталья.

— Тогда я за вином сброжу,— говорит Егоровна.— Надо при жизни истребить нажитое, чтобы не тужить на том свете.

— Ой ли,— со страхом сказала Парасковьюшка,— трех ден не прошло, грех.

— Домой? — тревожно спрашивает Марья поднявшуюся Егоровну.

— Сиди-сиди,— щелкает себе по горлу.— Помянем!

С уходом Егоровны всем стало не по себе, Егоровна была становой жилой деревни, опорой, все настолько привыкли, что она будто мать над ними, редкий день кто проведет без нее. Егоровна не боялась никого и ничего, она даже прокурору Силинскому вlepила затрещину, когда тот на празднике распустил лапы. Прокурору!

— Тальянку в музей отдадим, один парень приходил и денег давал, и пугал, что украдут,— сказала Наталья.

— Ну уж нет! — запротестовала Авдотья.— В головах поставим. Захочет Василей растянуть — она под рукой.

Старухи не могли удержаться, заревели. Авдотья стукнулась головой о дужку кровати. Пили какое-то заграничное вино, вкусом — клоп раздавленный, пили, как могли. Кто по плоточку, кто пригубил только. Расстегнула Егоровна кофту, поправила тяжелые груди, сказала: «Ну, дроля, играй, плясать пойду, споем напоследок нашушенскую!»

— Как полоску Маша жала, зо-лоты снопы вязала, ээ-еех мо-лода-а!

— День-то какой, знамение тебе, Василей,— глянула в окошко Парасковьюшка.

— До чего же ты под старость набожная стала,— хмыкает Егоровна, толкает под бок Марью.— Расскажи-ко, как в ваш колдец Парасковьюшка чурку опустила.

Марья смеется, начинает рассказывать сто раз повторенный рассказ, оборачивается к Онучину, призывая того в свидетели. Молчит Онучин, нет ему дела до бабьих сплетен.

— Ты-то праведница,— поджигает губы Парасковьюшка.— Не с тебя ли Онучин мешок с колосками снял?

— Нашла чем попрекнуть! Да за это я ему в ноги поклонилась потом, что деток сиротами не оставил. Перестань, не со зла я... Расскажи-ко, Овдошка, как с Онучиным сено метали?

— Господи,— изумляется та, беспокойно ерзает,— веком, бабы, не бывало, вот-те крест.

Много кой-чего помнят эти старухи. Все поведать — жизни не хватит.

Вышла на небо луна, огляделась, прихорошилась, насколько глаз хватает разлито серебро свадебное, плавают в том серебре легкие тени заборов, деревьев, стогов соломы, блестят крыши черных домов. Бежит лисица, принюхивается. Теплится свет в окне Онучиных, стоит в головах покойника большая свеча, дрожит на ней прозрачное копье.

Спит на стуле Парасковьюшка, выпал из рук ее псалтырь, рассыпались почерневшие от времени листы по полу.

Утром провожали в дорогу Егоровну. Лыжня чуть заметна, до жилу брести да брести.

— Ну, подружки, коль дойду — трактор пригоню, нет — на мороз выносите. Когда-нибудь да кто-нибудь вспомнит о нас. Марья! За коровой вникай!..

Неловко ступила шаг, оперлась на палки, другой — качнуло малость. Устояла, потыкала снег палками. Пошла.

## БОРИС ЧУЛКОВ

### *МАТЕРИНСКИЙ ЗДЕСЬ ЧУДИТСЯ ВЗГЛЯД...*

\* \* \*

По рябиновой улице детства  
я сегодня иду не спеша:  
драгоценную чару наследства  
по глотку отпивает душа.

Здравствуй, улица, где уже осень!..  
Материнский здесь чудится взгляд...  
Сколько веских уроков выносим  
из пронзительных бед и утрат!

Под немислимым ветром судьбины  
переедем в иные концы,—  
но и там вас помянем, рябины,  
близ которых живали отцы.

Как же сердцу с шемящею нотой  
не припомнить трепещущий сад,  
что осенней сквозной позолотой  
осиян, опрозрачен, объят!

## ОБНОВЛЕНИЕ

*Тремя окошками на юг...*

*Ю. Леднев*

Давным-давно уж взялся я впервые  
за это: посадил картошку, лук...  
Глядит изба в просторы ветровые  
пятью окошками на юг.

Как покупал — не разглядел малины,  
что перед домом издавна растет...  
Глядит изба на лес за луговиной  
пятью окошками вперед.

В лесах не счесть иных пахучих ягод,  
грибы под осень тянутся к руке...  
Глядит изба — убежище от тягот —  
пятью окошками к реке.

Я с местным подружился населеньем,  
собрал плоды — награду за труды...  
Глядит изба вперед — как обновленье,  
как избавленье от беды!

1987

Каждый камень кричит, что тобой дорожить  
с каждым часом я должен все боле;  
каждый камень примером мне хочет служить  
одиначества, мрака и боли.

Каждый камень вещает о доле камней,  
о тоске их, что будет близка мне,  
если станешь ты каменной камня ко мне,  
коль остынешь ты каменной камня...

Букет на окне умоляет уставшее лето,  
вернее — его заклиняет помедлить в пути.  
Букет на окне — он подарит и сотню сюжетов,  
но главный — вот этот: «Помедли, постой, погоди!»

Букет на окне — он красуется, словно на поле,  
как если бы в землю корнями он врос на лугу.  
Но молит он лето: «Не вянуть нет сил моих боле!  
Помедли! Я свой аромат сохранить не могу!»

Букет на окне заклиняет последние ночи  
вернуться к июньской иль майской былой белизне,  
как будто не видит, что каменной, жестче, жесточе  
полуденный зной и теней глубина при луне...

## БАТЮШКОВ

Не любил родного языка,  
говорил, что сей язык — калека.  
А писал на нем,— и сквозь века  
будоражит душу человека.

Итальянский, мол, певуч и люб,  
а российский — варварский, ей-Богу.  
Почему ж тогда слетала с губ  
наша речь — светла и неубога?

Ослепленье? Блеск иных светил?  
Плюнем на заскоки и причуды!  
...Кто-то ТАМ его переводил.  
Но прочтем — куда девалось чудо?

## МУЗЕЙ-УСАДЬБА ЧЕХОВА

Пейзаж с прозрачным маем и листвою,  
к которой еще только привыкаем,  
с прудом, где прежде жили караси,  
и с деревянной церковкой несгнившей.

Со школою пейзаж, с ее ландкартой,  
с пространным огородом пред усадьбой,  
пейзаж — с пейзажами на стенах в доме,  
с портретами хозяев и гостей.

Пейзаж, где бродят тени по земле,  
естественно рождаемые солнцем,  
и тени в этих комнатах пустых —  
незримые — живых ушедших тени...

## МОЛИТВА

Коль труба призовет нас для Судного дня,—  
Ты, Создатель, помилуй меня.

Сатаню расставлена здесь западня,—  
О, Зиждитель, помилуй меня.

Оступался я, веру в Тебя не храня.  
Но — прости и помилуй меня.

Был к кому-то жесток я и тверже кремня.  
Но, Творец, Ты помилуй меня.

Сколько тех, кто ко мне был свирепей огня!..  
Их помилуй — взамену меня.

Ту же, что я любил до последнего дня,  
Ты прости — больше всех и меня!

ВЕРА МАСЛОВА

*ОТ СЕВЕРНЫХ ЯГОД ВОЛШЕБНЫХ*

\* \* \*

За частоколом пыльных елок  
Дорога мчится на простор.  
Полузаброшенный поселок  
Стоит в крапиве мне в укор.

Он будто знает, что хочу я  
Пройти вдоль изб его пешком  
И стать у края, голосуя,  
В руке трепещущим платком.

«А как же я?» — скрипит он глухо  
Своим замшелым журавлем.  
«А как же я?» — грустит старуха  
У самовара за столом.

«А как же я?» — на поле близком  
Хрустит травую серый конь.  
И небосклон садится низко,  
Теплеют образы икон.

Что знаю я об этом крае,  
С годами ставшем мне родней,  
С его заросшими борами,  
С тоской изломанных плетней?



Променяла я край абрикосовый,  
Край под солнцем пылающих роз  
На сочные травы на просеках  
И нежную зелень берез.  
И запомнился мне первой встречею  
Не невиданный прежде цветок,  
А наполнивший грустью светлую  
Под ногами скрипящий мосток.  
Уж не знаю, от добрых ли глаз  
Иль от северных ягод волшебных,  
Я как будто бы налилась  
В ответ теплотой душевной.  
И летит за мной в край, где детство  
Мои иссадило колени,  
Тонкий запах прели древесной,  
Похожий на запах сирени.

\* \* \*

Что толку в том, что я похожа  
На мать походкой и лицом?  
Понять мне это не поможет  
Всей тайны, связанной с родством.  
Природе дела нет до сути,  
Что — мать во мне, что — я сама,  
Мне — день, а ей всецело сутки,  
Мне — солнце лишь, а ей и тьма.  
Она прабабку мою знает,  
А мне прочувствовать бы миг,  
Как та лампаду зажигает  
И с хаты гонит духов злых.  
Что память? Хаос дат и слухов.  
Еще не стану я золой,  
А внучка, бровь мою насупив,  
Забудет тихий голос мой.

**АНТОНИНА КАЮТИНА**

***ПОД ВОДОЮ СПИТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...***

**НА РОДИНЕ**

Лес шумит таинственно и глухо.  
Затаилась в камышах река.  
На меня враждебно ночь-старуха  
Смотрит из-под вдовьего платка.  
Поднимая огненные полы,  
Пляшет пламя буйно, как шаман,  
И взлетают роем искры-пчелы  
От костра в небесный океан,  
Издали слышны раскаты грома,  
Где-то бродит шалая гроза.  
Все мне здесь до мелочей знакомо:  
Старый пень, прибрежная лоза,  
Мыс песчаный, сосны, камень древний,  
Гладь речная, гребни на волне...  
Под водою спит моя деревня,  
Словно Китеж, на глубоком дне.  
Нет теперь туда дороги торной,  
Затянулась илом колея.  
Утонула в море рукотворном  
Родина привольная моя.  
Но как только кончится зимовье,  
Встанут в строй ромашки по лугам,  
Словно птица к отчему гнездовью.

Я спешу к родимым берегам.  
Поброжу по отмели беспечно,  
Постою на берегу одна.  
Вдруг с земли родной привет сердечный  
Принесет знакомая волна...

\* \* \*

Из колодца два ведра  
Почерпнула серебра.  
Серебро качается,  
Солнце в нем купается  
Юркое, смешливое.  
Рыжее, игривое,  
То на дно, то к дужке,  
Птицей бьется в кружке.  
Выпью я до донышка  
Серебро и солнышко.

\* \* \*

В лес ходила за малиной,  
Простояла под осиной.  
Ты медвяных ягод ждешь —  
Я несу в корзине дождь.  
Озорной да грибовой,  
Пахнет солнцем и травой,  
Пахнет радугой и тучей,  
Пахнет вересом колючим.  
Из корзины дождик выну —  
Позабудешь про малину.

## ХЛЕБ

Насквозь пропитан крепким жаром,  
Румян, пригож и крутобок,  
Благоухая сытным паром,  
Хлеб выплывает на шесток.

Его подняли, похвалили  
И деловито, по-мужски,  
Ножом-секирой раскроили  
На богатырские куски.  
И нет вкусней, скажу вам точно,  
На свете слобы ни одной,  
Чем этот мягкий, теплый, сочный,  
Горячий хлеб, ржаной, родной.

## НА ЛЫСОЙ ГОРЕ

За лесом высоким на Лысой горе  
Живет человек в полотняном шатре.  
Не знает ни солнце, ни бор над рекой,  
Откуда пришел он и кто он такой.  
Зверей не пугает, не трогает птиц,  
Не ловит в реке серебристых плотвиц.  
Сидит, как йог, под кустом лозняка,  
И крыльями машут ему облака.  
Он слышит, как дышит земля на заре,  
Как бродят туманы на Лысой горе.  
Над стареньким, видевшим виды шатром  
Куражится в небе разбойничек-гром.  
Сверкают зарницы, как пламя костра,  
И вечность стоит на часах у шатра.

\* \* \*

Как пусто, как сонно, как тихо!  
Лишь всхлипнет простуженно кран,  
Да, как одноглазое лихо,  
Моргает, мерцает экран.  
Как сфинксы, безмолвствуют вещи,  
Спит кошка на теплом полу,  
И серые стены, как клещи,  
Смыкаются в темном углу.  
А там, за высоким порогом,

Морозные дали Шексны,  
И белое эхо дороги,  
И медная грива луны.  
Пальто подпояшу потуже,  
Ленивые двери толкну,  
Навстречу задиристой стуже  
В седое безмолвье шагну.  
Возьмет меня под руку вечер,  
Поманит дорогами даль,  
И небо накинёт на плечи  
Расшитую звездами шаль.

## СЛОВО

Родилось слово —  
Сердца ломоть,  
У него, живого,  
Моя плоть,  
Моей кровью  
Журчит оно,  
Моей болью  
Оно полно.  
Кладу сыночка  
В строфу-купель,  
Теперь строчка —  
Его колыбель.  
Пускай лопочет,  
Пускай кричит.  
А оно не хочет,  
Оно молчит.  
Сижу снова  
Всю ночь над ним,  
Чтоб стало слово  
Мое живым.

## АНАТОЛИЙ ЕХАЛОВ

### СНЕГ ВАЛИТ

Что такое вывозка дров в деревне — одним словом не скажешь. С одной стороны — чистая поэзия. Лес в инее, зори утренняя и вечерняя, что девки красные, хмельной запах осин и берез на тракторном возу и сладкая трудовая истома.

С другой, заготовка дров — это что-то вроде рождественских праздников для мужской половины деревни. Это жарко натопленные горницы, томленные щи с бараниной, самолучшая закуска на столе, это заискивающие перед героями вывозки хозяева, это уважительное, только по имени-отчеству обращение. Скажем, не Андрияха-Кукуй, а Андрей Петрович, не Натолей-Парашют, а Анатолий Кузьмич, не Олеха-Культиватор, а Алексей Григорьевич.

Как-то раз в такую заготовительную пору Кукуй с Парашютом да Лехой-Культиватором наладились ехать по дрова Лидии Филиной, прозываемой в деревне Матросихой. Звалась она Матросихой потому, что лет сорок назад погулял с ней недельку заезжий матрос да и отбыл в неизвестном направлении. Еще Лидия известна была своим дурным глазом. Глаза у нее разные были, один — черный, другой — зеленый. Наверное, зеленый и был дурным. А может быть, и черный. Только

многие замечали, что если Матросиха недобро взглянет на тебя, жди какой-нибудь напасти. Ну, да это так, к слову сказано. Мы-то о дровах.

Так вот, собрались наши мужики по дрова. Леха — за тракториста, Ондрюха — за впередсмотрящего, Натолей — за грузчика в дровнях. С Матросихой срядились, а чтоб в лесу не замерзнуть, бутылку задатку выпили. Матросиха поупрямилась было, а дала. Правда, сказала, мол, смотрите, по дрова езжайте, и нехорошо так взглянула.

Тронулись лесовики в путь. Еще деревней едут, Ондрей Леху в бок толкает:

— Стой! Пойдем,— говорит,— к моей бабе. Скажем, что не Лидье Матросихе за дровами поехали, а нам. У ней в заначке есть, выставит.

Пошли к Ондрею. И впрямь баба обрадовалась, бутылкой о стол стукнула.

Ондрей за хозяина тост поднял:

— Всякий выпьет, да не всякий крикнет!

Выпили, крикнули, пошли трактор заводить. А Толя-Парашют и говорит:

— А что, мужики, у меня тоже дрова не вывезены. Не мешало бы и мою бабу расколоть на белоголовую.

Сказано — сделано. Крикнули у Парашюта третью. Народ подобрался крепкий: каждый по пол-литре на нос примет — один запах. Пришлось заезжать к Лехиной бабе, чтобы норму добрать. Тоже дров посушили.

Выбрались, наконец, за деревню.

Леха Ондрюхе говорит:

— Я, парень, дороги не знаю, да и снег густо валит. Ты, Ондрюха, мне дорогу-то сказывай.

— Я скажу, мать-перемать — отвечает Ондрей.— Я прямо скажу (непечатное)...

Кукуем Ондreja звали тоже не понапрасно. В молодые годы ему на гулянке гирькой от ходиков долбанули. С тех пор он, если больше пол-литры выпивает, теряет дар речи. Глазами смотрит, руками, ногами шевелит, а вот язык выговаривает только матюги да еще два словосочетания: «Я скажу, такая мать... и я прямо скажу... (а дальше следуют вовсе непечатные выражения). И все...

Но говорит он это почти безостановочно, а потому и прилепилось к Ондрию прозвище Кукуй.

Так проехали они поскотину, вывернули на дорогу к сельнику, тарахтят вдоль берега реки. А снег так валом и валит, ни зги не видно. Скоро уже карьер будет, когда-то песок прямо из берега брали, нужно объезжать. Ондрей заволновался, Леху в бок тычет:

— Я скажу, мать-перемать, я прямо скажу (непечатное)...

Леха напрямиком и прет, только газу поддает «дэтэш-ке». Толя-Парашют носом в дровнях клюет. Убаюкало, засыпало.

— Ондрей,— тревожит Леха,— дорогу сказывай!

— Я скажу,— горячится Ондрей.— Я прямо скажу (непечатное), я скажу, мать-перемать, тут, тут...

Тут трактор в карьер нырнул. Благо песок уже осыпался, полого было да снежно.

Ондрей лбом в стекло ударился.

— Я прямо,— говорит,— скажу: тут — яма!

А Леха что? Леха за рычагами не шелохнулся. Леха спокоен, как телеграфный столб. Не зря его Культиватором с малолетства дразнили.

— Ондрий! Едем куда? — И газу жмет.

— Я прямо скажу...

А тут дровни на обрыв выскочили и только до середины его дошли, как катапультной Толю-Парашюта выкинуло.

Но на то Парашют и Парашютом был. Упал посреди реки в глубокий снег, как сидел, так и сидит, даже не проснулся.

Ондрюха с Лехой дальше шпарят через реку к лесу.

— Я прямо скажу,— кукует Кукуй. И дальше — все непечатное.

Вскоре трактор исчез за пеленой снега, и треск его тоже стих. Пропали, будто в черную дыру провалились наши лесовики.

А Парашют тем временем проснулся, отряхнул с себя снег и стал с удивлением оглядываться кругом:

— Чего это я? — говорил он сам себе с недоумением.— Вроде бы на реку не собирался. А если и собирался, то где санки, мешок, пешня?

Но ни того, ни другого, ни третьего в наличии не значилось.

— А-а, пустая башка,— наконец догадался Парашют.— Сани с пешней я всяко у Лидьи Матросихи оставил, когда у нее выпивал. Она ишло говорит: «Водку-то выжрешь, а рыбы-то не попадет». А я ей: «У меня вся рыба в реке на привязи ходит...».

— Али это было лонись,— почесал он затылок под шапкой.— Али до лоньского, али намедни? — Но так и не решив, когда же он был у Матросихи, Парашют пошел разгрести снег и проверять сети. Благо лунки не застыли и веревка оказалась на месте.

Рыбы неожиданно попалося изрядно. Щука, налим, пара лещей, пяток бершей и судак. Парашют скинул фуфайку, оклал в нее рыбу и, перекинув через плечо ношу, побрел в целик к деревне.

— Ишь,— говорил он воображаемому обвинителю,— бают, что у Парашюта вся рыба в сетках пропита. А вот Матросихе долг отдам, бабе на пирог оставляю да еще на две пол-литры в магазин сдать хватит.

Дом Матросихи был крайним к реке, и скоро Парашют торкался в ее ворота.

— Что больно скоро? — откликнулась Лидья.

— В самый раз, отворяй живее! — Парашют скинул ношу на крыльце.— Выбирай, какую хошь. Хошь берша, хошь леща!

— Эка! — удивилась Манька.— А мужики-ти где? А трактор, а дрова?

— Я те — про Фому, а ты — про Ерему. Долг вон принес, на реку бегал. Сама на рыбник просила.

Лидья охнула.

— От дура-то я, дура. Нельзя было наперед водки давать. Не уехали по дрова, окаянные, запили, ой, горькое.

Тут что-то щелкнуло в голове Парашюта. Отрывочно всплывали кое-какие детали. Ондрей, Леха, сборы по дрова. Однако куда все это делось? Он вроде бы и в дровнях сидел... Тогда при чем тут река, рыба?

Он бросил Матросихе несколько рыбин и снова, вскинув на плечо фуфайку, в полной задумчивости побрел к магазину.

«Ну, и зловредная эта бабенка Матросиха,— думал он про себя.— Не зря говорят, что глаз у нее дурной. Поди теперь разберись, чего было, чего не было. Все перепутала, окаянная. От ейного сглазу один рецепт — стакан».

...Ондрей с Лехой тем временем катили лесом. Снег все падал и падал. Они уже объездили Бог знает сколько лесных дорог и вырубок, но ни Ондрюхиных, ни Олехиных, ни Матросихиных дров не нашли. Или их засыпало снегом, или кто-то ошибочно увез. Уже вечерело, когда наткнулись на порядочную гору осиновых и ольховых хлыстов. Леха подогнал впритык сани и только тут заметил отсутствие Парашюта.

— Сбежал! — заругался он.— Слышь, Ондрей, Парашют дезертировал.

— Я прямо скажу,— ответил Ондрей осуждающе.

Они вдвоем перекидали дрова на воз, забили стояки и, довольные, тронулись дальше. Уже смеркалось, когда засветились огни деревни. Ондрей к тому времени малость протрезвел и толкнул Леху в бок:

— Куда приехали? Вроде как не наша деревня?

— Протри глаза! — крикнул Леха.— Вон овин, вон Лидья Матросихи дом. Не с той стороны въехали, вот тебе и блазнит.

Ондрей, хоть и сомневался, все же решил с Лехой не спорить. Уж больно хотелось домой, «колосники» горели, не мешало бы закинуть на них стакан-другой.

Они поставили у Лидьиного дома трактор и в предвкушении горячих щей и запотелой поллитровки споро выгрузили дрова.

— Парашют нам топерь не товарищ,— сказал Леха.

— Я прямо скажу,— поддержал Ондрей,— брянский гусь ему топерь товарищ.

Лидья Матросиха не появлялась. Да и огни в доме не зажигались. Они постукались в ворота — тишина, постучали сильнее. Тут из соседнего дома выглянул незнакомый мужик.

— Чего ломитесь? — спросил он строго.

— Дрова привезли — чего... — недовольно отвечал Леха.— А ты кто такой, командир?

— Живу тут,— отвечал мужик.— А в том доме, куда ломитесь, года три уж никто не живет.

Мужики не поверили:

— А Лидья Матросиха где?

— Матросиха всяко в Выселках живет. Бывал я там лет пять тому.

— А мы тогда где? — заикаясь, спросил Ондрей.

— В Ульяновке,— усмехнулся мужик.

Тут наши заготовители остолбенели. Это они километров на двадцать увистали от дома.

— Вы лучше скажите, откуда дрова везете? — спросил мужик, приглядываясь к штабелю.

— А шут его теперь разберет. Вроде недалеко грузили,— отвечал нехотя Олеша.

— Вот и я гляжу,— оживился мужик.— По зарубкам мои дрова-то. Ну коль привезли — спасибо — прошу в избу. Подмогли.

Ондрюха мгновенно повеселел.

— Слышь, Олеха, вот свезло! Щец топерь в самый раз под стопарик. А?

Леха молчал.

— Слышь, идем в избу-то? — подталкивал его Ондрей.

— Молчи, пустая твоя башка. Думай, чего говоришь! Ославят топерь на всю округу. В избу не пойдём. Проси у мужика литру за дрова — и домой!

Ондрюха ушел к мужику в закоулок на переговоры, Леха — к трактору запускать движок. И он тоже, как и Парашют, нехорошо подумал о Лидье Матросихе.

— Ишь, накружали,— сказал он сам себе.— С чего бы это?

Тут вприпрыжку выскочил из калитки Ондрюха Кукуй, обеими руками держа перед собой кулек с горячей картошкой и огурцами. Из карманов его фуфайки торчали белоголовые.

— Топерь, парень, мы с тобой правики. Токо бы нам ишшо по дороге дрова найти! Топерь нам с тобой, Олеха, нам черт не брат!

— Дурак ты, Ондрюха,— с суеверным страхом откликнулся вдруг Леха,— ты почто его, рогатого, в такую пору поминаешь!

Но вот на всю сумерничавшую деревню заверещал пускач Лехиной «дэтэшки». Наши горе-путешественники прыгнули в кабину, и трактор, шаря по деревне длинной рукой прожектора, выскочил за околицу.

...Дезертир и предатель, друг тамбовского гуся Толя-Парашют успешно поменял в магазине рыбу на вино и отправился было домой лечиться от Матросихино сглаза. Но нехорошие предчувствия на встречу с женой подтолкнули его отсрочить явку.

Внимание привлекла колхозная баня. С утра ее кто-то топил, но не мылся. Баня была большая, с широким полком, огромной, на треть помещения каменкой, топилась по-черному, и жар ее был лучшим целителем, чем весь персонал районной больницы.

Парашют замахнул в предбаннике стакан, закусил сельповским пряником и, скинув под лавку одежду, полез в жаркую истому бани. Он бросил на каменку ковш воды, каменка ахнула, и Парашют мигом очутился на широком полке. Доски были в копоти, но Парашют этого не замечал. Через минуту он сладко спал, и пот градом катился по его бокам.

...Было уже темно. Лидья Матросиха, устав ждать трактор с дровами, собрала белье и отправилась в на-топленную с утра баню, захватив огарок свечи.

Она хорошенько разогрелась, намылась до розовости молодухи и только собралась было окатиться, как в темном углу полка что-то зашевелилось и страшно захрапело.

Лидья обмерла: «Баннушко пужает али блазнит!»

Но с полка, кряхтя и чертыхаясь, лезло уже что-то невообразимо большое, черное, имевшее при себе, как все же это Лидья успела заметить, мужское достоинство.

В тот же миг она вышибла банную дверь и, похватав в охапку одежду, ринулась в голом виде вдоль улицы домой.

...Сглаз у Парашюта прошел к утру. Он вспомнил все: как собирались в лес, где и сколько пили, как выехали за поскотину. Страшная догадка обожгла сердце Парашюта. Не заходя домой, он схватил в приделке

лыжи и молчком, во весь дух покати́л к реке — искать промоину во льду, куда, по его мнению, провалились вместе с трактором мужики.

Снегопад закончился. Поднималось солнце, и с обрыва Парашют разглядел уже занесенные снегом, но хорошо видимые под солнцем тракторные следы, уходившие на другом берегу в лес.

Парашют бросился по ним, радуясь избавлению от одной беды и гася в душе недоброе предчувствие новой.

К вечеру, чуть живой от усталости, пробежав, наконец, километров полста, Парашют вернулся в деревню. Следы Лехино́го трактора кончились под городом на бетонке.

Дома у Парашюта восседала Матросиха с таким гордым видом, словно она отказала сейчас десятку сватов, и пила с Парашютовой бабой чай.

— Явился,— без злобы, но с издевкой сказала баба,— извращенец. Надо догадаться: за Лидьей Матросихой в байню подглядывать залез. Ну и чего там тебе неизвестного нагядел?

Матросиха по-королевски швыркала чай из блюда, не удостоивая Парашюта и взглядом.

— Да пошли вы! — тускло возразил Парашют.

— Чего пошли, куда пошли? Я твои подштанники в магазине опознала. Лидья вон в магазин их принесла как доказательство. Я вот тебе сейчас как дам коромыслом, дак полетишь у меня парашютом,— запричитала Парашютова баба.

Не слушая ее, Анатолий обреченно сел на лавку и стал стягивать валенки. «Пропали, пропали товарищи мои дорогие!»

Тут над головой его затрещало и закашляло радио.

— Здравствуйте,— сказало оно голосом председателя колхоза Куделина.— Говорит колхозный радиоузел, председатель ваш говорит.— Голос Куделина полнился обидой.— Что же это, товарищи мои дорогие, получается? А? Это что же за пьянку такую в колхозе развели? Так им мало колхоза, они топерь на областном и, можно сказать, международном уровне гуляют!

Парашют слушал не дыша.

— Вот такой вот, простите за выражение, факт.— Председатель уже гремел.— Седни утром мне сообщают, что в городе у гостиницы в ночное время органами милиции был обнаружен гусеничный трактор, груженный ольховыми дровами. Тракторист с грузчиком доставлены в вытрезвитель при попытке переночевать в номерах иностранной делегации. Какой стыд перед иностранными и братскими странами! Ведь это наши с вами, товарищи, кадры. И вы их знаете...

Парашют облегченно выдохнул. И тут же, об одном валенке, уснул на лавке.

...Давно ли это было? Но уже иными снегами запали пути и тропинки деревни-колхозницы, где было место и «щукарям», и Матросихам, имевшим силу дурного глазам, строгим женам и всевидящим председателям — всем тем, кто кормил, между прочим, собственным хлебом и бывший Союз, и еще многие неведомые нам братские страны.

## НОЧЬ СВЕТЛА

Мишка проснулся затемно. Печь была чуть теплой, в избе выстыло, и окно покрылось толстой шубой инея, только вверх оставался чистым островок, в который заглядывала утренняя звезда и колюче подтыкала лежебока:

«Что, Мишка? Понял, почем фунт лиха?»

На душе у Мишки и без того студено. В доме ни есть, ни пить. Последняя картошка в мешке под лавкой замерзла. Осенние заготовки — ягоды да грибы — выменяны на вино еще до Нового года у кооператоров: ведро уходило за бутылку. Зарплаты в леспромхозе не давали уже с год. Перед праздниками Мишка уволился, продал военному пенсионеру, поселившемуся на Том Угоре, купленный еще до реформ с больших денег телевизор, и отправился к сестре в Питер подкормиться. Но сестра сама сидела без работы. Мужик у нее уже с год, как ушел в магазин, да так и пропал без вести.

Жила она с ребятишками на пособие: хлеб и тот не каждый день. Так что Мишке в Питере сытой жизни не выгорело, только зазря деньги прокатал да картошку заморозил. Да хуже того, на вокзале вытащили у него паспорт и трудовую, и стал Мишка без пяти минут бомжом, хорошо, что еще крыша над головой осталась. Но и та не своя, леспромхозовская. Выгонят за неуплату, хоть землянку в лесу рой.

— Эх, жизнь бекова,— вздохнул Мишка и стал думать, как выкрутиться из положения.— Надо поставить верши на реке. Налим на нерест пойдет — ухи наварю,— решил он и пошевелил ногой под рваным одеялом. Стужа тут же поползла по телу. Мишка замер, снова набирая тепло, и стал сладко думать о том, что хорошо было бы поставить еще петли на зайца, что зайчатину можно выменять на хлеб и картошку, хорошо бы еще и капустой квашеной разжиться. Так, глядишь, и протянет до весны, а там уж рыба пойдет, потом грибы, на огороде чего-нибудь да нарастет...

От этих добрых мыслей стужа на душе стала постепенно истаивать, и даже чувство голода притупилось.

Тут очнулось на стенке давно молчавшее радио. Захрипело, затрещало и сказало медовым голосом дикторши:

— Говорит радио России! С Новым годом вас, дорогие друзья! С новым счастьем!

— Ни хрена себе! — поразился Мишка.— Видать ветром провода разомкнуло на линии.

Радио замолчало вновь. Но Мишка теперь радостно напрягся и стал ждать нового сеанса радиосвязи с миром. Прошло в ожиданиях минут пять, и вновь, потрещав, динамик заговорил.

Та же дикторша, сменив тон, сказала:

— А теперь перейдем к новостям криминальным. Как стало известно из достоверных источников, вчера из Санкт-Петербурга в Финляндию был угнан пассажирский самолет с сорока пассажирами на борту. Ведется следствие. «В Финляндии, наверно, хорошо»,— подумал Мишка, несколько не возмущившись очередным террористическим актом.

Финны работали у них в леспромхозе на своей технике. Все упитанные, под два метра, комбинезончики на них — хоть под венец. Только вот пить не умеют, с одной поллитры — в «аут» уходят. Мишка пил с ними, когда на пилораме работал. Финны хвастали, что у них безработные лучше наших бизнесменов живут. На одно пособие можно «тачку» купить подержанную.

— В Финляндии я бы жил, как король,— сказал сам себе Мишка гордо.

— Известна фамилия угонщика,— продолжала дикторша обзор несприятельных новостей.— Это тридцатилетний безработный Михаил Варфоломеевич Новоселов, уроженец деревни Выселки Вологодской области.

На этом радио вновь умолкло. Мишка лежал на печи, словно пораженный громом. Страх сковал все его тело.

— Да ведь это про меня говорят. Это я самолет угнал! — ужаснулся он.— Что топеря со мной сделают?

Он подумал, что из района сразу после такого сообщения вышлют наряд и верняком загребнут его на нары. А потом кто будет разбираться: угонял ты самолет или нет, когда вот он ты, Михаил Варфоломеевич из Выселок, собственной персоной!

— Бежать надо! В леса! — твердо сказал Мишка и решительно спустил ноги с печи в избяную настуду.

Деревня была темна. Он сторожко прошел улицей и свернул к крайней избе, пустовавшей после отъезда бабки Сани-Трактора. Двери были незаперты. Мишка шагнул во внутрь, забрякал в темноте пустыми ведрами.

— Кто? — скрипуче, но громко и строго спросили Мишку.— По кой лешой несет?

Митька вздрогнул. Голос был бабки Сани. Он попятился было в страхе к дверям, но одумался и взял себя в руки.

— Ты, что ли, бабка Саня? — выдавил он из пересохшего враз горла.

— Я, Мишка, я,— ответствовали ему с печи.— Ну-ко, вздуй лампу карасиновую. Лепестрическая у меня ищо в прошлом годе перегорела.

Мишка пошарил в штанах спички, запалил фитиль. Бабка Саня-Трактор сидела на печи в полушубке,

валенках, на голове у нее была надета шапка-ушанка с распущенными ушами, перетянутая для тепла алюминиевой проволокой. И странно: из-за спины бабки сверкали недобро большие глаза-лупыши, слышалось надсадное сопение.

Мишка поднял лампу и чуть не выронил ее на пол. На печи рядом с бабкой Саней-Трактором сидел самый настоящий черт. С рогами, бородой, копытами...

Мишка попытился и левой рукой начал неумело осенять себя крестом:

— Чур, меня, чур,— прошептал он еле слышно.— Богородица дева Мария, владычица милосердная, спаси меня грешного.

— Ты чего это, Мишка, крестишься? Никак пьяной изутра? — спросила строго с печки Санька-Трактор.— Ишь, как у меня робенка испугал.— И обернулась назад к рогатому, приговаривая: — Не пужайся, Борис Яковлевич. Вот мы Мишку-то сейчас ухватом потурим из избы. Пошто пьяной ходит, народ смущает.

— Ну, ты, бабка, даешь! — наконец, выдохнул Мишка.— Откуда ты взялась здесь, почто козла на печь затащила? Уж я думал — сам черт к тебе посватался.

— Молчи, пустой! — Махнула бабка рукой.— Убегла я, Мишка, из багадельни. Не климатит. И Бореньку у Василья забрала. Только вот кабинет у Бореньки совсем худой стал. Студено.

— Чего ты бредишь! Какой ищо кабинет?

— Сам дурак! — огрызнулась с печи бабка.— У меня козел, смотри, не простой. Из ума сложен, и выходка чисто генеральская. Ему бы не козлом родиться, дак может бы страной управлял. Вот я и говорю, что двор у меня весь на подпорках. Подрубать надо, а и средств нету. Я бы тебя подрядила, так всяко дорого возьмешь.

Мишка оживился. Разговор принимал для него положительный ход.

— Ты, бабка, вот чего. Двор я тебе весной вычиню. А ты мне задаток дай. У тебя в яме всяко и картошка и капуста осталась. Морковь опять жо,— скороговоркой выпалил Мишка.— Лады?

Бабка на печи задумалась.

— А ты, Мишка, пошто же это ероплан за граничу угнал?

— Не угонял я! — Мишка вздрогнул, словно током ударило.

— По радиву здря не скажут. А тут спечиальное со-общенье было. Мол, Мишка Новоселов из Выселок... — сказала бабка Саня убежденно.

Мишка сник.

— Вот что я скажу: жениться тебе, Мишка, надо, — подытожила бабка Саня беседу. — Седни ночью сон мне был... Вещой. Будто женился ты на моей козе Мале. Украли-то которую летось... В сельсовете расписывались. Будто она девица красная. Платье белое, фата. Только вот по рожкам и узнала Малу-то...

— Тьфу ты, старая! — плюнул Мишка. — Плетешь тут...

— Ладно. Вон ключ на стенке, полезай в погреб, накладывай картошки, да смотри всю не унеси. — Бабка обняла сопевшего рядом козла за шею. — Вот робенок-то мой самолучший. Он картошечку у меня только чищеную да резаную ест. Он с ошолушками не будет. Благородной. Ему бы не козлом родитча!

...Солнце еще не встало, а Мишка уже был на Барсучьем бору. Там, километрах в трех от деревни, стоял пустующий домик серогонов. Мишка сделал еще ходку до деревни, притащил рыбацкие снасти и, вернувшись назад, замел еловым лапником свои следы.

Теперь он чувствовал себя в безопасности, затопил жаркую буржуйку, наварил картошки, с аппетитом поел.

Солнце стояло уже высоко, когда он отправился к реке ставить верши. С высокого берега открывалась неопикуемая красота лесной речки, укрытой снегами. Мишка долго стоял, как зачарованный, любуясь искрящимся зимним миром. На противоположной стороне реки на крутом берегу стояла заснеженная, рубленая в два этажа из отборного леса дача директора леспромхоза. Окна ее украшала витиеватая резьба, внизу у реки прилепилась просторная баня. Дача была еще не обжита. Когда Мишка уезжал в Питер, мастера из города сооружали камин

в горнице, занимались отделкой комнат. Теперь тут никого не было. И Мишка даже подумал, что хорошо бы ему пожить на этой даче до весны. Все равно, пока не сойдет снег, хозяевам сюда не пробраться. Но тут же испугался этой мысли, вспомнив, что за ним должна охотиться милиция.

Он спустился к реке, прорубил топором лед поперек русла, забил прорубь еловым лапником так, чтобы рыба могла пройти только в одном месте, и вырубил широкую полынью под вершу.

Скоро он уже закончил свою работу и пошел в избушку отдохнуть от трудов. Избушка была маленькой, тесной. Но был в ней особый лесной уют. Мишка набросал на нары лапника и завалился во всей одежде на пахучую смолистую подстилку, радуясь обретенному, наконец, покою.

Проснулся Мишка от странных звуков, наполнивших лес. Казалось, в Барсучьем бору высадили десант инопланетян, производящих невероятные, грохочущие, сотрясающие столетние сосны звуки. Мишка свалился с нар, шагнул за двери избушки.

— Путана, путана, путана! — гремело и завывало в бору.— Ночная бабочка, но кто ж тут виноват?

Музыка доносилась со стороны реки. Мишка осторожно пошел к берегу. У директорской дачи стояли машины, из труб поднимались к небу густые дымы, топилась баня, хлопали двери, на всю катушку гремела музыка, то и дело доносился залиvistый девичий смех.

У Мишки тревожно забилось сердце. Он спрятался за кустами и, сдерживая подступившее к горлу волнение, стал наблюдать за происходящим...

Он видел, как к бане спустилась веселая компания. Впереди грузно шел директор их леспромхоза, следом, оступаясь с пробитой тропы в снег и взвизгивая, шли три длинноногие девицы, за ними еще какие-то крупные, породистые мужики. Скоро баня запыхала паром.

Изнутри ее доносилось аханье каменки, приглушенный смех и стенания.

Наконец распахнулись двери предбанника, и на чистый девственный снег вывалилась нагишом вся разве-

селяя компания. Мишкин директор, тряся отвислым животом, словно кабан пробивал своим распаренным розовым телом пушистый снег, увлекая компанию к реке, прямо в полынью, где стояла Мишкина верша.

Три обнаженные девицы оказались на льду, как раз напротив Мишкиной ухоронки. Казалось, протяни руку и достанешь каждую.

От этой близости и вида обнаженных девичьих тел у Мишки, жившего поневоле в суровом воздержании, закружилась голова, а лицо запылало нестерпимым жаром стыда и неизведанной запретной страсти.

Словно пьяный, он встал, и, шатаясь, побрел к своему убогому пристанищу. А сзади дразнил и манил волнующе девичий смех и радостное повизгивание...

В избушке смолокуров он снова затопил печь, напился чаю с брусничным листом и лег на нары ничком, горестно вздыхая по своей беспутной никчемной жизни, которая теперь, после утреннего заявления по радио, и вовсе стала лишена всякого смысла.

Мишка рано остался без родителей. Мать утонула на сплаве, отец записся. Сказывают, что у самогонного аппарата не тот змеевик был поставлен. Надо было из нержавеющей стали, а Варфоломей поставил медный. Оттого самогонка получилась ядовитая.

Никто в этой жизни Мишку не любил. После ремесленного гулял он с девицей и даже целовался, а как ушел в армию, так тут же любовь его выскочила замуж за приезжего с Закарпатья шабашника и укатила с ним навсегда. А после армии была работа в лесу, да пьянка в выходные. Парень он был видный и добрый, а вот девиц рядом не случалось, остались в Выселках одни парни, девки все по городам разъехались. Тут поневоле запьешь! Уж лучше бы ему родиться бабки-Саниным козлом! Сидел бы себе на печи да картошку чищеную ел. Ишь, в кабинете ему студено!

Мишке стало так нестерпимо жалко самого себя, что горячая слеза закипела на глазах и упала в еловый лапник.

...Ночью он вышел из избушки, все та же песня гремела на даче и стократным эхом прокатывалась по Барсучьему бору:

«Путана, путана, путана,  
Ночная бабочка, но кто ж тут виноват?»

Столетние сосны вздрагивали под ударами децибелл и сыпали с вершин искрящийся под светом луны снег. Луна светила, словно прожектор. В необъятной небесной бездне сияли лучистые звезды и, ночь была светла, как день.

Мишку, будто магнитом, тянуло опять к даче, музыке и веселью. И он пошел туда под предлогом пере-проверить вершу. Ее могли сбить, когда ныряли в про-рубь, или вообще вытащить на лед.

Директорская дача сверкала огнями. Со своего высокого берега Мишка видел в широких окнах ее сказочное застолье, уставленное всевозможными явствами. Кто-то танцевал, кто-то уже спал в кресле. Вдруг двери дачи распахнулись, выплеснув в морозную чистоту ночи шквал музыки и электрического сияния.

Мишка увидел, как кто-то выскочил в огненном ореоле на крыльцо, бросился вниз в темноту, закрипели ступени на угоре, и вот в лунном призрачном свете на льду реки он увидел девушку, одну из тех трех, что были тут днем. Она подбежала к черневшей полынье, в которой свивались студеные струи недремлющей речки, и бросилась перед ней на колени.

Мишка еще не видывал в жизни таких красивых девушек. Волосы ее были распущены по плечам, высокая грудь тяжело вздымалась, и по прекрасному лицу текли слезы.

Вновь распахнулись дачные двери, и на крыльцо вышел мужчина:

— Марго! — крикнул он повелительно. — Слышишь? Вернись!

Видимо, он звал девушку, стоявшую сейчас на коленях перед полынью.

— Маля! — повторил он настойчиво, — Малька! Забирайся домой. Я устал ждать.

Девушка не отвечала. Мишка слышал лишь тихие всхлипывания.

Мужчина потоптался на крыльце, выругался и ушел обратно.

Девушка что-то прошептала и сделала движение к полынье.

Мишке стало невыносимо жалко ее. Он выскочил из кустов и в один миг оказался рядом с девицей.

— Не надо! — сказал он деревянным голосом.— Тут глубоко.

Девица подняла голову.

— Ты кто? — спросила она отрешенно. От нее пахло дорогими духами, вином и заграничным табаком.

— Мишка,— сказал он волнуясь.

— Ты местный?

— Живу тут. В лесу,— все так же деревянно отвечал Мишка.

Девица вновь опустила голову.

— А я Марго. Или Маля. Путана.

Мишка не знал значения этих слов и решил, что путана это фамилия девицы.

— Ты, это, не стой коленками на льду-то,— предупредил Мишка.— А то простудишься.

Девица вдруг заплакала, и плечи ее мелко задрожали.

Мишка, подавив в себе стеснение, взял ее за локотки и поставил рядом с собою.

— Слышишь, Мишка,— сказала она вдруг и подняла на него полные горя прекрасные глаза.— Уведи меня отсюда. Куда-нибудь.

И Мишка вдруг ощутил, что прежнего Мишки уже нет, что он весь теперь во власти этих горестных глаз. И что он готов делать все, что она скажет.

— У меня замерзли ноги,— сказала она.— Погрей мне колени.

Мишка присел и охватил своими негнушимися руками упругие колени Мали. Ноги ее были голы и холодны. Мишка склонился над ними, стал согревать их своим дыханием.

— Пойдем,— скоро сказала она.— Уведи меня отсюда скорее...

Они поднялись по тропе в угор. Неожиданно для себя Мишка легко подхватил ее на руки и понес к своему лесному зимовью. А она охватила его руками за

шею, прижалась тесно к Мишкиной груди, облеченной в пропахшую дымом и хвоей фуфайку, и затихла.

Когда Мишка добрался до избушки, девушка уже глубоко спала.

Он уложил ее бережно на укрытые лапником нары и сел у окошечка, прислушиваясь к неизведанным чувствам, полчаса назад поселившимся в его душе, но уже укоренившимся так, словно он вечно жил с этими чувствами и так же вечно будет жить дальше.

Маля чуть слышно дышала. За окошком сияла прожектором полная луна, и ночь была светла, как день.

## КЛЮКВА ОГОРОДНАЯ

Так случилось, что на всю нашу деревню остался один умный человек — Василий Анфалов. Да и тот в фермеры подался.

Чего только не предпринимал этот новоиспеченный крестьянин, чем не занимался?! И картошку сажал, и лен сеял, и рыбу в пруду разводил, индоуток за тридцать земель вез, пасеку закладывал...

И все труды его лишь ради собственного удовольствия выходили. На картошку спроса не стало, цены упали, за лен деньги с льнозавода получить не смог, только ноги зазря стоптал, рыба в половодье в реку сбежала, индоуткам климат не понравился — не Индия, чай, пока пасеку разводил, вместе с колхозами медоносы в округе выродились... Короче — одни страдания, а денег как не было, так и нет. Одни долги. Соседские ребятишки уже проходу не дают.

— Вон,— кричат,— дядя Горя идет!

Как дальше жить, в чем еще богатства попытать? И тут прослышал Василий про одно будто бы очень перспективное дельце. Верные люди сказывали, что еще в прошлом веке русский крестьянин, чтобы по осени не бегать на болото, ноги не топтать, занимался разведением огородной клюквы. Да еще какие результаты получал! С трех квадратных саженей — ведро. Каждая ягода в размер вишни!

Прикинул крестьянин Вася будущие доходы, как если бы он клюкководством занимался, и вышла сногшибательная цифра. Каждый гектар мог бы урожая дать на шестьдесят миллионов рублей! Вот где крестьянское счастье зарыто, вот оно трудовое богатство.

Тут уж он мешкать не стал, трактор запустил, плуг навесил и самый топкий участок свой перепахивать отправился. А вслед за тем на болото саженцы добывать. По расчетам его нужно было на гектар 40 тысяч корней клюквы добыть. Ну да рассчитать просто, попробуй собери их.

Болото от деревни — не ближний свет. Километров пять топким чернолесьем, потом самим болотом километра три до настоящей клюквы. В прежние годы на болоте том, на сосновой согре поставил кто-то маленькую охотничью избушку с нарами и печкой-буржуйкой. В этой избушке и обосновался на время будущий крестьянский миллионер — заготовитель клюквенной расады.

Местное население давно заметило, что болото это, затопляемое по весне разливами Сухоны, имеет какую-то загадочную особенность. Странные, волнующие ощущения охватывают человека, вступившего на его пространство, словно ты оказываешься в самом Космосе и питаешься его невидимой и неслышимой энергией. По ночам звезды здесь настолько яркие и близки к земле, что кажется, поднимись на цыпочки и достанешь их рукой. И растет здесь все удивительно мощно: и брусника, и клюква, и грибы достигают огромных размеров и стоят долго, не подверженные гниению. А по весне в паводок гусиные и утиные несметные стаи, словно обезумев, падают с небес после дальнего перелета на водную гладь и кричат радостно и долго бьются крылами, вздымая тучи сияющих брызг.

Такое это было удивительное место, прозываемое в народе Небесными Воротами.

Впрочем, герою нашему было не до лирики. Целый день в поте лица ползал он в бродовых сапогах по болоту, дергая из кочек клюквенные плети. Плети были непрочны, обрывались у корня, приходилось каждую

плеть отрывать из мха. Прошел день, а у Васи едва несколько сотен саженцев набралось. «Если такими темпами действовать, то потребуется не один месяц», — с тоской думал крестьянин.

Ночью он забылся в избушке тяжелым сном, и лишь на рассвете его разбудил человеческий крик. Кричали со стороны реки, кричали отчаянно, видимо, беда подступила совсем близко. Василий пошел на голос. Километрах в полутора он нашел этого человека, попавшего в беду. На нем было дорогое туристское снаряжение, на шее висел сложный заграничный фотоаппарат. Человек лежал на болотной кочке, вытянув неестественно ногу с прибинтованной к ней лесиной.

Заблудшим путником, потерпевшим бедствие, оказался московский журналист, искавший провинциальной экзотики и едва не простившийся с жизнью.

Крестьянин наш притащил его на волокуше к избушке, в берестяном пестере нагрел калеными камнями болотной воды, заварил в ней можжевельные ветки, распарил в этой бане пострадавшую ногу. Потом он вправил вывих, и на ночь сделал горячий компресс из болотного торфа и мха сфагнума. За сутки нога была восстановлена.

Но потерпевший бедствие не уходил. Весь последующий день продержал он Васю в избушке, расспрашивая о здешних местах, о занятиях Василия. Крестьянин наш тайну свою хранил стойко. Ну-ка расскажи про будущее богатство и способах его достижения, тут любой и каждый начнет выращивать клюкву в домашних условиях, тотчас цену собьют. Поэтому и уводил Вася разговор на необычность этих мест, на целебные свойства болотного торфа и мха, лекарственные травы и чудесные исцеления, случившиеся в этих краях.

Только на третий день заблудший москвич покинул Василеву избушку, предварительно наметив маршрут по карте-верстовке. На прощанье он долго фотографировал уже изрядно обросшего, похожего на старика-лесовика Василия.

Прошло недели две. Вася уже основательно измотался, заготавливая саженцы и перетаскивая их в деревню.

Однажды около обеда он пил чай в избушке. И тут услышал голоса извне. Удивился. Кто может еще шастать здесь по весне? Не сезон. Выглянул и обомлел: у его избушки толпились люди, по виду и говору горожане, причем москвичи. Появление растерянного Василия на воле вызвало у горожан трепетный восторг.

— Он, он самый. Хозяин Небесных Ворот.

Ближайшая к нему женщина опустилась на колени, отбила земной поклон. Стоящие сзади почтительно наклонили головы.

— Господин Анфалов,— наконец заговорил мужчина средних лет.— Мы знаем, что вы ведете затворнический образ жизни, ограничиваете встречи с людьми, но беда привела нас сюда, не спрашивая разрешения.

У Васи от удивления открылся рот. Он не мог произнести ни слова.

— Мы с трудом достали ваш адрес и маршрут. В Москве их продают только за доллары.

— За доллары? — изумленно повторил Вася, чувствуя, как у него по спине побежали мурашки.— Мой адрес за доллары?

— Да. Только за доллары. Сто долларов адрес и маршрут по болоту,— подтвердила женщина, встававшая на колени.— Но нам никаких денег не жаль, только бы попасть к вам, почувствовать на себе вашу чудодейственную силу и силу здешних болот. Господин Целитель, будьте милостивы, не гоните нас от себя.

— Кто вам все это наговорил про меня? — потрясенно вскричал крестьянин-клюквовод.

— Да ведь все газеты в Москве пишут сегодня о вас! — Ближний к Василию мужчина вытащил из портфеля полиэтиленовую папку.— Вот и портрет ваш на фоне избушки.

Вася взял папку. На фотографии действительно был он, худой, обросший. Под портретом стоял крупный заголовок: «Хозяин Небесных Ворот». И на целую страницу статья о нем, как искусном целителе.

— Мы знаем все,— заговорили паломники.— И о вас, и о вашей способности давать чудодейственную силу здешней болотной воде, и торфу, и мхам... И мы не пожалеем никаких денег, чтобы вы приняли нас...

Вася поверженно молчал. А уже со всех сторон тянулись к нему руки с зелеными стодолларовыми бумажками. Он поднял голову и увидел как далеко по болоту растянулись черные цепи новых и новых паломников, медленно продвигавшихся к избушке.

— Скорее, Целитель,— вновь упала на колени женщина.— Прими нас.

И тут крестьянин наш неестественно дернулся, повернулся и бросился бежать в противоположную сторону, то и дело проваливаясь в болото и путаясь ногами в клюквенных плетях, устилавших его.

Кровь ударяла ему в голову словно набатный колокол, вызывая:

— Дурак! Дурак! От богатства своего бежишь!

А ноги сами несли и несли его все дальше и дальше.

## ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА

### ВЕРТОЛЁТИНО ДЕРЕВО

Бабка Степанида высока, худа. Длинное немаркое платье, неизменная, когда-то еще в девках коричневая, а теперь выцветшая до рыжего жакетка. Темное лицо по-детски весело. На любое дело бабка еще скоро, а особенно — на ногу. «Вертолет» — кличут ее за глаза. Но девяностолетний возраст, конечно, сказывается. Скажем, заберется Степанида на печь, а внизу невестка хозяйничает, готовит чего или посуду моет. Шустрая невестка у Степаниды, говорливая. На пенсии уже, но работает. И вот бойко-то, со смешком рассказывает она всякие разные случаи, что в магазине или у нее на работе приключились. Юрким коlobком вертится Зойка на просторной кухне и говорит, и говорит. А с печи-то — ни гу-гу. Заметит наконец это Зойка. «Эй, мам,— спросит,— чего молчишь-то? Али заснула? Так ты не спи, ночью-то опять не заснешь, искрутишься, извздыхаться и нас изведешь». Но с печи опять ни звука.

Зойка и станет будить бабку, дергая за старушечьи ноги, одетые в простые чулки. А старуха — опять молчок. «Уж не умерла ли, часом, мать?» — загоношится Зойка. И заголосила бы испуганная невестка, да вовремя додумалась подставить табуретку и заглянуть на печь, где, не ожидая никакого маневра, не успел зажмуриться

хитрый бабкин глаз. Уж тут и святой бы не выдержал. Заругается Зойка на старую:

— Ишь ты, шутница! Интересно тебе: как умрешь, так испугаюсь я или обрадуюсь. Да я сорок лет тебя терплю, и не надеюсь, не заплачу!

А бабка Степанида, довольная проделкой, Зойкиным испугом, сидя на печи, уже что-то с невинным видом врет:

— А я что? Я не чую, что меня зовешь. Прикорнула, видно. Чего-то в сон тянет...

— Разморило тебя, поди-ко, на нетопленной-то холодной печи...— не удержит опять своего языка Зойка.

Но чует ли это бабка Степанида, ей уже не узнать. Быстроногая старуха уже и с печи слезла, и не одними дверями хлопнула и, не закрыв за собой калитку, несетя к подруге своей, соседке, сказывать, как она «умерла», а Зойка-то ведь и заголосила, заревела: пожалела старуху, значит. Вот тебе и невестка! Любит присочинить скорая и на язык бабушка.

Шустрая бабка Степанида, да этим летом всех она удивила. Как-то утром сказала сыну:

— Михаил, сделай-ко мне посошок. Палку подходящую найди да построй.

— Зачем тебе посошок-то? Или летать тяжело стало, или ноги болят?

— Да нет, милой, ноги-то еще ловко бегают, да сам посуды: лет-то мне уже девяносто один, а я все без батога. Людей неудобно. Скажут, мол, старая, а без палочки...

Не знаю, как там было на самом деле, но Зойка в магазине, и в своей кастелянтской, и когда коз встречали, именно так рассказывала.

— Вертолет на палочке! — смеялись в магазине.

— Неудобно ей,— Зойка и сама удивляется своей свекрови.— Так ведь она того же дня на стогу у нас стояла. И без всяких там палочек сено укладывала, утаптывала — только подавай, Михаил.

А палочку сын присмотрел, уважил старуху. Зацепил взглядом деревце, что среди других вырубленных и выкорчеванных лежало у чьего-то огорода. Отмахнул

макушку и окорил. А под руку удобно пришелся комель, корешок — круглая набалдашина получилась. Просушил он палку в тенечке, чтобы не растрескалась, только тогда бабушке и вручил.

Бабушке посошок понравился, и она всюду стала появляться с ним. Вот только опираться на него забывала и носила перед собой — то ли скипетр, то ли маршальский жезл...

Только ее палка могла бы рассказать, отчего бабка Степанида умерла. Поставила батог у лесенки на чердак да и упала. То ли оступилась, а то ли сердце или еще какая жилка не выдержала.

Услыхав шум, Зойка, что дома была на выходном, выбежала, увидела лежащую на спине старуху, да та только «три раза и вздохнула-то». Похороны и поминки справили достойные. Зойка и ревела, и причитала так, как не каждая нынче дочь. Степанида была бы довольна: приодетая, лежала она в обитом зеленым ситцем гробу, как бы шутейно прищурясь. И никуда-то теперь не спешила.

Похоронили Степаниду Ивановну на поселковом кладбище, как казалось, с крайчику. Но уже через месяц со всех сторон пристроилось к ее холмику довольно много могил, обитатели которых годились бабке в сыновья, а то и во внучата...

А посох бабкин Витька — правнук ей будет — хотел приспособить под пугало, чтобы птиц от смородины отвадить. Сунул было палку тонким концом — падает, коковина перетягивает. Копнул тогда землю, засунул под дерн кокору, поутаптывал — стоит. Ушел он перекладину искать да, как говорится, гвоздя не мог найти. А потом Гошка соседский позвал на пруд за карасями. И увертолетили они. А потом задождило, да и август уж был на исходе: родители забрали в город. И не получилось у смородины пугала: не довел дело до конца Витька. Такой вот у Степаниды правнук. А палка, воткнутая Витькой у изгороди, так и осталась торчать. На следующий год, если кому дело было, тот увидел бы, что около посоха, как около пня, поросль появилась — листом и веткой длинноватая, будто ива.

Обратила внимание на эту поросль Зойка. «Надо бы козам обломать, нечего тут лес разводить»,— подумала она так, да руки не дошли. Такая вот невестка у бабки Степаниды.

А вот открытие сделал все тот же Витька. Полез за зеленцами в огород, и как в глаза ткнуло — ничего себе, я бабкину палку в землю сунул, а от нее кусты выросли!

А через два года посох сам собой упал, отгнив у самой земли. А поросль, пущенная посохом, превратилась в высокие, в человеческий рост деревца, которые на четвертую весну неожиданно покрылись бутонами и зацвели.

— Яблоня! — ахнули все. А к середине лета по единственной длинноватой косточке внутри зеленого плода стало ясно, что это вовсе не яблоня, а... слива.

— Не вызреет,— говорил Михаил.— И яблоки-то у нас не каждый год бывают. А тут — слива. Где это видно, чтобы в наших-то краях — да слива! Не зря же прежний хозяин ее выкорчевал.

— А может, это какая-нибудь районированная, с какой-нибудь ивой скрещенная, так и вызреет,— защищала деревце соседка.

Весь июль и август ягоды провисели — за жесткой кожей мякоть так и не появилась. Кто пробовал, так долго плевался: эта еще кислятина. И только уже в пору бабьего лета с оставшимися на макушке редкими ягодами произошло превращение. Они вдруг набухли, раздались, кожица стала фиолетовой. И вкус стал ну не медовый, конечно, но такой, как у слив, что изредка завозили в поселковый магазин с далекого юга.

Лишь на третий год цветения сливы показали себя: пять корзин-боковушек сизых плодов сняла Зойка, да потом еще соседи приходили, знакомые, собирали себе по бидончику-другому на компотик, на вареньеце.

А Зойка не жалела ягод да еще откапывала прутьшки, густо лезшие из земли. И все без разбору отдавала...

Через несколько лет Витька, приехав к бабке уже свежеиспеченным лейтенантом, идя по улице, вдруг услышал, как переговариваются из своих огородов женщины.

— Вертолетка-то не вымерзла у тебя?

— Нет, цвела! Цвету-то нынче много было, не знаю уж, сколько вызреет. Просили меня архангельские привезти для разводу им вертолетки. Свезу, надо попробовать, может, и там приживется.

Сначала не понял Витька, о чем речь, а как понял, так у парня чуть было слезы не потекли. И если бы не этот туман, не эта пелена перед глазами, так рассмотрел бы еще тогда Витька, что нет такого дома на улице, перед которым не росло бы приметное деревце высотой с человеческий рост с длинноватыми листочками — местная слива, вертолетка.

## ЛИДИЯ ТЕПЛОВА

### ДНИ Я МЕРИЛА СЧАСТЬЕМ

\* \* \*

Тропинка,  
Покосившийся плетень,  
От времени замшелый  
Сруб колодца,  
Зеленоглазые избенки  
Деревень —  
Все это Родиной моей  
Зовется.  
Краюху неба  
На закате дня  
Зальет заря  
Тончайшей позолотой.  
И промелькнет косынка  
Вдоль плетня —  
То мать спешит усталая  
С работы.  
Приносит ветер  
Горький запах трав,  
Волнуют кровь  
Неясные желанья.  
В дыханьи матери,  
К груди ее припав,  
Я слышу Родины моей  
Дыханье.

О Родине, о матери пишу,  
О глухаре пишу и о собаке.  
Где можно, обхожусь без драки,  
Где кулаками, плача, погрожу.  
А по земле так тяжело шагать,  
Чтоб не убить, не смять, не покалечить.  
Весь этот мир беспомощно доверчив,  
Как я хочу язык его понять!  
Хочу найти венерин башмачок,  
Над озерком с кувшинками склониться,  
И, может быть, на дом перекреститься,  
Где нет замков, а только есть крючок.  
Не о своей судьбе пекусь до слез:  
Я, человек, за этот мир в ответе!..  
Вот нахожу родник в тени берез,  
Очищенный от грязи и от веток,  
И укрепленный ивами овраг,  
И сосенки на вырубке зеленой,  
И отвечаю чибису: «Чудак!  
Мы все твои. Живи себе спокойно».

## ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ ГЛУХАРЯ

Да, глухарь я! Глухой! Посмейся!  
Да, глухой я, когда пою.  
Ты мне в голову, в голову целься,  
Но не целься в глухарку мою!  
Да, глухой, но тебя я слышу,  
По дыханью тебя узнаю.  
Ты мой хвост над кроватью вывешай,  
Но не целься в глухарку мою!  
Много здесь глухарей убито,  
У болотечка на краю.  
Ты стреляй, пока сердце открыто,  
Но не целься в глухарку мою!  
Да стреляй же! Картечью, дробью...  
Я оглох уже, я пою!

Подавись глухаринной кровью,  
Но не целься в глухарку мою!  
Впрочем, бей и ее, помолившись,  
Раз уж выбрал нас на убой.  
Пусть хоть дети мои, не родившись,  
Не унизятся перед тобой!

\* \* \*

Мне мрачный ельник — дом родной,  
Кукушкин лен — перины пышной мягче.  
Придет беда, со мной березы плачут,  
Светло смеются в радости со мной.  
Я в лес иду не просто по грибы.  
Что мне грибы? Грибов везде навалом.  
Я в лес иду охотницей бывалой,  
Не убивать иду, иду любить.  
Иду любить, не требуя за это  
Ответного тепла, ответных слов.  
К чему слова? Душа и так согрета  
Касаньем трав и запахом цветов.  
Держась рукою за ладошку ивы,  
Нагнусь к ручью. В ручье мои глаза.  
Ручей вдруг скажет: «Ты пришла, красивая?!»  
Я вдруг пойму: он это мне сказал!  
Учусь любить. Гоню из сердца память  
На злой навет, на чей-то взгляд кривой,  
Ведь я в лесу обласкана цветами,  
Ведь я в лесу целована травой.

\* \* \*

Течет, ласкаясь,  
Северное солнце,  
Как сок морошки  
По моим рукам.  
Я не ручей, не птица,  
Не река,—

Я просто баба.  
В травах придорожных,  
В росе, в цветах  
Ищу свое лицо.  
Ищу и нахожу.  
А в сердце рвется  
До сладкой, до щемящей  
Боли гордость  
За то, что по земле я  
Бабой босой,  
Простою русской бабою,  
Хожу.

\* \* \*

Я в печорской воде вечерами купалась  
И купальницы в косы вплетала...  
Я любила часами смотреть на дорогу,  
Поджидая отца с сенокоса.  
Дни я мерила счастьем. Его было много  
У меня, непоседы курносой.  
Счастье было во всем —  
И в рябиновых гроздьях,  
И в тумане, в росе, в сыроежках...  
А сейчас я на Севере редкая гостья,  
Только летом бываю в Медвежке.  
В сыктывкарские будни грущу о Печоре,  
О туманах — таких лохматых!  
Видно, в детстве своем  
За родные просторы  
Я навек, как невеста, просватана.

\* \* \*

Я приду к тебе однажды,  
Обойду кругом твой дом.  
Прикипят к коленям влажно  
Травы под твоим окном.  
Куст обнимет веткой мокрой,

Листья соберет в букет,  
Но в окне за желтой шторой  
Вдруг погаснет желтый свет.  
Побреду назад, ступая  
Мимо тропки, прямо в грязь.  
Темнота в душе такая,  
Словно жизнь оборвалась.  
Словно тут же захоронят,  
Замуруют в вечный лед.  
И никто не остановит  
И назад не позовет.

\* \* \*

В сено с головой заруюсь  
И просплю до самой зорьки.  
Ключевой водой умоюсь —  
Самой сладкой, самой горькой.  
Пробегу по косовице,  
Поцелую в ствол березу,  
На телеге-колеснице  
Обгоню ветра и грозы.  
Заберусь на стог повыше  
И с размаху в небо кинусь.  
Солнце, слышишь?  
Ветер, слышишь?  
Я влюбилась!  
Я влюбилась!

## МОРОШИНА

Просвечивает ягода насквозь.  
Жаль с кочки брать:  
Пережидая время,  
Внутри ее пригрелось сладко семя  
Да не одно, не два! — Бельчонку в горсть!  
От тяжести согнулся стебелек,  
Топорщатся листочки жестковато,  
Комар над кочкой кружит воровато,

Еще комар. Да их тут целый полк!  
Всем хочется к морошине прильнуть  
И с головою в сладость окунуться.  
А я уйду. Мне выпал дальний путь.  
Во мхах седых следы не остаются.  
Но через год, как лучшую из тайн,  
Я вспомню эту ягоду на кочке  
И буду думать, что с ней рядом дочки,  
И в каждой снова горсточка семян.  
Живой земли дыхание не остыло.  
И, отгорев, морошина жива.  
Я там была и я не наследила —  
Хорошие — не правда ли? — слова!

### ПЕСНЯ ТРАВЫ

Мне под твоим окном  
Совсем не холодно расти,  
Была я зернышком,  
А стала травкою.  
Куда бы ты ни шел,  
Я на твоём пути —  
Такая теплая,  
Такая мягкая.  
Мне под твоим окном  
Совсем не холодно расти.  
Вон рядом куст дрожит,  
Под ливнем мается.  
Я вижу, как ты спишь:  
Ладонка на груди  
То поднимается,  
То опускается.  
Мне под твоим окном  
Совсем не холодно, поверь!  
Я не измятая и не уставшая.  
Я — просто зернышко,  
От всех твоих потерь  
Травкою ставшее.

## ОЛЬГА ГАРЯЕВА

### *...И ПОГЛЯДЕТЬ В ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОД*

\* \* \*

Ах, лето в Париже,  
ах, лето в Париже!  
Мне жаль — я его  
никогда не увижу,  
а как бы хотелось...  
Ах, как бы хотелось,  
чтоб чудо свершилось —  
и все завертелось!  
Хочу там найти  
своего короля я,  
по берегу Сены  
под вечер гуляя,  
хочу в этот мир  
с головой окунуться,  
а после — увы,  
безнадежно проснуться...

\* \* \*

Так и буду я жить  
в этом городе странном,  
где на лужицах — лед,

а у дома — ольха.  
Так и буду я жить.  
как отчаянный странник,  
доверяя рассвет  
тонким струнам стиха.  
Мой родной городок  
зеленеет и дышит,  
и его не сгубил  
ни пожар, ни порок.  
Здесь есть церковь, есть Бог,  
а уж он-то услышит,  
как мне дорог и мил  
мой родной городок.

\* \* \*

Как жаль, что я уже не юная,  
Скорее средний возраст мой.  
Как жаль, что ночью этой лунною  
Ты не останешься со мной.  
Пришел ко мне бродягой брошенным,  
Уходишь гордым королем.  
Ну что ж, всего тебе хорошего...  
А слезы высохнут с бельем.

\* \* \*

Давно ли было иль недавно —  
однажды молодость мою  
сманило что-то к речке плавной —  
присесть на старую скамью,  
послушать стон ее напевный  
и поглядеть в прозрачность вод  
на отраженья храмов древних  
и на пылающий восход.  
И я хочу, чтоб гордо, плавно  
свою волну несла река.  
Давно ли было иль недавно —  
не это главное пока.

\* \* \*

Тихо-тихо, плавно-плавно  
опадал кленовый лист.  
Ты в моей судьбе не главный,  
но зато душою чист.  
А у желтого листочка  
все прожилочки видны.  
Будем жить поодиночке,  
чтоб не чувствовать вины.

\* \* \*

И будут ягоды в корзине,  
и даже белые грибы.  
Мы проживем и эту зиму,  
не утрашась своей судьбы.  
И на столе не будет пусто.  
Отец, не хмурь седую бровь.  
Взгляни на свежую капусту...  
как на воскресшую любовь!

\* \* \*

Желтое время — грустная осень.  
Что мы друг другу с нею приносим,  
кроме печали под облаками,  
кроме дождей, что ловим руками?  
Что-то приходит к нам незаметно.  
С рыжей листвою кружатся ветры,  
нам листопадный сон навевают.  
Осенью, милый, это бывает...



Ни осени  
                    разулки  
                                    роковые;  
Вы прорастете  
                    песенной весной  
Сквозь прах и сор,  
                                    цветы мои живые!  
И будут мои помыслы  
                                    чисты,  
Покуда мне дано  
                                    такое счастье,—  
Друзей моих  
                                    прекрасные черты,  
Друзей моих  
                                    надежда  
  и участие...

## ТАНГО

А море за окном  
                                    пропало,  
Как будто кто  
                                    убрал картинку...  
В вагоне музыка  
                                    играла,  
Крутили старую  
                                    пластинку.  
Сентиментальнейшее  
                                    танго  
Все повторялось,  
                                    повторялось...  
А пара выходила  
                                    в тамбур  
И долго, долго  
                                    целовалась.  
Над ними звуки  
                                    плыли, плыли,  
Им снова море  
                                    возвращали...







## П. ИВАНОВА

### *ПОД ТЕНЬЮ ВЕЛИКИХ ИМЕН...*

\* \* \*

Как стать душой? Дыши, потом замри,  
И, если есть в тебе хоть капля жизни,  
То непременно прорастет она  
Сквозь тяжесть тела, плотного, как глина,  
Тяжелого, как камень, как земля...  
Живи, дыши и прорастай душой,  
Зерном сквозь перегнутой сует и быта...

\* \* \*

Депрессии пресс, потрясения стрессов,  
Свистящие пули безжалостных слов.  
Нам в уши шипит оголтелая пресса,  
И мы убегаем в укрытия снов,  
В июльские ливни, в осенние слезы,  
В весенние грезы о свежей траве,  
В объятия серебряных дедов морозов,  
Уходим в туманы по узкой тропе,  
Блуждающей в детстве, в задумчивых сказках,  
Уходим и прячемся в сны и мечты,  
И солнечный луч осторожно и ласково  
Божественным светом течет с высоты.

16.04.01

\* \* \*

Не воинствуй, смирись, проживи, просочись сквозь века,  
Ожиданьем исполнись, покоем, свободой и волей,  
Научись быть таким, как текущая в вечность река,  
Научись изживать все печали, тревоги и боли.  
(Это я для себя. О себе) «Научиться бы жить»,  
Никого не уча, не пытаясь прослыть совершенством,  
Научиться бы жить, чтобы подвиг земной завершить,  
Чтобы тихо уйти, вдруг поняв, что такое «блаженство».

9.06.2000

\* \* \*

Не стараясь быть хорошей,  
Не стесняясь быть плохой,  
Все живу я понарошку  
Между небом и землей.  
И в висящие высоко  
Знаменитые сады  
Я цепочкой одинокой  
Отпечатала следы.

\* \* \*

Мне страна ничего не дарила,  
Я ее ни о чем не просила.  
Берегла, как могла. Проходила  
По дорогам, пустым и разбитым,  
По проселкам, дождями размытым,  
По земле, не просохшей от слез.  
Я жила на неласковом свете  
На уставшей зеленой планете,  
Я жила, как могла, но всерьез...  
Все всерьез — каждый шаг, словно подвиг,  
Я старалась далекое помнить  
И пыталась прожить каждый миг.  
Я стране ничего не дарила,  
Просто пела и просто любила...  
Этот стих точно так же возник...

\* \* \*

Под тенью Марины и Анны  
Мы все и бледны и бескровны.  
И «женских стихов» караваны  
Летят в никуда. И короны  
Нам зря раздают в карнавале,  
Губами касаясь руки,  
В просторном торжественном зале,  
Где своды небес высоки.  
Мы в масках. Спешим вереницей  
И легок наш призрачный след.  
И наши прозрачные лица  
Снимают на фотопортрет.  
Останемся пылью в архиве  
Под тенью великих имен.  
А все-таки были мы, были!  
И имя нам — легион.

\* \* \*

Мое Отечество, провинция,  
Россия, Родина, к чему  
Зеленоглазыми провидцами  
Указан был нам путь во тьму?  
Во тьму отчаянных сомнений,  
Под сень тернового венца.  
И твой, Россия, Черный Гений  
Стоит у самого крыльца.

\* \* \*

Возможно ль постичь тайну русской души?  
Для этого надо родиться в России,  
В какой-нибудь Богом забытой глуши,  
Где Бог заблудился в лесах и трясинах,  
Да так и остался на грешной земле,  
Построил избушку, живет и не тужит

И, радуясь каждой взошедшей звезде,  
Он варит картошку в мундирах на ужин.  
В российских просторах полгода зима,  
Два месяца — лето и хляби да топи —  
Все то, что осталось. Но эта земля —  
Прибежище Бога. Он печку затопит  
И будет смотреть на горящий огонь,  
Дающий тепло, согревающий в стужу  
Россию мою, как большую ладонь,  
Держащую бережно русскую душу.

## ДМИТРИЙ ЕРМАКОВ

### БАТОН — ВОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

#### БЫЛО ВРЕМЯ

Было время, когда неслась над страной песня: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз», когда буханка хлеба стоила восемнадцать копеек, а стакан газировки с сиропом — три. Был я холост, молод и весел. Отслужил в армии и работал на заводе. И всех-то забот у меня было — не проспять на работу. Мать еще жива была, и я ездил к ней в деревню на выходные и в отпуск. И даже кажется, что в те годы весной сочнее зеленела молодая листва; летом ярче светило солнце; осенью деревья красивее были расцвечены желтым и красным; зимой белее был снег...

Да, было время... хорошее было время!

#### ПОЯВЛЕНИЕ БАТОНА

Прошло уже много лет, а как сейчас помню первое появление Батона.

Вообще-то его звали Буйлов Андрей Антонович. Да, у него и паспорт был. Я сам видел. Правда, без прописки, но и без отметки о судимости.

Встретились мы у магазина.

— Братан, дай рубль,— были первые его слова, обращенные ко мне. И как-то просто, по-дружески они прозвучали, и без просительных ноток, и без требовательных: мол, выручи если можешь, а нет — так нет.

На нем была, несмотря на минусовую температуру, тонкая брезентовая штормовка, из-под нее виднелся неопределенного цвета потрепанный свитерок, на ногах — кеды и девятирублевые советские джинсы. Шапку он никогда не носил.

Правда, и сам я в ту пору одет был не шикарно, но все-таки куртка моя была на меху, пусть и искусственном, на ногах зимние ботинки, а на голове вязаная шапочка с помпоном.

Я выгреб из кармана мелочь, стал считать на ладони.

— Э-э! — Он махнул рукой.— Оставь себе.

Мимо нас во двор магазина въехал фургон.

Он проводил его взглядом, повернулся ко мне и вдруг протянул руку:

— Батон.

— Что?

— Батоном меня кличут.

— А-а. Саня.— И мы пожали друг другу руки.

— Ну что, Саня, идем на дело? — спросил Батон. Я не понял, что это означает, но чтобы не обидеть нового знакомого, ответил:

— Идем.— Тем более, что делать-то мне было нечего.

## ИДЕМ НА ДЕЛО

Батон уверенно зашагал в магазинный двор, я за ним. На спине у него болтался пустой рюкзак.

Машина была подогнана фургоном к дверям. Водитель сидит в кабине, покуривает, в ус не дует. Глянул я в фургон, а там в деревянных ящиках поблескивают горлышками водочные бутылки.

На крыльце толстая женщина в белом халате орала, широко раскрывая рот и сверкая золотыми зубами, на щуплого мужичка в грязной фуфайке, нетвердо стоявшего перед ней:

— Уволю я тебя, панфурик, уволю! Гад такой! Что, мне самой ящики таскать?

— Так я, Марья Ивановна, я... как штык...— бубнил мужичонка.

Батон подмигнул мне и говорит:

— Хозяюшка, может, помощь нужна?

Оглядела она нас:

— Как же... сразу и помощники нашлись...— скривила рот.— Ну, давайте.

И принялись мы за работу. Я Батону ящики подаю, он их таскает, куда ему та баба показала.

Сначала она все на крыльце стояла, присматривала за нами, потом ушла куда-то. Когда я подавал Батону предпоследний ящик, он тихо сказал:

— Иди за мной.— Оглянулся на дверь и засеменял мимо машины. Я спрыгнул и побежал за ним.

Батон, на удивление, легко держал ящик в руках перед собой и бежал так, что я едва поспевал.

Спохватились нас, видимо, не скоро. Мы, уже отпыхавшись, перекладывали бутылки из ящика в рюкзак на берегу зловонной речки. Тут только я и сумел сказать:

— Ну, ты даешь. А если бы попались?

— Если бы, да кабы, да во рту б росли грибы...

— Вон они! — раздался громкий визгливый крик.

Подхватили мы рюкзак — и деру. Хорошо так бежим, по тропке между кустами виляем. И вдруг — бетонная стена, тупик, а сзади уже топот слышен.

— Лезь быстрее! — Батон нагнулся, я вскочил на его спину и вскарабкался на стену, он мне рюкзак подал и сам, лихо так, на стену запрыгнул.

И тут, как на грех, выпустил я рюкзак заветный из рук, хорошо еще не на ту сторону, откуда догоняли нас.

— И-и-и!..— вскрикнул Батон, схватил мокрый рюкзак — и бежать.

Пока там погоня через стену карячилась, мы уже далеко были.

— У тебя, видать, вместо рук-то ноги выросли! Эх! — Батон методично разгребал бутылочные осколки. Я молчал. Сам понимал — нет мне оправдания. И вдруг:

— Есть! Есть...— целая, чудом не разбитая бутылка «Столичной» сияла, переливалась всеми цветами радуги в его руке.

## НО ПАСАРАН!

Подходили к общежитию. Сверкающая стеклами девятиэтажная коробка была похожа на ящики с бутылками, поставленные друг на дружку.

— Саня, ты местный? — спросил Батон.

— Из деревни. На ОМЗ работаю, здесь в общега живу.

— В общега? Это хорошо... Понимаешь, я только сегодня в этот городок приехал, никого у меня здесь... Я могу, конечно, и на бану перекантоваться...

— Да зачем! Ночуй у меня.

— Ну, спасибо, Саша, я знал, что ты меня выручишь,— и он хлопнул меня по плечу.

— Батон, а ты чем вообще занимаешься?

— Бичую.

— А-а...

Остановились у дверей общежития.

— Правда, у нас тут строго. Только по паспортам и до двадцати трех часов пускают.

— Ничего, прорвемся.

Все-таки я показал ему окно своей комнаты на втором этаже, туда легко можно было влезть по росшему рядом тополю. Но сейчас еще было светло — могли увидеть.

Вахтерша — непреклонная тетя Клава, сидела на своем обычно месте за невысокой перегородкой, готовая в любой момент выдвинуть деревянный брус, стопорящий «вертушку» на входе.

— Тетя Клава,— как можно ласковее обратился я к ней,— тут такое дело, ко мне дядя приехал из деревни...

— Паспорт,— привычно потребовала тетя Клава.

— Забыл паспорт.

— Не пушу.

— Ну, тетя Клава...

— Что «тетя Клава», что «тетя Клава»! Я уже шестой десяток тетя Клава! Наведете калаголиков да бичей, мне

отвечать потом. Не пушу, сказала, выходи,— это она уже Батону кричала.

В это время сзади нас в дверь ввалилась веселая компания. Отталкивая меня и Батона, полезли прямо через застопоренную «вертушку».

— Назад!

— Мать, все ништяк...

Батон схватил патлатого, распятым-пьянехонького парня за куртку и дернул к себе.

— Сказано же — нельзя.

— А ты кто такой? — Подступили еще двое.— Ты на кого руку поднял? Да мы тебя...

И тут Батон мгновенно преобразился: выдвинулась вперед челюсть, забугрились желваки на скулах, глаза сузились, вся его невысокая коренастая фигура напряглась:

— Я таких, как ты, мразь, двенадцать лет из параша поил.— Он взял за лицо ближайшего из парней и несильно пристукнул затылком об стену. Тот медленно стал отступать к выходу, двое других тоже. Уже закрывая дверь со стороны улицы, один из них прошипел:

— Мы с тобой еще потолкуем, дядя.

Батон же обратился к ошеломленной тете Клаве:

— Но пасаран! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях! — Потряс кулаком правой руки. И с такой яростью произнес он эти слова, что поверилось — не шутит Батон.

Тетя Клава молча убрала задвижку, пропуская нас в общежитие.

Мы уже поднимались по лестнице, когда она опомнилась:

— Эй! Назад! Паспорт! Петров, я коменданту доложу!

Пришлось вернуться. Батон пожал мне руку. Громко сказал:

— Ну, до свидания, Александр, до завтра. Всего хорошего, тетя Клава,— и вышел на улицу.

Я еще выглянул за ним — не поджидают ли его те архаровцы, но никого не было, и пошел в свою комнату.

Батон ждал меня под окном.

## ЗА ЗНАКОМСТВО

Батон разбулькал содержимое бутылки по стаканам... дверь распахнулась, вошел мой сосед по комнате Вася Подхомутов.

Взгляды их пересеклись.

— Вася, познакомься, это — Батон.

— Очень приятно,— Вася разделся, лег на свою, коротковатую для него койку и раскрыл книгу. Наверное, он с удовольствием бы ушел из комнаты, но идти ему, впрочем, как и нам с Батоном, было некуда.

— Василий, присоединяйся,— пригласил Батон.

— Нет. Спасибо.

— Ну что ж, а мы, Саня, выпьем. За знакомство! — И мы выпили.

— Везет мне на хороших людей,— Батон приобнял меня.— А ты, мил человек, больной, что ль? — обратился он снова к Васе.

— Почему больной?

— Ну, не пьешь-то? Болит, поди-ка, чего? Может, язва?

— Нет.— Василий вдруг отложил книгу и повернулся к нам.— Тут мужики другое.

## РАССКАЗ ПОДХОМУТОВА

— Вот вы пьете. А мне, думаете, не хочется?

— Так я же предлагал...

— Да подожди ты! — Он махнул рукой на Батона.— Я ведь тоже когда-то бухал — будь здоров! И ни за что бы не бросил, если бы не случай.

Мы с Батоном допили водку. Ясно, что этого мало, надо искать деньги и бежать в магазин. Деньги можно занять у Васи, но сначала надо выслушать его, чтобы не обидеть.

И мы слушали.

— Было это два года назад. Золотая осень. Пора листопада, так сказать. И пили мы «Золотую осень». На балконе четвертого этажа сидели. Я в то время в институте учился.

— Отчислили из института? — догадался я. Раньше Вася ничего о себе не рассказывал.

— Отчислили. Ну вот — сидим, пьем. Захорошело. А на балконе в ограждении несколько прутьев было выломано — ну общага и есть общага. Буревестник — кликуха такая у него — допил бутылку и бросил вниз, да и сам вслед за бутылкой в пролом полетел. На газон упал. Вызвали «скорую», пока то да се — как и не пили. Взяли еще. Сидим вдвоем с Сеней на том же балконе, пьем. А Сеня удивляется, как, мол, Буревестника угораздило в такую щель вывалиться, тут и не пролезешь, и в пролом-то этот чертов дернулся. Только башмаки у меня перед глазами мелькнули. Я вниз-то глянул — как там Сеня — голова у меня закружилась, ну и...

Мы едва сдерживали смех.

— ...вот, очнулся и не могу понять — живой я или уже на том свете. Лежу по рукам и ногам спеленатый. Поогляделся — вроде живой. Медсестричка по палате, как ангелочек порхает... Вдруг дверь открывается, и вваливаются Буревестник с Сеней. Буревестник своим ходом прет, а Сеня на костылях. Оказалось: Буревестник только пятку отшиб, Сеня ногу сломал, а у меня — сотрясение мозга, перелом ребра, руки и ноги... И до того мне хреново было... Поклялся — больше ни капли. Два года держусь. И вы меня, мужики, не уговаривайте. Как говорится: пить — здоровью вредить.

## СВОИМ ЧЕРЕДОМ

— Золотые слова! Твоими бы устами, Вася, мед пить... А еще лучше водочку.— Батон тревожно взглянул на будильник и толкнул меня локтем в бок. До закрытия магазина оставалось совсем мало времени. Я, как бы невзначай, обратился к Подхомотову:

— Вася, дай пять рублей до получки.— Вася не отозвался.

— Да отдам я! Отдам! Когда я не отдавал-то?

— Тебе завтра на работу,— подал голос Вася.

— Что я тебе — ребенок?

— Вася, это запахло, — сурово сказал Батон.

Подхомутов вдруг легко согласился. Достал из кармана брюк пятерку и подал мне.

— До полочки.

— Заметано.

И дальше все пошло своим чередом...

Тяжело было утром. Но Вася был неумолим. Поднял меня и Батона. Отпаивал крепким чаем. Потом мы с Васей ушли на работу. А Батон, опять же через окно, вылез на улицу и тоже куда-то двинул.

Вечером под окном раздался свист. Выглянул я — Батон, рюкзак в руке полный держит. Помог я ему влезть, а в рюкзаке позвякивает.

Оказалось, в другом магазине он провернул ту же операцию, но более удачно.

— Ну, ты даешь, Батон...

— Даем стране угля, мелкого, но много!

Гулял весь этаж.

Кто-то предупредил, что идет комендант, а Батон уже и не шевелится, на койке моей лежит. Мы с Васей только-только успели его в шкаф запихнуть. Зашла Софья Павловна.

— Так, Петров, так... На какие шиши гуляем? — Я молчу. — В профком будет доложено. Голубчики. Хороши. — Тут Батон чего-то зашевелился в шкафу. Софья Павловна насторожилась, прислушалась, но все уже стихло. — Всем сидеть по своим комнатам, если увижу кого-то пьяного в общежитии, вызову милицию. Все! — Опять шорохи и кряхтение из шкафа. Она оглянулась, у двери, прислонившись к косяку, стоял Валера Воробьев: убери косяк — упадет. Из соседней комнаты неслось дружное: «Где ты, моя черноглазая, где?...» Софья Павловна ринулась туда.

Я довел Валеру до его комнаты, вернулся и запер дверь. Открыл шкаф — Батон, подтянув колени к подбородку, спокойно спал. Вытащили мы его с Васей, уложили на мою койку.

Я рухнул на пол и тут же уснул.

## АЛЬФОНС

Меня лишили тринадцатой зарплаты, перенесли отпуск с июля на апрель. Батон куда-то пропал.

Появился недели через три. Чистый, бритый, сытый. Похихатывает.

— Остановился тут у вдовушки на зиму. И ей хорошо и мне. Домик у нее свой, так крышу подчинил, дровишки поколол. Ну и она ко мне отзывчивая,— рассказывал он мне и Подхомутову.

— Значит, в альфонсы заделался,— сказал Вася.

— Чего? — не понял Батон.

— Ну, альфонсами таких называют.

— Альфонс... А что? Хорошо! Я Нюрке так и скажу — чтоб Альфонсом меня звала. Красиво!

Засиживаться Батон не стал и скоро ушел.

— Я теперь человек семейный... до весны!

## СИРОТА

В тот день я пришел с работы поздно. Захожу в комнату и вижу: сидят Батон и Вася Подхомутов. На столе бутылка водки и кой-какая закуска.

На мою кровать брошена «летняя» куртка на меху и шарф, у дверей ботинки новые стоят — видимо, вдова позаботилась.

— ...выстроили нас, и начальник — подполковник Жуков — век не забуду! — орет: «Я вас научу свободу любить! Вы у меня узнаете, как кипежи поднимать!» И пошла работа — подгоняют лесовоз, а мы таскаем на себе лесины и укладываем в штабель в три метра высотой. Норму не выполнил — пайка вдвое урезается... Я-то легко отделался — через месяц в больничку попал, а двое померли.— Батон сидел спиной к двери и не видел меня.

Вася подпер кулаком голову, смотрел на Батона и, кажется, готов был заплакать.

— Здорово, Батон! — подал я голос.

— О-о! Са-а-ня! — Батон развел руками и случайно сбил со стола бутылку, но успел подхватить ее у самого пола и поставил на место.

Подхомутов поднял на меня глаза, хотел, видимо, что-то сказать, но не смог, опустил голову на стол, затих.

Я увидел под столом еще две, уже пустые, бутылки.

— Батон, ты почто Васю напоил? — в шутку спросил я.

— Васю?.. Да ты знаешь, что Вася вот такой мужик, — Батон поднял вверх большой палец. — Ты знаешь, что он сирота, детдомовский, как и я? — В голосе Батона слышалась обида.

Мне стало отчего-то стыдно.

На следующий день, в субботу, я собрался к матери. Позвал и Батона. Поехали.

Мать встретила как обычно: баня, обед с поллитровочкой, чай.

Я гляжу на Батона — оттаял мужик. Морщины на лбу разгладились, и желваки по скулам не катаются.

Сидел он у окна на лавке, перед самоваром. Посматривал на стены, где висели большие, старинные, в рамках фотографии: бабушка, дед, мать с отцом — жених и невеста. За рамку зеркала заложены открытки — поздравления с Новым годом и с октябрьскими. В углу икона и лампада перед ней — это уже без меня появилось. Раньше икона та в горнице висела, и я ни разу не видел, чтобы мать перед ней молилась.

В общем, все в доме привычно, знакомо мне с детства. Батон от меня отворачивается, в окно смотрит, увидел на улице что-то...

Погостили у матери, да через день обратно в город. Мне на работу надо было.

Шли по дороге к автобусной остановке, и Батон сказал:

— Счастливый ты, у тебя мать есть, живая. А я свою даже не помню.

И молчал до самого города.

Потом Батон исчез. Я уже думал, что он уехал из города. Но в конце марта он появился. Как всегда, через окно.

— Ты откуда взялся, Батон? — радостно спросил я.

— Из-под снега вытаял. Все, Саня, прощаться при-

шел. Чувствую — еще немного — прирасту здесь, а это не по мне. Я дорогу люблю, волю.

— Васю хоть подожди.

— Нет, пойду. Я ведь и билет купил. А чего? — деньги есть пока!

— Куда ж ты теперь?

— Страна большая.

— Провожу тебя.

— Не надо, Саня. Ну, давай пять! Ты хороший мужик. — Он протянул мне руку, и я крепко пожал ее, хотел и обнять Батона, но он уже развернулся и шагнул за дверь.

— Привет Васе! — и пошел по коридору к лестнице, ему уже не нужно было прятаться от вахтерши.

Прошло много лет. Все изменилось кругом. Изменилась моя жизнь, жизнь Васи Подхомутова. Наверное, изменилась как-то и жизнь Батона — вольного человека.

## ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Шофер-дальнобойщик Виктор Краснов выгрузил товар, поставил «КамаЗ» в гараж, получил причитающиеся за рейс деньги и по дороге домой зашел в пивной бар.

«Имею право, — думал Виктор, — десять дней сухого закона выдержал».

Встретил приятелей. Выпили. После двух бутылок «Жигулевского» Краснов сказал, как отрезал: «Всё, робяты-демократы, только чай». И двинул домой.

Жена, Лариса, учуяла преступный запах:

— Успел? Сколько пропил-то?

— Да сколько же можно! — взвился Виктор, махнул перед носом жены пачкой денег и сунул в карман. У Ларисы глаза на лоб полезли. Дрожащим, потерянным голосом спросила:

— Все пропьешь?

— Все, — твердо ответил Краснов и хлопнул дверью.

«Вот так тебя, жадину, учить буду!» — подзадоривал он себя, направляясь в бар.

Дружки его все еще там сидели. Виктор поставил всем пива.

— Гуляем, мужики! День рожденья у меня.

— Пить будем, гулять будем! — радостно отозвался на дармовую выпивку толстяк с татуированными руками по кличке Рафинад.

Перешли на водку. Мужики быстро пьянели. Двое уже спали, уронив буйны головы на стол. Краснов выпил чуть-чуть и больше не стал, пытался заговорить то с одним, то с другим, но все их разговоры сводились на вчерашнюю пьянку или позавчерашнюю драку. И Виктор Краснов замолчал, помрачнел, желваки закатались на скулах. Наконец сказал:

— Скучно, ребята, с вами. Лодыри вы, халявшики.

— За базар отвечаешь? — рыкнул Рафинад, сжал кулаки, но не смог подняться со стула.

— Ладно уж, сиди.

Краснов взял ящик пива, добрался до автобусной остановки и сел на скамью, ящик рядом поставил.

— Почем, батя? — тут же подлетел стриженный наголо прыщавый паренек в тесных джинсиках.

— Угощаю.

— А?..

— Бери говорю! — И громко, на всю остановку:

— Подходите, граждане! Отметим день рождения Вити Краснова!

Заоглядывались. Кое-кто опасливо отошел подальше.

Еще двое парней подкатили, видимо, друзья первого:

— Можно, да?

— Берите, берите.

— Ишь, купец-гуляка выискался, — покачала головой старушка.

— Не украл, баушка, — усмехнулся Краснов.

Подвалил автобус. Народ на остановке сменился. Краснов опять заорал:

— Подходи, угощаю!

Вылезла из автобуса цыганка Люба со старухой матерью.

Люба молодая, по-цыгански пестро одетая: в пла-точке прозрачном, в широкой белой рубашке, цветастая юбка до земли. Мать ее — сморщенная старуха — во рванине какой-то, но серьги у нее до плеч, вроде бы, золотые.

— Хорошо гуляешь, парень! — бойко крикнула Люба. — Вина только мало.

— Сделаем, Люб.

Виктор поманил пальцем крутившегося тут же мужичонку с испитым лицом:

— Брат, не в службу, а в дружбу, сгоняй в лавку. На все. — И сунул деньги.

— Люба, а музычку с пляской организовать, а?

Люба сказала что-то матери по-цыгански. Вышла на дорогу, подбоченилась, тормознула красный «Москвич».

Минут через десять цыгане подъехали на «Волге». Галдящие, веселые, с гитарой. А парень в красной рубахе прискакал на лошади.

Краснов знал их. Во времена талонов весь район покупал у этих цыган водку.

Тем временем «гонец» притащил ящик вина. Толпа собралась изрядная. Пили, уходили, приходили другие. Как ни странно, никто не напивался.

Виктор сунул Любе деньги. Зазвенела гитара. И всадник плясал в свете фонаря, взмахивая над головой широкими рукавами красной рубахи. Краснов подхватился, выдал дробь по асфальту. Да куда там с цыганом в пляске тягаться...

Подкатила милицейская машина.

— Что за шум, а драки нет? — подошел веселый сержант.

— День рожденья у меня, братан.

Сержант осмотрелся: пьяных не было, драки тоже. Но все же сказал:

— Общественное место, не положено. Через полчаса едем обратно — чтоб тихо и пусто... — и почему-то козырнул лихо двумя пальцами.

— Есть, командир! — козырнул в ответ Краснов.

Старуха-цыганка раскачивалась сидя, тянула что-то невнятное: «Э-э-эй, ромалы, не сплю ночами, кра-а-ай родной, любимая стра-а-на...»

К Краснову подошел оборванный бродяга и просто сказал:

— Дай бутылку.

— Бери. На вот еще.— Виктор, не считая, сунул ему деньги.

— Благодарю,— вежливо ответил оборванец и растворился в темноте.

Цыгане засобирались.

Встал и Виктор Краснов.

— Концерт окончен! — объявил он, сунув руки в карманы, и побрел куда глаза глядели, напевая: «А пусть бегут неуклюже, а пешеходы по лужам...»

Спал он на скамейке в парке.

Утром пришел домой. Лариса смотрела на него испуганно.

— На! — Виктор, вытащив из потайного кармана записку, кинул на стол, и деньги легли веером. Их было больше, чем во вчерашней пачке.

На следующий день он напросился во внеочередной десятидневный рейс.

## БОЖОЛЕ

Утром жена спросила:

— Помнишь, что обещал?

Сергей испуганно замер. Он не помнил.

— Божоле купить.

Сергей расслабился.

— Ну, раз обещал, значит куплю, Оленька.— Теперь дело оставалось за малым — узнать, что такое божоле.

Он торопливо оделся, чмокнул лежавшую в постели, сонную жену и вышел в прихожую, в темноте надел ботинки.

— Сережа, приходи поскорее! — крикнула из комнаты Ольга.

Щелкнул замок. Ольга сладко зевнула, повернулась к стене, поджала ноги, погладила живот, улыбнулась и уснула.

Они поженились год назад. Сняли однокомнатную квартиру. Сергей работал на заводе токарем, а Ольга надомницей плела кружева. Они были счастливы.

Теперь Ольга на третьем месяце беременности. И до того привередлива стала. Мало того, что к себе не подпускает, так еще капризничает. То ей захочется апельсинов, и надо срочно бежать в магазин, а потом съедает дольку и говорит «не хочу». То будит среди ночи — «пошли гулять». А Сергею вставать в шесть утра.

Устал он от всего этого, даже на работе специально задерживается.

Сегодня вот божоле ей какое-то подавай. «Неужели я обещал? Не помню, хоть убей!»

И он стал думать о другом — будет ли сегодня работа, выдадут ли зарплату и всю полностью или только часть...

Работа была. И за работой некогда было думать о постороннем.

Но в обеденный перерыв, когда, уже перекусив в столовке, курили в цехе, он спросил у мужиков из бригады, не знают ли, что такое божоле.

— Как говоришь, бажиле? — откликнулся Лешка Голубев. — Конфеты наверно.

— Нет, — возразил Петрович. — Это духи.

— Нет таких духов, — твердо сказал Володька Колосов — великий дамский угодник и потому знаток парфюмерии.

— А зачем тебе эта бажиле-то? — поинтересовался Голубев.

— Так... надо, — буркнул, смутившись, Сергей и пошел к станку.

Зарплату выдали. Полностью. Пора было идти домой, а Сергей так и не узнал, что же такое божоле. Он представлял обиженный взгляд Ольги, как она скажет: «Обещал и не купил. Не думаешь обо мне...» Нет — надо обязательно найти это божоле, будь оно проклято!

Он брел в сторону автобусной остановки. Его обгоняли люди, спешащие с работы домой, а навстречу шли те, кому выходить во вторую смену.

Торкнулся наудачу в коммерческий киоск, с витриной пестрой как ковер.

— У вас есть божоле?

— А что это такое? — вопросом ответил невидимый через окошечко продавец.

До своей остановки он не доехал, вышел в центре. Долго ходил по универмагу. В парфюмерном отделе прочитал названия на всех бутылочках и коробочках. Не было здесь божоле.

Моросил дождь. Но Сергей не стал ждать автобус, двинул пешком.

Неподалеку от дома, сам не зная зачем, зашел в магазин «Детский мир». Очнулся у прилавка, за которым на полках стояли мягкие игрушки. Наверное он долго тут стоял. Молоденькая продавщица смотрела на него удивленно и настороженно. «Надо купить чего-нибудь, чтоб не смотрела так», — подумал Сергей.

— Девушка, покажите вон того зайца, — он ткнул пальцем в первую попавшуюся игрушку.

Зяец был пушистый, со смешной мордочкой. Глаза — живые.

— Беру.

— В кассу, — сказала девушка и вдруг улыбнулась, показав неровные белые зубы.

Сергей сунул зайца за пазуху. И он сидел там мягкий и теплый. И, казалось, шевелился.

«Чего я, правда, Ольгу-то боюсь. Она, может, уже и забыла».

Ольга открыла дверь, когда он еще поднимался по лестнице. И сразу спросила:

— Купил божоле?

— Нет.

Она надулась и ушла в комнату.

Лежала, отвернувшись к стене. Сергей заячьим ухом пощекотал ей шею. Обернулась.

— Ой, какой хороший! — Взяла игрушку, прижала и рассмеялась. Потом спросила:

— А чего божоле-то не купил?

— Оля, а это что?

— Да мы же вчера в нашем магазине видели. Вино!

Сергей вспомнил, как Ольга просила купить какого-то виноградного вина. Он не расслышал название, но обещал.

— А! — хлопнул себя по лбу.— Так я мигом слетаю!  
— Нет. Иди сюда... Ой, промок весь...— Она взяла его руку и положила на живот.— Шевелится.  
— Рано же еще,— усомнился Сергей.  
А Ольга обратилась к тому, кто был в ней:  
— А вот нам папа какого зайку принес...  
Сергей тихонько одевался в прихожей. Он привык выполнять свои обещания.

## ОЖИДАНИЕ ПРАЗДНИКА

### 1

Матвеев проснулся рано утром. Наносил воды из колодца. Затопил печь. Подмел и вымыл полы в избе. Сегодня, 31 декабря, он ждал приезда из города жены и сына.

На десятичасовом автобусе они не приехали.

Матвеев напился чаю из самовара. Пошел на лыжах в ближайший от деревни ельник. Там на лесной опушке он давно приметил стройную елочку. Но решил не рубить, привести к ней жену и сына.

В лесу было тихо-тихо, лишь изредка наносило с дороги машинный гул.

Его елочка вымахнула на самом краю леса. Матвеев ткнул батошкой ствол, и снег, тяжело охнув, опал с ветвей.

Он утоптал сугроб вокруг елочки, еще раз полюбовался на нее со стороны, наломал веточек с соседних елей и двинул обратно своим следом, глубоко дыша чистым морозным воздухом.

Он все приготовил к празднику: свечки, которые они зажгут ночью у елки, украшения для нее, конфеты для сына, а им с женой—две бутылки сухого вина.

Обдумал те слова, которые скажет жене в подходящую минуту. И она, может быть, наконец-то, простит его...

Подходя к дому, увидел у калитки Вовку Кузнецова.

— Здорово, сосед! — крикнул Вовка. — С наступающим!

— Здорово. И тебя так же.

— Капканы проверял? — вежливо поинтересовался Вовка. Из кармана его пальтушки выглядывало горлышко бутылки.

— Нет... Вовка, не буду я пить. Жену с сыном жду.

— А-а! — Кузнецов махнул рукой. — Ну, давай! — И направился к соседней избе. Обернулся:

— А то, может... — щелкнул пальцем по горлу.

— Нет.

На двухчасовом автобусе они тоже не приехали.

Еловыми веточками Матвеев украсил комнату. Укрепил над окнами, поставил в банке с водой на столе. Ветви оттаяли, и изба наполнилась густым хвойным духом.

Матвеев сидел у окна, смотрел на дорогу. Ждал пятичасовой автобус, на котором они уже точно должны приехать.

Думал о том, как обрадуется сын Лешка походу в лес. «И ходьбы-то пятнадцать минут, а для него праздник!» У самого Матвеева в детстве мало было праздников. И вот — сын. Только бы радоваться. Но Матвеев уже второй год живет один в деревне, лишь иногда приезжает в город к жене и сыну, да они редко-редко к нему. Лешке девять лет, и без отца ему плохо...

Матвеев все это понимает. Но что он может сделать? Сам, конечно, виноват. Пьянство его. А у жены «терпение лопнуло». Но, может, сегодня все изменится...

Смеркалось. Матвеев жадно вглядывался в каждую точку на горизонте. Шли машины. Но вот наконец и автобус. Он остановился напротив деревни, метрах в ста. Вылез один человек. Это была бабка Кузьминиха. Ездила зачем-то в город. Больше сегодня автобусов не будет...

Матвеев еще три часа сидел у окна, хотя уже ничего не было видно, лишь мигали иногда огни фар.

Она сказала: «Может быть, приедем». Но он почему-то верил, что приедут обязательно.

В десять часов он открыл первую бутылку вина. Потом вторую. Потом достал из подполья бутылку водки.

В двенадцать ночи он вышел из дома и побрел, не разбирая пути, в сторону города.

2

Первого января, днем, из автобуса вышли двое: женщина и ребенок — мальчик лет десяти. Они свернули с дороги и пошли по тропинке к крайнему дому деревни.

Лена Матвеева сразу узнала бордовый шарф, колыхавшийся на ветке деревца в стороне от тропы, чуть дальше — валялась на снегу рукавица.

...Она собиралась приехать к нему на праздник. Но тридцатого вечером позвонила Нина Иванова, напросилась в гости. Не могла она отказать лучшей подруге. И вот...

«Сережа, Сережа! Что же ты наделал!» Она старалась не напугать сына. Даже не стала подбирать шарф и рукавицу.

Ключ был на месте, за наличником. Вошли в дом.

— Папа наверно в лес ушел.

— Да, наверно.— Тяжело опустилась на табуретку. Обвела взглядом комнату: еловые ветви, чисто... бутылки на столе.

— Мама, а почему папа елку не принес?

— Не знаю. Подожди, Леша, устала я. Валенки на печку поставь.

«Что же делать?» И вдруг злость закипела: «Ну, явишься — я тебе покажу! Ведь сказала, что может и не приедем. Нет — поперся. Ведь в город поперся! Да уж и напиться надо обязательно!» — Убрала со стола бутылки. И тут — как споткнулась: «Да он же замерз. Ночью, один, пьяный. Замерз».

— Мама, а мы чай будем пить из самовара?

— Будем.

Дрова у шестка аккуратно сложены. Затопила теплую еще печь. Поставила самовар. А сердце болит...

Послышались шаги в сенях. Дверь отворилась, и в комнату ввалился Матвеев. В распахнутом полушубке,

без шапки, без рукавиц. Правый глаз заплыл огромным синяком.

— Папа, а ты где был? Папа, кто тебя так? — Голос Алешки задрожал, он заплакал.

И тут потекли слезы у самого Сергея Матвеева, заревела в голос его жена Лена. И они забыли все слова, которые хотели сказать друг другу.

## ТАКОЙ ДЕНЬ

Андрей Петрович стоял на платформе железнодорожного вокзала и ждал пригородный поезд. На нем был длинный коричневый плащ, берет и тупоносые ботинки. В руках Андрей Петрович держал корзинку. Он отправился в лес за грибами.

Подали поезд. Народу было мало, и Андрей Петрович спокойно, без толкотни вошел в вагон и сел у окна. Через несколько остановок он вышел на полустанке и углубился в лес.

Стояло тихое сентябрьское утро. Роса еще не обсохла, и ботинки Андрея Петровича быстро промокли. Он не любил ходить в сапогах.

Лес ронял свои листья. Кроны высоких деревьев стали прозрачными, и лучи солнца проникали до самых нижних веток. Но там, где росли старые ели, было сумрачно. Земля под ногами усыпана хвоей и шишками.

Красноголовый подосиновик спрятался за старым пнем. Андрей Петрович достал нож, аккуратно срезал гриб и положил в корзинку.

Он ходил по лесу уже три часа. Набрел на старое кострище, решил разжечь костер и перекусить.

Сухие ветки занялись сразу. Андрей Петрович сел на ствол павшего дерева. Достал из одного кармана плаща бутылку с чаем, а из другого сверток, в котором были яйцо, огурец и два куска хлеба. Один кусок он поджарил над огнем, наколов его на веточку. Как в детстве.

Было приятно сидеть у костра, глядеть на огонь, слушать шорох падающих листьев, прихлебывать из бутылки холодный чай.

Лист оторвался от ветки, завис в воздухе, как бы раздумывая, и, наконец, кружась, опустился к ногам Андрея Петровича.

А другой лист повис на нитке паутины, раскачивался и кружился, и солнечные лучи, падая на него, преломлялись и соскальзывали на носок правого ботинка Андрея Петровича.

Отдохнув у костра, Андрей Петрович еще часа два собирал грибы. Корзинка его наполнилась до краев. Пора было возвращаться.

Он сел в поезд и поехал в город, где в двухкомнатной квартире на пятом этаже его ждали жена и двое детей.

О чем он думал весь день? Не знаю. Наверное, это были самые обычные мысли, ведь Андрей Петрович был самым обычным человеком. Весь день ему было очень хорошо. Такие дни в его жизни случались нечасто.

## АНДРЕЙ ШИРОГЛАЗОВ

### *...И ТРИ МИНУТЫ ВДОХНОВЕНЬЯ*

#### СТИХИ

Череповец уныло плыл с планетой вместе  
и чуть покачивался дом,  
из пластилина суеты, из глины местных  
из равнодушия друзей и разной прочей  
по орбите,  
в котором я лепил стихи  
общезитий,  
чепухи.

Они роились в голове, они упрямо подгоняли,  
они пытались утвердить свои священные права  
на жизнь, на чью-нибудь любовь,  
как будто что-то представляли,  
на публикацию и журнале,  
пока не вылились в слова...

А между тем — хотелось спать.  
И три минуты вдохновенья  
сменились часом немоты.  
И ускользящий сюжет  
повис на стрелке часовой вблизи  
четвертого деленья,

и вполз в мое уединенье невдохновляющий  
рассвет.

И я привычно ощутил возникновение досады.  
И равнодушно скомкал лист,  
в который так и не вошли  
дома, скамейки и мосты,  
узор кладбищенской ограды,  
аркады, лента автострады  
и прочий камуфляж земли...

## ЗИМА ПАТРИАРХА

*Памяти отца*

Запоздалые слезы бегут по морщинкам лица  
и срываются вниз, разбиваясь  
о траурный бархат.  
Вот и кончилось все. Наступила  
зима патриарха.  
Я не понял еще. Просто вижу:  
хоронят отца.

Просто слышу: скрипят сапоги  
в гробовой тишине,  
и сосед говорит о заслугах усопшего друга.  
И еще не прошло у меня ощущение испуга,  
и еще не пришло ощущение сиротства ко мне.

А кладбищенский снег — самый чистый  
и праведный снег.  
Он скрывает от нас всю тщету наших  
глупых попыток —  
залатать эту боль километрами  
жизненных ниток  
и сбежать от судьбы, будто этот  
возможен побег.

## УХОДЯТ ЛЮДИ...

Плывет дымок от сигареты  
над книжной полкою в окно.  
А мы и тобой — апологеты  
того, что минуло давно.  
И в череде унылых буден  
причины нету для тоски.  
Всего-то лишь — уходят люди,  
что были некогда близки...

А нам с тобой немного нужно,  
увы, уже, а не еще...  
Мы живы той, вчерашней дружбой,  
и день сегодняшний — не в счет.  
Нет ни обидчиков, ни судий.  
И не к чему тереть виски...  
Всего-то лишь — уходят люди,  
что были некогда близки...

О, эти вечные уходы  
в мир неизвестных единиц...  
О, наши прожитые годы  
в круговороте милых лиц...  
Как наш багаж смешон и скуден.  
Не стоит сердце на куски...  
Всего-то лишь — уходят люди,  
что были некогда близки...

\* \* \*

Послушай, друг, ты слишком стар  
для этого вопроса,  
и для других вопросов, друг,  
ты тоже слишком стар.  
И сладок дым отечества, как дым от папиросы.  
Но что нам дым отечества,  
когда в душе пожар...

Горим мы синим пламенем —  
вот в этом все и дело.  
Зажгли себя по-дурости, чтобы светить в веках,  
а спохватились давеча, глядь — все перегорело,  
и мы с тобой остались, друг,  
в гигантских дураках.

А, впрочем, нам ли сетовать на наше  
пепелище...

Светить всегда, светить везде —  
удел самоубийц.  
Смотри-ка: дым отечества струится  
по кладбищу,  
стирая преждевременно улыбки с наших лиц.

Давай, мой друг, возьмем сейчас с тобой  
по «банке» «белой»,  
посыплем пеплом головы и примем умный вид.  
Ах, сладок дым отечества, когда оно сгорело,  
и горек дым отечества, пока оно горит...

## ПРОЩАНИЕ С 207-й КОМНАТОЙ

Ходили мы, любили мы, страдали мы,  
и комендант от ярости потел.  
А пили мы, по-моему,— за Сталина,  
особенно когда Дагаев пел,  
в наш тесный круг случайно вовлеченный  
и извлеченный из других кругов:  
«Товарищ Сталин, вы — большой ученый...».  
И громко плакал пьяный Бутаков.

Растерянный у нас — да упокоится,  
потерянный у нас — да обретет...  
И ждали мы, что дверь вот-вот откроется,  
и старый друг возьмет да и зайдет,  
в наш тесный круг случайно вовлеченный  
и извлеченный из других кругов,

но, как и мы, навечно обреченный  
сносить усмешки умных дураков...

А слухами планета наша полнится...  
Мы беззащитны в правоте своей.  
Наверное, когда-нибудь исполнится  
все то, о чем мечтал Хемингуэй,  
в наш тесный круг попавший точно к месту  
и извлеченный из других миров.  
Налить ему штрафную за «Фиесту»!  
Возьми гитару, Юра Бочкарев.

Споем про глухарей на токовище мы,  
пока нам Вяткин там варганит грог.  
Наверное, когда-нибудь отыщется  
давно пропавший Миша Гутентог,  
в наш тесный круг случайно вовлеченный  
и извлеченный из других кругов,  
Товарищ Миша, вы — большой ученый...  
Хотите водки? Рюмку, Бутаков!

Потерянное наше поколение  
когда-нибудь отыщется в веках.  
Но как нам надоело, тем не менее,  
все время оставаться в дураках.  
Наш тесный круг распался понемногу.  
В солидных превратились мы людей.  
Друзья, стойте — выпьем на дорогу.  
И будем делать вид, что все о'кей...

## ЗАПОЗДАЛОЕ ПРОЩАНИЕ С ФИЛФАКОМ

Вот и окончились светлые дни  
глупых ошибок и ученичества.  
Вот и остались мы в мире одни.  
Как вам живется, Ваше Величество?  
Длинные полки прочитанных книг —  
ветхий багаж пропитого отрочества.

Миг высоты и падения миг,  
и одиночество, и одиночество...

Вот и растаяли все миражи:  
метили в Храм, окунулись — в убожество.  
В доме над пропастью в призрачной ржи  
как вам живется, Ваше Ничтожество?  
Черные тени минувших веков  
не продерутся сквозь наше вахлачество.  
В мире поденщиков и дураков  
маленький спрос на чужие чудачества...

Шли к большаку, а попали — в кювет,  
жизнь променяли на личное жречество.  
Слышишь, как громко хохочет вослед  
нашим потугам родное Отечество?  
И за колючкой бессмысленных строк,  
не по сезону, простых и лирических,  
тихо кончается глупый мирок  
филологический, филологический...

## АВГУСТОВСКИЙ ДОЖДЬ

Четвертый день стирает дождь колонки  
августовских строк  
с моих придуманных аллей,  
с моих бумажных городов,  
четвертый день я ухожу  
в свой незатейливый мирок  
и нахожу там только дождь в оконной раме.

Ну а поскольку этот дождь  
не запланирован судьбой  
и неожиданная грусть уже маячит у дверей,  
мне очень нужно,  
чтобы ты была по-прежнему со мной  
и разыграла свою роль в семейной драме...



## АЛЕКСАНДР КОРМАШОВ

*На мой взгляд вологодская глубинка постоянно генерирует новые литературные силы. Писательские имена всплывают порой весьма неожиданно и в различных местах России. Таким писателем стал (во всяком случае для меня) Александр Васильевич Кормашов, рожденный тарногской землей. Небольшая поэма Кормашова «Муза» на фоне поэзии Рубцова, Романова, Чухина и ныне здравствующего Мишенева покажется кой-кому из вологодских читателей несколько необычной, эстетика кормашовской поэзии не традиционна, но тем она для нас и интересна. Пожелаем ему дальнейшего саморазвития не только в прозе, но и в поэзии, хотя он и утверждает, что стихов больше писать не хочет.*

*В. Белов*

### МУЗА

Она являлась. Факт. Ее приход предвидел наперед Писатель. Кот. (Подобранный когда-то обормот, Страдавший — кто бы знал? — от энуреза. В упор не признававший туалет, ходил он в кухню, реже в кабинет, но в целом круг обширен, спору нет, писательских его был интересов).

Ее приход мой гнусный квартирант предвосхищал походом под сервант, и только я хватал дезодорант и пшикал вслед... чу! — каблучки за дверью. Она входила, словно бы решив, дышать не глубже, чем на слово «жив?» сама снимала плащ, его пошив скрывал ей крылья, я смеялся: «перья».

Я знал почти что каждое перо,  
бородки, завитки... Их серебро  
разглядывал на свет. Оно старо,  
но тут нельзя, ей богу, не упиться...  
(Был душ началом всех ее начал.  
Когда я — чтоб ни губок, ни мочал! —  
тер спинку ей порой, но замечал,  
что крылья — водоплавающей птицы).

Принявши душ, она с гримаской «фу»  
садилась в кабинете на софу,  
всегда, как в первый раз. Пока в шкафу  
искал я рюмки, так и оставалась.  
Я перед ней садился на пол, при  
условии обычном: «Не смотри!  
Устала — жуть». (О, брови изнутри  
глазных орбит!) В глазах... но не усталость.

В глазах — борьба прощений и обид.  
(О, брови изнутри глазных орбит!  
И чуть с горбинкой нос: был перебит,  
когда на санках прокатилась в детстве...)  
Я много знал о ней. Она сама  
рассказывала. Путано весьма.  
Но мило, мило. Я был без ума:  
«А сад наш был как лес — весь дик и девствен...»

Она училась... (Боже упаси,  
на муз у нас не учат на Руси,  
но где-то все ж она училась, и...  
и в том ее был социальный статус).  
Она была как всякий человек...  
А жизнь была — не Ной, а строй ковчег.  
Мы жили в СНГ. Двадцатый век  
помалу изживал свою двадцатость.

То время было странное. Друзья,  
к «нельзя, но если хочется» скользья,  
еще твердили, «все равно — нельзя»,  
но над страной уже вставало: «Можно!»

Нас многих друг от друга разнесло,  
кого уже кормило ремесло,  
кого к земле тянуло на село,  
кого к большой мощне тянуло мощно.

Один был друг. И он уже не пил.  
Он строил дом, добрался до стропил,  
но нес в душе надлом, надкол, надпил...  
от цен на лес чуть было не сломавшись.  
Он приходил как будто невзначай,  
с моею Музой пил на кухне чай,  
потом сопел в прихожей: «Выручай,  
хоть тысяч пять, и месяцев так... на шесть».

Но мир покою пел заупокой.  
Была хозяйкой Муза никакой,  
на это я давно махнул рукой  
и сам без лишних слов готовил ужин.  
При всем при том, нимало не тая,  
что не выводит быт из бытия,  
она серьезно думала, что я  
весь ей принадлежу, что я ей сужен.

Ведь что творилось, только я к столу  
черкнуть садился строчку, вся в пылу,  
она уж била крыльями!.. В углу  
зевал Писатель, отваливши челюсть.  
Из крыл ее, двух быстрых опахал,  
пух-перья аж-ж!.. Кот зубы отряхал,  
за ними взвившись, а она: «Нахал!» —  
в него пускала шлепанцем, не целясь.

Я ей твердил: «Не стой ты над душой!  
На то не надо хитрости большой,  
чтоб так — рукой!..» (Она была левшой  
и правую рукой моей водила...)  
Что делалось, все делалось не в такт  
с моими мыслями! Мы заключали пакт  
друг другу не мешать, и этот факт  
всех наших отношений был мерило.

Когда не помню, но в один из дней  
я жутко провинился перед ней,  
признав в себе (принять еще трудней)  
какое-то отсутствие культуры.  
Раз в сигаретном плавая дыму,  
я ей сказал: «Не знаю, как кому,  
но все у нас с тобой не по уму,  
и ты порою кажешься мне душой!»

Она застыла. Будто я, злодей,  
всю жизнь стреляю белых лебедей.  
Я что-то буркнул о борьбе идей,  
где нет, мол, отношений идеальных.  
Немного успокоил, и она  
уснула, вся разбита и больна,  
с крылом вподверт, а ножку — вот те на! —  
по-детски затолкав в пододеяльник.

И надо ль говорить, что с той поры  
обшарил я окрестные миры.  
Писатель тоже обходил дворы,  
но возвращался с видом «безнадега».  
Она не появлялась. Ну, а там  
ее прихода я не ждал и сам,  
ничто надолго не приходит к нам,  
вот разве смерть, вот разве та — надолго.

Друг приходил. Смотрел «600 секунд»,  
вздыхал, что зреет, зреет русский бунт,  
пил чай, но — *paccae observante sunt\** —  
ни словом ни обмолвился о Музе.  
Потом был 93-ий год,  
на крышах черный, как грачи, народ,  
и друг лежал под пулями, и кот  
пополз от телевизора на пузе.

Крысиный яд ломал и не таких,  
он полежал немного и затих,

---

\* Договоры должны соблюдаться (лат).

а на меня напал какой-то стих,  
и я уселся наглухо за повесть.  
Потом мы раз встречались в ЦДЛ,  
«Ну что, жива?» «Ты тоже, вижу, цел».  
И — я ушел, сказав, что много дел,  
и сам себя кляня за бестолковость.

Понятно, я не сделан из кремня.  
Я сам бросал, тут — бросили меня,  
а в чем не прав, так это мне до пня,  
другие музы пусть других и судят.  
Когда же до меня дошла молва,  
все это были лживые слова,  
я знал, что для меня она жива,  
и на Земле других уже не будет.

## НИКОЛАЙ КУЧМИДА

### ОТ ПРИСТАНИ ДО ЗАТОНУВШЕГО СОЛНЦА...

*Ах, я люблю те предметы,  
которые трогают мое сердце.*

*Н. М. Карамзин*

По вечерам, когда от пристани до затонувшего солнца вытягивалась желтая пустая аллея, из-за поворота, гудя сильно и молодо, выплывал теплоход.

Весь в огнях, с музыкой, белый теплоход для села был маленьким праздником. Молодые собирались на пристани: зеленом дебаркадере-поплавке. Ребята в резиновых сапогах с широко вывернутыми голенищами и в кепочках, натянутых на глаза, смешили девчонок разными нескладухами. Девчонки прыскали со смеху, приговаривая: «Ой, дурак!..»

Теплоход вплотную подходил к пристани, толкал ее крепкой скулой. Пристань вздрагивала. Смех затихал...

Самые отчаянные залезали без трапа на теплоход, кричали оставшимся на берегу: «Привет родителям!» И бежали в буфет за пивом и красивыми сигаретами.

Играла музыка, пенилась у борта вода. «Язычница» Марья, прозванная так за то, что ругалась наравне с мужиками, выволакивала из будки трап. Матросы помо-

гали Марье приставить трап к теплоходу. И теперь все смотрели и ждали... Только кто-нибудь начинал спускаться — командированный или просто приезжий — его разглядывали с головы до ног. Прикидывали: кто он, почто он приехал? А если трап оставался пустым, чувствовали себя обманутыми.

Последними сбегали свои, местные. Раздавали кому пиво, кому сигареты. Марья стаскивала, ругаясь, трап, заволакивала его в будку, дверь будки запирала на висячий замок.

Высоко вверху капитан в синем кителе и белой фуражке притягивал рукоятку гудка. Все вздрагивали...

Теплоход отходил боком. Оставшиеся у воды глядели на отодвигающийся от них борт... Думая о том вечере, когда сами поднимутся по досчатому трапу и так же медленно, у всех на глазах, отчалят от пристани.

А теплоход, уходя дальше от берега, приближался и приближался к узкой желтой аллее. Та начинала покачиваться, извиваться. Теплоход рвал ее — она разламывалась на куски, и волны долго еще раскидывали по реке ее оранжевые обломки.

Но время шло, вода успокаивалась, солнце краснело. И теперь поперек реки вытягивалась тоже красная, но тонкая прерывистая тропинка.

\* \* \*

Праздник кончился, занавеску можно задернуть. Так Лиза и сделала. Она жила в каюте на дебаркадере. Из единственного окна был виден пятачок опустевшей пристани.

Задернув занавеску, Лиза включила свет. Кровать, столик, стул, — вот и все, что было в каюте, а попросту — в маленькой чистой комнатке. Она очень нравилась Лизе Манеевой, семнадцатилетней практикантке областного культпросветучилища. Всё кругом нравилось Лизе: и река, и пристань, и село, вытянувшееся по берегу. А главное то, что практика была первой. (Хора в селе до приезда Лизы не существовало, но он будет. Создаст его она, Лиза Манеева. И назовет, например, так: «Русские зори». Нет, — «Зори Севера».)

Напрасно она свет включила: сейчас комары налетят. А мотыльки притихнут, а потом будут биться по стенам. Лиза потушила свет и, не запирая каюту, вышла на воздух.

От пристани к низкому песчаному берегу тянулся длинный пологий трап. Лизе хотелось сойти медленно (как практикантке), но упругий трап так закачался, что ей пришлось почти бежать, высоко поднимая ноги.

Оказавшись на улице, она неторопливо пошла по мосткам, казавшимся ночью при лунном свете голубоватыми. Она вдыхала запах реки и вслушивалась в звуки, незаметные днем: в шорох воды, набегающей на берег, в поскрипывание калиток.

Мостки вели, вели и привели ее тоже к воде, но далеко от знакомого дебаркадера. Здесь было пусто. В неподвижной реке лежала большая расплывшаяся луна. Оказаться бы рядом с ней и потрогать... Купальник, жалко, остался в каюте. Ну, да ладно, она же одна. И Лиза нерешительно стала раздеваться.

В этом месте, в стороне от пристани и даже в стороне от села, никто не купался, тем более ночью. И все же, раздевшись, Лиза настороженно огляделась. Кругом было темно, тихо. Она выпрямилась...

Ей стало радостно и жутковато. Напряженно улыбаясь, она вошла в реку. Вода была теплой, дно — чистым, в мелких песчаных ребрах.

Когда вода стала по грудь, Лиза присела на дно, вынырнула и легла на спину. Запомнив, где покачивалась луна, поплыла, глядя в черное звездное поле. Она поднимала руки — и вода стекала с них черными каплями. Как хорошо, оказывается, плыть без купальника,— плыть ночью, одной. Страшно, и все-таки плыть.

Но где луна?.. До луны еще далеко. Лиза перевернулась и поплыла теперь «по-собачьи». И вдруг испугалась холодной глубины и безлюдья. Бешено колотя ногами, она повернула назад. У берега успокоилась. Плавать расхотелось.

Съежась, она вышла из воды. Обсохнула, накинута сарафанчик и куртку. Сорвав по пути какой-то цветок, вернулась на пристань.

К утру погода испортилась, потянуло холодом. Вода потемнела; сделалась шершавой, как вскопанная гряды. Лиза сбежала босиком по трапу. Осторожно ступила на мостки, где женщины полоскали белье, умылась. Затем, выпив парного молока (Марья подкармливала ее), прошла в клуб.

В клубе тоже было холодно. Летом не топили, а щелей хоть отбавляй. Хорошо, что сегодня пятница: вечером — кино, репетиции нет. Она будет завтра. Будет, если из Вологды вернется на теплоходе Саша. То есть, репетиция состоится и без него, но лучше бы он приехал. Трудно проводить репетицию без солиста...

Взяв пачку нот, Лиза устроилась в последнем ряду пустого зрительного зала с затемненными окнами. Впереди, отсвечивая спинками, тянулись к невысокой сцене ряды отполированных кресел. Если наклонить голову набок, зал становился похожим на дно реки в твердых песчаных ребрах.

Сцена была занавешена. В первый раз Лиза увидела Сашу тут, на сцене. Он стоял в белой рубашке на фоне этого темно-синего занавеса и смотрел на Лизу, подхихившую по проходу, чтобы спросить, какой кружок он ведет?

Он ответил, что никакого кружка не вел, не ведет и не хочет вести. Он плотник, окончил СПТУ. Саша легко спрыгнул со сцены...

Лиза посмотрела на его руки. Наверное, потому, что руки у плотников должны быть крепкими и большими. У Саши руки были обыкновенные, мальчишеские. И, конечно же, на правой руке, на безымянном пальце, красовалось колечко с зеленым стеклышком.

Лиза иронично усмехнулась,— так усмехалась одна девушка со второго курса.

— Подарили?..

— Да,— Саша смотрел ей прямо в глаза.— Чувиха дала поносить.

Лиза, не выдержав его взгляда, отвернулась.

— Тебя как звать?

— Лиза.

— «Бедная Лиза» — это не про тебя?

— Про меня,— Лиза тоже посмотрела ему в глаза.— Читал?

— Мне про это читать еще рано.

Лиза покраснела... (На что он намекает?)

А Саша смерил ее взглядом и с таким интересом уставился на ее ноги, что Лизу это обеспокоило.

— Ребята сказали, у тебя ноги кривые.

Лиза быстро осмотрела свои ноги: прямые, нормальные. Стройные. Многие девочки могли бы ей позавидовать. Она взглянула на Сашу: не видит что ли?.. Саша насмешливо улыбался. Помедлив, сказал:

— Спутали с кем-то, наверно...

Таких смелых глаз ни у кого из мальчишек Лиза еще не видела. Смотреть в них, не отрываясь, как стоять на песке раздетой.

...Лиза даже замотала головой, чтобы прогнать стоявшее перед ней лицо Саши. Прогнав, снова уткнулась в ноты.

У него два отгула, вот он и в Вологде. Там живет девушка,— может быть, в сто раз красивее Лизы. Та девушка, которая дала поносить ему свое простенькое колечко. Скорей бы кончалась практика!..

Лиза представила: она вернулась в училище. Ее вызывают к директору, строгой женщине с длинной косой, уложенной, как корона. «Ты же комсомолка, Лиза! Училище надеялось на вас... А ты? Ты не разучила с хором ни одной песни. Мне за тебя стыдно, Манеева!»

Представив это, Лизе самой стало стыдно. Никаких Саш, никаких «Зорь Севера»! Причем тут Север, какие тут Зори? Пусть будет просто хороший хор на два голоса.

Но какой же хор без солиста?..

\* \* \*

Стемнело. Поднялась волна, и пристань покачивало. Из своей каюты Лиза слышала, как на пятачке дебаркадера уже собираются. Кто-то играл на гармошке, ругалась по привычке Марья.

Раздался гудок. Лиза отдернула занавеску. Пристань вздрогнула от толчка, заскрежетали сходни.

По трапу в новой модной куртке, весело улыбаясь, спускался Саша.

— Сань-ка!..— обрадованно закричали на пристани.

— Чё? — еще шире улыбнулся Саша.

— А ничё!..

Все засмеялись,— и Саша тоже.

Глядя на него, Лиза сама невольно заулыбалась. Выбежать бы из каюты! Чтобы он увидел ее: в лучшем платье. Она простояла в нем до самого теплохода: боялась помять. Выбежать бы, увидеть Сашу близко, побыть рядом.

А кольцо?..

Лиза придвинулась к стеклу так близко, что ударилась лбом. Колечко было на месте, и улыбка сошла с ее губ. Лиза отвернулась от окна. Не выйдет она из каюты...

Теплоход, спустя минут десять, отчалил. Ребята и девушки повалили гурьбой за Санькой; он что-то рассказывал, а они смеялись. Потом голоса и шаги удалились, и пристань опустела. Кругом снова стало тихо. Лишь плескалась, ударяя о дебаркадер, вода.

Вот и все. Лиза сняла платье, свернула его, сунула в чемодан. Саша приехал на репетицию, он хорошо поступил,— хотя мог бы и не приезжать. Что такое первая репетиция!..

Лиза переделалась в старое удобное платье, надела куртку, застегнула ее на все пуговицы, подняла воротник. Да, у Саши хороший голос, ему нужно петь, нужно учиться. Лиза может поговорить о нем хоть с директором. Одаренным людям надо помогать, вот она и поможет Саше. А все остальное... Да, все остальное ее не касается. Каждый любит того, кто ему нравится.

Лиза занавесила окно и вышла. Вечер был ветреный, сырой. Трап намок, дорога вдоль берега почернела. Ветер смахивал дождинки с листьев деревьев, дождинки летели прямо в лицо. Пусть летят, она и вправду «бедная Лиза»...

Дойдя до конца улицы, Лиза вернулась. Теперь ветер дул в спину. Холодно было. Грустно и холодно. Не так холодно, как грустно и одиноко.

На берегу у начала трапа кто-то стоял. Лиза испугалась и затаилась. Увидев, что она струсила, тот, у трапа, отвернувшись в сторону, пропел:

*По деревне идите,  
Играетё и поетё.  
А моё сердце раздражаетё  
И спать не даётё.*

Лиза медленно приближалась к трапу. Ей стало, как тогда ночью, когда она входила в реку: радостно и жутковато.

— Я приехал,— сказал Саша.

— С приездом...— повидался с девушкой?

— С какой?

— С этой.— Лиза кивнула на его безымянный палец с колечком.

Саша повернул руку к свету, посмотрел на вспыхнувшее зеленое стеклышко. Потом, покрутив, снял кольцо, протянул Лизе.

— На. Сам делал.

Словно листик; словно высунувшийся из почки первый весенний листик,— вот что лежало на Сашиной ладони, которая казалась теперь Лизе широкой и крепкой, как у настоящего плотника. И, странно, колечко теперь тоже ей нравилось. Она взяла его и примерила на свой палец,— на один, на другой, на третий. Колечко ни на одном не держалось. Она с сожалением вернула его Саше.

— Убавлю и принесу,— сказал он.— Наденешь?

— И буду твоей чувихой?..

Он широко улыбнулся:

— Да!

Лиза низко опустила голову.

— У тебя куртка новая...

— Тебе нравится?

— Нравится...

— В Вологде купил.

На Сашином лице проступило волнение.

— Я целоваться не умею...

— Я тоже,— шепотом ответила Лиза.

Они потянулись друг к другу, прижались щеками.

— Тебе пора домой,— прошептал Саша.— Иди. Я еще постою здесь...

— Нет, ты тоже иди домой. Ты же целый день плыл.

— Я плыл и думал: встретишь или не встретишь?

— А я думала: встречать или не встречать?

— Теперь мы встретились.

— Да...

Они отступили друг от друга. Саша крепко стиснул ее ладошку, и они расстались.

Лежа под одеялом и слушая, как за стеной с тихими всплесками ходит вода, Лиза думала о Саше. Думать о нем, вспоминать его теплую щеку, его сухие царапающиеся губы, мягкие волосы,— было сладко, ново и страшно. Как плыть в темноте...

Она знала, что Саша сейчас тоже думает о ней и, когда незаметно уснула, увидела себя и его плывущими к огромной луне.

## ПЕЙЗАЖ

Поезд остановился.

Из окна тамбура, из его оторванной форточки, был виден узкий, как вставленный в рамку, прямоугольник неба. Огромного, голубого и неподвижного.

А Коля курил. И дым, плавая, подбирался к рамке, переползал через край... И от неожиданности замирал. Потом делал рывок и таял — в огромном и голубом...

Поезд не торопился. Пассажиры его привыкли подолгу стоять в тишине у какой-нибудь Сизьмы, похожей на сироту. У Сямжи, похожей на Сизьму...

И вот он снова остановился.

В девятом общем вагоне уже никто не спрашивал проводника, строгую тетку с озабоченным крестьянским лицом: сколько будем стоять? Ответ знали: «Кому надо, тому видней, сколько будем стоять».

Коля отслужил армию и поступил в институт. В тот институт, о котором думал еще до армии. Экзамены позади, он студент. Через месяц вернется в Москву, и начнется интересная жизнь. Потому что он принят. Он принят!

И Коле захотелось увидеть, как далеко-далеко, впереди поезда, красный огонь светофора погаснет — и вспыхнет зеленый.

Коля потушил сигарету, прошел по всему вагону и высунулся в открытый проем рабочего тамбура.

Проводница снизу, с насыпи, внимательно оглядела его. Скромный, молоденький, в светлой рубашке... А Коля спрыгнул и набрал полные туфли песка. Он потряс ногами, выкидывая песок сквозь дырочки туфель, переступил на твердое место.

— Студент, что ли? — спросила тетка.

— Да, — улыбнулся Коля.

У него была запоминающаяся улыбка: слабовольная... В молодом человеке с такой улыбкой есть или должно быть что-то еще доброе, чистое.

Подошла проводница десятого, плацкартного. В одной руке — свернутый желтый флажок, в другой — кулек с малиной.

— Угощайся, Маруся.

Тетка осторожно, двумя пальцами: указательным и большим — взяла крупную перезрелую ягоду. На заскоруждые пальцы из дырочки ягоды брызнул сок.

Ах, как Коле захотелось малины... Захотелось тоже, двумя пальцами, взять из кулька ягодину. Положить в рот. И почувствовать сладкий знакомый вкус, полузабытый за годы службы. Они прошли для него в пехоте, на севере, по горло в снегу.

Малина!..

Коля подумал, что его лицо или глаза могут выдать его. И, проглотив слюну, он тактично полуотвернулся.

Проводница плацкартного сказала, что малину продает старуха у передних вагонов, — с другой стороны поезда. Коля постоял... Молча поднялся в тамбур. Открыл противоположную дверь. И спрыгнул...

Другая сторона была спокойной равниной в пока-

чивающихся колокольчиках, ромашках и метелках светлого ковыля. Справа и слева равнину обступал редкий лесок: светло-зеленый ельник-подросток. За ельником проглядывала деревня. А за деревней и еще за одним полем синел настоящий лес: взрослый, серьезный...

Коля хотел сбежать по крутой насыпи. Но, запнувшись нога за ногу, упал. Внизу, на траве, вскочил. Кое-как отряхнулся. И побежал...

Он бежал вдоль состава к домику. Там, окружив крылечко, стояли полуодетые люди. А один из них — в бледной застиранной майке — не участвовал в происходящем. Он сидел наверху насыпи и смотрел вдаль. Поверх домика, ельника и деревни...

И все это: галдящие полуодетые люди, старушка в белом платке с корзиной малины, синий далекий лес, зеленое поле и песчаная насыпь,— все это омывалось огромным, голубым и неподвижным.

И Коля остановился...

Мама Коли верила в Бога. Но, живя среди атеистов, говорила о Боге понизив голос, чуть ли не шепотом. Она говорила: «Бог — это то, что в тебе, и то, что вокруг тебя. Будь внимателен: Он рядом. Бог — прямо перед тобой».

Остановившийся, с рассыпанными ветерком волосами, в выехавшей из брюк рубашке, растерянный, он, не отрываясь, смотрел вперед.

Стоял и смотрел...

Длинно, негромко всплыл и вытянулся гудок. Люди, как по команде, отвалили от домика, стали карабкаться вверх, к вагонам. И этот, в бледной застиранной майке; даже этот, сидевший прямо на насыпи и глядевший на синий далекий лес, тоже встал, отряхнул штаны, залез на подножку...

Остался маленький аккуратный домик. Вокруг домика покачивались колокольчики, ромашки, метелки светлого ковыля.

Покачивались, покачивались...

А справа дыбилась опустевшая насыпь с темным, странно торчавшим обрубком поезда.

Состав передернулся, заскрипел. Пошел... Коле закричали.

Он медленно повернулся.

И все увидели, что его лицо, недавно приветливое, стало каким-то чужим. Не пассажирским.

Кричать перестали...

Равнодушно — как будто он местный, как будто он вырос тут, и, значит, это его родина — равнодушно и неторопливо Коля поднялся по насыпи к уходившему поезду. Уходившему без него.

Уходившему прочь.

Уходившему, набирая скорость.

Уходившему, уходившему, уходившему...

Бежали перед глазами светлые полосы на вагонах. Скользили подножки. Он приготовился... Приближались поручни какого-то вагона. Приблизилась. Он схватился за них, повис. Его резко втянули в тамбур.

Опрокинутый на спину, лежа на грязном полу, Коля поднял голову... И слабо, неверяще улыбнулся. Точно в свой!

Тетка с озабоченным крестьянским лицом — это она втащила рывком, за шиворот, Колю — знакомая тетка, стоя боком в проеме тамбура, держала в вытянутой руке флажок. Так, наверное, положено по инструкции.

Чтобы тот, кому надо, кому видней...

Чтобы Т О Т, кто всегда рядом, кто — прямо перед тобой, видел: в общем вагоне — все на своих местах. И все живы-здоровы. Хотя бы на этот летний день...

Сам флажок ни о чем не ведал и ничего такого не понимал. Он был желтым обыкновенным флажком. Но, будучи желтым, обыкновенным, замызганным (даже свернутый в трубочку) он мелко-мелко трепетал на огромном, голубом и неподвижном.

## **ЗИМОЙ РАНО ТЕМНЕЕТ**

Кресло стояло у подоконника. Оно было высоким, а подоконник низким. Старик, садившийся в кресло, поворачивал голову и смотрел в окно. Он видел заброшенный, сжатый домами двор, заметенный снегом... Во дворе десять-пятнадцать деревьев.

Когда старик устраивался в своем кресле, было еще светло. Прямоугольную форму двора подчеркивали две узкие, крест-накрест, тропинки. Они пересекались в центре прямоугольника. По одной из этих тропинок пробегала собака... По другой проходил человек: туда и обратно...

Белый пустой двор оставался белым, пустым.

Спустя час или два начинало темнеть. Для маленького беспризорного парка мягкие ранние сумерки были, возможно, лучшим временем суток. Полотнище снега, размеченное пересекающимися тропинками, утрачивало белизну дня. Оно слегка голубело... Стволы голых деревьев заметно чернели...

Еще через час или два зимующий двор сникал. Сникнув, он выглядел жалким, ненужным. Как старик у окна... И, видимо, от сознания своей обреченности, деревья прятались внутрь себя, источая беспросветную меланхолию.

Синие длинные тени на поголубевшем снегу,— все это пропадало; превращалось в плотное, серое. Тропинки стирались, становились невидимыми из окна. Человек, пробиравшийся полуразмытым, невнятным прямоугольником, был уже без лица. Как деревья, среди которых он проходил, он тоже казался одетым во все черное. Вместо лица — пятно.

Садившийся в кресло старик...

Старик, садившийся в кресло...

Одиноким стариком, занимавшим свое любимое место у подоконника (не столько любимое, сколько привычное) вовсе не думал о том, что вот если бы он был художником, то обязательно нарисовал бы и снег, и деревья...

Нет.

Если он о чем-то и думал, глядя в окно, то совсем о другом. Наверное, о себе... А, скорее всего, о том, что зимой рано темнеет.

Но, может быть, он и об этом не думал. А просто смотрел в окно. И видел заброшенный, непосещаемый двор, заметенный снегом... Во дворе десять-пятнадцать взрослых невеселых деревьев. Прямоугольную форму

двора нарушали две узкие, но отчетливые тропинки. Они пересекались в центре прямоугольника. По одной из этих тропинок пробежала собака... По другой проходил человек: туда и обратно...

Зима как зима. Двор как двор.

Но, глядя в окно, старик испытывал ощущение некоторой странности... Ощущение странности, даже растерянность, которые испытывал, глядя в окно, старик, происходили по той причине, что он поздно — позже других стариков — обратил внимание вот на что... На краткость человеческой жизни. На то обстоятельство, что выражается простенькой фразой:

«Время летит».

Время летит, и натянутое, расстеленное по двору полотнище снега, расстриженное тропинками, уже утратило белизну дня. Поголубело... А стволы голых деревьев слегка почернели.

Старик, опустив лицо и понутив плечи...

Ближе к вечеру, опустив лицо и понутив плечи, старик...

Ближе к вечеру, опустив лицо и понутив плечи, внутренний двор глубоко задумается о предстоящем для старика. Задумается об этом, уходя, уходя куда-то от старика. Уходя и проваливаясь, медленно проваливаясь в тихую, еле слышную музыку: мрачную, строгую.

Проваливаясь в нее, как в пустоту, отрешась от всяких прямоугольников, от всяких пересекающихся тропинок...

И прощаясь со стариком.

День кончился.

Старик встал и включил свет: захотелось чаю. Со стариками бывает такое.

Он видел, он понимал, что день кончился и что приблизилась ночь. Он был в ясном, «здравом» уме, согласившемся с очень многим. С тем, что время летит, жизнь прошла... И что он обыкновенный старик.

Всё это видя и понимая, согласившийся даже с тем, что он видит и понимает не всё, он решил без обиды на жизнь, на людей, на исчезнувшие между ним и людьми тропинки, попить чаю. Просто попить чаю.

Это он и сделал неторопливо... Попил чаю. Крепкого и горячего.

Мысленно произнеся перед этим само собой разумеющееся: «Господи, разреши мне попить с Тобой чаю».

А потом старик выключил свет. И снова стало темно: и за окном, и на кухне, где он сидел в кресле у подоконника. На кухне темнее, чем за окном. За окном немного светлее...

Но день кончился.

Во дворе и вокруг двора наступала ночь.

И старик закурил сигарету...

Он по-прежнему сидел в кресле у подоконника. Кресло было высоким, а подоконник низким. И старик, не подозревая, просматривался из двора. Просматривался пустым двором с его забытыми всеми, стоящими далеко одно от другого, и, в сущности, одинокими, как старик, деревьями. Черными в темноте...

И хотя наступила ночь, деревья из темноты видели... Тоже видели старика.

Вот он в окне. Это он? Да, это он.

Смотрит на них... Прощаясь с ними. Думая о том, что время летит... Жизнь прошла... И что зимой рано темнеет...

Морщинистое лицо. Усталые грустные глаза. Дешевая сигаретка.

Вот он какой, их старик.

*2000 г.*

## ВЛАДИСЛАВ КОКОРИН

### И ПТИЦЫ БУДУТ ПЛАКАТЬ ЗА РЕКОЮ...

\* \* \*

*Они щедры на пепелища  
России мрачные лета.  
Когда не кровь течет — кровища,  
И нет на вороге креста...*

Нелегка ты, родная стезя,  
Коли пепел летит на шеломы.  
Коли кинули грады князья,  
И холопы оставили дома.

Куликово ли поле в пыли?  
То ли глазыньки застит от горечи?  
Коли во поле том полегли  
Все Добрыни, Ильи и Поповичи.

Коли вновь нам погибель пророча,  
Черный воздух крылами пластая,  
Поднимается стая за стаей  
Воронье по славянские очи.

И все явственней, явственней помнится.  
Время давнее ближе и ближе.  
Вот я вижу Мамаеву конницу,  
И сермяжное воинство вижу.

Мы идем в поредевших рядах,  
Все теснее смыкаясь плечами,  
С заклинанием на устах:  
Нас не высечь кривыми мечами!

\* \* \*

Сосед играет на гармонии.  
Играй, соседушка, играй.  
Пускай очнется и застонет  
Мой поздний гость и, через край

Горячий чай переливая,  
Пусть запоеет тебе вослед  
О том, какая вековая  
У нас печаль. И сотни лет

Над россиянином довлея,  
С его рожденья до креста,  
Его души не одолеет  
И не замкнет его уста.

А с каждым днем в той песне вещей,  
Несущей горечи печать,  
Она звучит ясней и резче,  
И невозможно промолчать.

\* \* \*

Не видели мы, как вдали поднялась непогода.  
Не ведали мы, что вторженье ее заслужили.  
В беспечном таком и безветренном времени года,  
Подумаешь, птицы над нашею лодкой кружили.

То к солнцу взмывая, то снова скользя над водою,  
Знобяще кричали отчаянным чаячьим криком.  
Но так и не поняли мы, что в смятении природы великом  
Смятенье встревоженной стаи чревато бедою.

И ветер ударил! И лодка метнулась на зыби!  
И волны лихие забили с размаху в борты.  
И рывкнул мотор, и помчал нас над смертною глыбью.  
Эй, милая! Крепко ли держишься ты?!

Ты знать не могла, ты родилась в безводном районе,  
Ты в страхе рыдала: «Куда же ты, милый, куда?!»  
Ты знать не могла, что в воде никогда не утонет  
Лишь тот, кто умел не бояться ее никогда.

И рушились волны, и сила корежила силу.  
И в реве природы казалось, что я не кричу, а пою!  
И я победил: мы ушли от озерной могилы!  
Но ты не простила жестокою смелость мою...

## ВОЗРАСТНОЕ

Не смотри, моя родная, с укоризною.  
Кто из нас, хотя бы в мыслях, не безгрешен.  
Потихоньку обо мне ты все повызнала,  
И глядишь теперь, как скворчик из скворешни.

Не пугайся, ведь не кот же я, блудилище,  
Не зацапаю тебя коггистой лапой.  
Малой птахой просто посиди еще  
На моей ладони грубоватой.

Ох, не вовремя со мной все это деется,  
Седина уж проклевала всю макушку.  
Но склонилась ты ко мне, как в поле деревце,  
И попал премудрый кот к тебе в ловушку.

Сердце глупое забилося не по-прежнему,  
Глаз бесстыжих бы моих тебе не видеть.  
Одуванчик твой, цветочек, душу нежную  
Не сломать бы, не задеть бы, не обидеть.

Принял, принял я «поправочку по возрасту»:  
Сердце дрогнуло, пора остепеняться.  
И узорчатого девичьего пояса  
Ни рукой, ни даже взглядом не касаться.

\* \* \*

Люби меня, покуда я не твой.  
И над тобой царит очарованье,  
Когда меня впервые за собой  
Поманишь ты. Так сладостно мечтанье  
О не своем, не веданном почти...

Таясь в ночи, безмолвной и безлунной,  
Я прокрадусь, взволнованный и юный,  
В ваш чудный сад. И будет сад цвести!

И птицы будут плакать за рекою,  
И звезды будут падать за плечо...  
И, Боже мой, как сердце горячо,  
Когда оно трепещет под рукою.

Но минет ночь. Ты скажешь: «Я твоя.  
На век, на век!» — А хватит ли навеки?  
(Они не зря сокрыты в человеке,  
За сонмищем страстей,— загадки бытия.)

И если я упьюсь очарованьем,  
И поклянусь на вечную любовь,  
Кто скажет мне, оно родится ль вновь,  
Погибшее сейчас,— взаимное незнанье?

\* \* \*

Ты говоришь, что мне поздно и зряшно любить.  
Ты говоришь, что права мы с тобой потеряли:  
Слишком легко мы любовью с тобою играли,  
Взрослые игры жестоки — отмщению быть!

Хлынет на нас, торопя расставание, дождик.  
Крыши железные ропот поднимут под ним.  
Будет клубиться из труб выползающий дым.  
Будет мальчишка из форточки строить нам рожи.

Будет мне ветер распахивать полы пальто,  
Будет в лицо мне швырять отсыревшие листья.  
Дверь прогремит, но за ней не заплачет никто —  
Слезы небесные, вы по любви пролились.

\* \* \*

Я Бога молю, чтобы ты не вернулась.  
Уносится поезд. В окне мутноватом  
Я видел, я видел, как ты отвернулась.  
Я понял, что значит твой взгляд виноватый.

Счастливой дороги. Да сбудется это.  
Газуй, машинист! На людское участие  
Я честно солгу, как и в прошлое лето,  
Что где-то и с кем-то случилось несчастье.

Не знаю... И знать не хочу, не желаю!  
Что стал я кому-то досадной докукой.  
Но перстень, твой перстень, в ладони сжимаю.  
Он был талисманом — он жжет мою руку!

А поезд несется. Гремит, как корыто!  
Мелькают узлы, чемоданы и ноги...  
И в тамбур последний, свистящий, открытый  
Я перстень бросаю... Счастливой дороги!

\* \* \*

Итак, это было на вербной неделе,  
Когда голубой нарождается наст.  
Любовь повелела, весна ль повелела,  
Но что-то заставило встретиться нас.

В прозрачном лесу, в этом ивовом царстве,  
Мы слушали зовы подснежной воды.  
Кто мог нам сказать о весеннем коварстве?  
Кто мог ощутить приближенье беды?

И кто виноват, что искристой капелью  
Осыпала нас, покачнувшись, сосна?  
Мы этого сами с тобой захотели.  
Не говори, что виновна весна.

Не говори, что за долгой разлукой  
Забудется этот счастливейший бред.  
А, может быть, он будет памяти мукой,  
И неизвестно, на сколько там лет.

\* \* \*

Вы мне предсказали давно золотую судьбу.  
Но так получилось, вы рано ее предсказали.  
Успехам моим позавидовать можно едва ли.  
Успехи мои улетели, как видно, в трубу.

Сижу пред огнем. Залихватски стреляют поленья.  
Веселые угли большой кочергой шевелю.  
Угрюмые мысли не борются более с ленью.  
В доме опустевшем не плачу теперь, не шумлю.

Приходит иное. С ветрами, над гулкой округой,  
Тяжелые птицы летят и летят на жнивье.  
А утром они загалдят и поднимутся к югу,  
Сиротским для нас оставляя лесное жильё.

Летите себе. Дай вам Бог, окрыленные твари,  
Не сбиться с пути, что назначен для вас на века.  
Я выйду вослед, и в промозглой предутренней хмари  
Быть может, в крыло и моя превратится рука?

## НИНА ГРУЗДЕВА

### *ПОТИХОНЬКУ ОТТАЕТ ДУША...*

#### ЗВЕЗДА

*Сергею Алексееву*

Ночь была очень звездной, когда  
Меня мама на печке рожала.  
За трубу зацепилась звезда  
И на крыше моей ночевала.  
Тут отец поспешил на прием,  
Он пупок завязал так умело!  
А звезда своим синим огнем  
Обожгла мою душу и тело.  
И с тех пор так любя мне земля  
И небесные манят чертоги,  
Но с тех пор постоянно болят  
Эти звездные злые ожоги.

*18 сентября 1998*

#### ТВОЕ ИМЯ

Когда уходит в сон сознание,  
Когда печаль не по плечу,  
Я в темноте, как заклинание,  
Вдруг имя тихое шепчу.

Оно звучит, как прежде, свято,  
В нем много веры, много сил.  
Вот так же предок мой когда-то  
Вдруг «Господи!» произносил.  
И, забывая все бывшее,  
Тебя и всех твоих друзей,  
Одно магическое слово  
Храню я в памяти моей.  
Оно во мне живет и дышит,  
Как будто талисман живой.  
Оно сильней, значимей, выше  
Всех наших встреч и нас с тобой.

\* \* \*

От дождя проливного намокли  
Клены, листья резные клоня...  
Что ты так неприветливо смотришь  
Из-под темных ресниц на меня?  
Может, вымолвишь нежное слово  
Хоть одно — и рассеется грусть.  
Коль такой ты сегодня суровый,  
Что ж, сама я тебе улыбнусь!  
Ну вот видишь — светлеет дорога  
И от туч проясняется высь,  
И куда-то исчезла тревога,  
Да и брови твои разошлись.

\* \* \*

Я пó льду шла —  
Был тонок лед.  
Я мед пила —  
Был горек мед.  
Ох, мне идти  
Нельзя по льду!  
И нет пути,  
А все ж пойду!

Ох, мне нельзя  
Тот мед не пить —  
Твои глаза  
Нельзя забыть!  
Нельзя, нельзя...  
Через — нельзя —  
К твоим глазам  
Иду, скользя.  
Сорвусь под лед —  
Ну, так и быть,  
Оставлю мед  
Другой допить!

\* \* \*

Не в силах больше жить,  
Себя преодолевая,  
И черных больше нет,  
Ни ночи и ни дня!  
В преддверие любви  
Войду, как в двери рая,  
И влажный запах рос  
Окутает меня.  
По росам пробегу,  
Как в юности, крылата,  
Березу обниму,  
Оставлю ей печаль,  
И расскажу ей все,  
Чем я сейчас богата,  
Что хочется мне петь  
И ничего не жаль.  
И пусть она меня  
Вовек не понимает,  
На этом вот речном  
Цветущем берегу  
Шепну ей жарко то,  
Что, лишь себе внимая,  
Я от чужих ушей  
И глаза сберегу.

\* \* \*

Все кончено. Ни звука, ни строки...  
Теперь пора задуматься настала.  
Уже под темным ночи покрывалом  
Далекие не светят огоньки.  
И не понять, что с памятью стряслось:  
Все было беспокойно и любимо,  
Но дни прошли, и все промчалось мимо  
И оказалось: ты—случайный гость.  
Да, все проходит. Раз и навсегда.  
Хоть мы вперед ушли еще немного,  
Но все назад от нас бежит дорога.  
И расцветают веснами года.

\* \* \*

Где-то месяц плывет во ржи,  
Где-то плачут от счастья люди...  
Удержи меня, удержи —  
Больше ночи такой не будет!  
Будет просто алым восход  
И закаты — как все закаты,  
Что-то главное в нас умрет —  
Будем сами в том виноваты.  
Очень просто, а не понять,  
Очень просто, а не ответить —  
Почему даже в двадцать пять  
Мы доверчивы, словно дети?  
Видишь — месяц плывет во ржи,  
Слышишь — нет в тишине покоя!  
Удержи меня, удержи  
И погладь по щеке рукою.

\* \* \*

Я хотела с тобой побродить  
Той лесною весенней дорогой,  
Не желая ничем повредить

Тишине этой северной строгой.  
Я хотела с тобой подышать  
Тем пьянящим листом тополиным,  
Не желая ничем помешать  
Этим гибким цветущим рябинам.  
Я хотела послушать с тобой  
Щебет птиц и реки воркованье,  
Посмотреть в небосвод голубой,  
Что свое проливает сиянье.  
Я боялась: не сможешь один  
Ты понять их, как я понимаю,—  
Этих взгорков и этих низин  
И черемух, разбуженных маем.  
Нам бродить бы с тобой допоздна...  
Там и слов никаких нам не надо.  
Но была запоздалой весна.  
Снег все падал, и таял, и падал...

\* \* \*

Все труднее дорога назад,  
Все тесней замыкается круг...  
Я так много хочу рассказать  
О себе, мой единственный друг.  
Так давай соберемся в тиши  
Да у печки вдвоем посидим,  
В сокровенные тайны души  
Мы друг друга давай посвятим.  
Да посмотрим, как угли, шурша,  
Превращаются в пепел седой...  
Потихоньку отгадет душа,  
Станет снова совсем молодой.  
И наступит тогда тишина.  
Только руки друг друга найдут,  
Будут нежно звучать имена  
И слова, что из сердца взойдут.

\* \* \*

Теперь, когда много покоя,  
(Настала такая пора!)  
Бывает, настигнет былое  
И спать не дает до утра.  
И что это сердце так радо  
Я, право, не знаю сама.  
Ведь было-то несколько взглядов  
Да три откровенных письма!  
Из старых бумаг извлекаю  
Я чуть пожелтевший конверт  
И будто бы с пылью сметаю  
Десяток уж прожитых лет.  
И строчки, забытые строчки.  
Взорвав и покой, и уют,  
Меня настигают, и точки  
Поставить никак не дают.  
Как в пору мою молодую  
Сошло вдохновенье само  
И мысленно в даль дорогую  
Пишу золотое письмо,  
Как там, в моей жизни усталой,  
На трудном ее рубеже  
Так тихо и так запоздало  
Душа постучалась к душе.

\* \* \*

Однажды я стану остывшей планетой.  
Умолкнут гудки, тишиною звеня,  
Все бури земные, земные приметы  
Не будут, мой милый, касаться меня.  
И есть от раскаянья верное средство —  
Найти оправданье сгоревшей судьбе:  
Оставлю и я небольшое наследство —  
Я людям оставлю стихи о тебе.  
Опять без тебя день сегодняшней начат,  
И тянутся годы, о встрече скорбя...  
Другая девчонка украдкой поплачет  
О том, как я грустно любила тебя.

## СПАСИБО!

Разреши мне влюбиться в тебя —  
Я хочу напоследок влюбиться.  
Ни тебя, ни себя не губя,  
Я смогу и уйти, и проститься.  
Ах, как сладко с тобою молчать  
И ловить эти теплые волны,  
Мою легкую лодку качать  
И дышать глубоко и привольно.  
И хотя недалек берег твой,  
И не стану искать к нему тропку.  
Ты мне в душу плесни синевой —  
Заночую я в облаке легком.  
А наутро на землю слечу  
Так свободно, легко и счастливо...  
Дорогой, я молчу, я молчу.  
И за это молчанье — спасибо!

## ЛИСТИК

*Нине Чухиной*

Я — не царь, а часть природы:  
Как деревья, как трава,  
И бывают непогоды,  
А сегодня — синева!

Ветерок чуть слышно дышит,  
Нежно щеки холодит  
И деревья не колышет,  
Только листья шевелит.

На душе тепло и чисто.  
День хороший проведя,  
Отдыхаю, словно листик  
После летнего дождя.

## ПРОШЕДШЕЕ

Мне кажется, я так давно живу!  
А жизнь летит, летит, не уставая.  
Прошедшее я вижу наяву,  
А в нем — моя кибитка кочевая.  
Она светло летит через года,  
Она уже не знает расстоянья,  
Мелькают лица, села, города,  
События и встречи, и прощанья...  
Я так свое прошедшее люблю!  
И знаю всё: кто друг, а кто предатель.  
Я отблески мгновений в нем ловлю  
Почти как посторонний наблюдатель.  
Ты моего прошедшего не тронь,  
Не смей входить в него, не зная страха!  
В нем есть всегда величественный трон,  
И слава, и забвение, и плаха.

*4 июля 2000 г.*

## ЧАСЫ ПЕСОЧНЫЕ

О, жизнь моя,— часы песочные,  
Во всех веках необходимые,  
Такие хрупкие, неточные,  
Но, как и жизнь, неумолимые!  
Средь мира бодрствующе-спящего,  
Средь суеты и сора пошлого  
Шуршат песчинки настоящего,  
Спешат из будущего — в прошлое.  
...И день зарею начинается  
Такой роскошной и волнующей...  
А жизнь моя уже кончается...  
А сколько там песчинок — в будущем?

*1 сентября 2000 г.*

## АЛЕКСАНДР ГРЯЗЕВ

### ОТКРОВЕНИЕ ДИОНИСИЯ

*«Земле русская, граде святой,  
Украшай свой дом.  
В нем же Божественный велий сонм  
Святых прослави.  
Церковь русская, красуйся и ликуй!  
Се бо чада твоя Престолу Владычию  
Во славе предстоят, радующиеся...  
...Русь Святая, храни веру православную!  
В ней же тебе утверждение!»*

*(Из службы «Всем святым,  
в земле Российской просиявших».)*

Ночью Иоасафу опять привиделась Дарьюшка. Она явилась ему вся сияющая каким-то неземным светом и такой же светлой улыбкой на юном, почти детском лице. Точь в точь такую, какую она была в тот приснопамятный день их свадьбы.

После венчания он, молодой тогда князь Иван Оболенский, с невестой своею Дарьюшкою приехал из церкви вновь в свадебную палату родительских хором, где молодых ждали званые гости, сваты и свахи, посаженные бояре и боярыни.

Шумела веселая свадьба, и в самый ее разгар, когда дворецкий уже приказал стольникам подавать гостям

третье блюдо — жареных лебедей, никто и не заметил, как в палате появился Христа ради юродивый Исидор по прозвищу Твердислов.

Он подошел к жениху и возложил на голову молодого князя венки из луговых ромашек и васильков, тихо сказав при этом: «На-ка тебе, Иванушка, архиерейский клобук». А невесту Дарьюшку почему-то назвал Рахилью. С тем и ушел со свадебного пира блаженный Исидор.

А молодые после третьего блюда по благословению родителей поднялись в опочивальню, да и забыли об юродивом.

Но все случилось так, как и сказал прозорливый Исидор. Дарьюшка умерла при родах, как та библейская Рахиль, что была женою патриарха Иакова и умерла при родах же сына своего по дороге из Харрана в Вифлеем.

Померк белый свет для молодого князя и, похоронив Дарьюшку, отправился Иван в дальний Ферапонтов монастырь Новгородских пределов к тамошнему игумену отцу Мартиниану, у которого и постриг монашеский принял под именем Иоасаф.

Но сбылось и другое слово Исидора... По благословению Мартиниана ушел чернец Иоасаф из обители ферапонтовской и подвизался на поприще церковном в Ростове Великом, да на Москве, а время пришло и стал он владыкой в Ростовской земле, надев архиерейский клобук.

Да только не заладилось у Иоасафа с митрополитом Зосимой — тайным еретиком на православном престоле. И князь великий Иван Васильевич им, тем еретиком, почему-то благоволил. Оттого покинул владыка Иоасаф самовольно свой архиерейский стол и вновь ушел в далекий монастырь Ферапонтовский. С той поры служит Иоасаф Господу здесь, в тихой святой обители, вдали от сует московских и ростовских...

...Иоасаф поднялся с ложа, подошел к рукомоинику и, ополоснув лицо, встал на колени перед образом Спасителя...

Молился он долго, а когда закончил утреннее правило, вышел из кельи на волю.

Новый день только еще начинался и в сумраке уходящей ночи предстал перед ним белый храм из камня — многолетняя мечта Иоасафа. Недавно возведенный и побеленный храм казался сказочным белым видением.

— Любуешься, отче? — услышал Иоасаф чей-то голос.

Он обернулся и увидел рядом с собой ферапонтовского юродивого Галактиона, старинного насельника монастыря. В рваном армячишке, в лапотках на босу ногу, с холщевой сумой через плечо, юродивый вышел из-за угла кельи и подошел еще ближе к Иоасафу.

Они были старыми знакомцами. Иоасаф помнил как Галактион еще таскал на себе из кельи и обратно старца Мартиниана, когда тот обезножил. К тому же слыл юродивый прозорливым.

— Любуюсь, брат Галактион, — кивнул Иоасаф. — Любуюсь и радуюсь... Радуюсь, что с Божией помощью возвели мы, все-таки, храм сей.

— Так, отче. С Божьей помощью храм возведен... С нею и стоять будет в сей век и в будущий и еще многие веки. И даже тогда храму сему стоять, когда вера православная на Руси гонима будет диавольским воинством и многие храмы порушатся.

Иоасаф был рад словам юродивого и верил ему. Да и как не верить, ежели однажды, когда построили новую трапезную для братии, Галактион изрек вдруг, что стоять, де, ей недолго. Словам юродивого посмеялись, а на следующий день оставил один инок в своей келье горящую свечу и загорелась та келейка, за нею соседняя трапезная и иные кельи монашеские.

Все тогда пребывали в сокрушении сердечном. Один Галактион уговаривал братию не печалиться о земном: все сии строения опять возвести можно. Лишь когда узнал, что в келье владыки остался малый ларец, где хранил он фамильную серебряную кузнь, которую беррег для строительства каменного храма, Галактион, испросив, где стоит ларчик, и, перекрестившись, бросился в пылающую келью. Он вынес ларец и подал владыке. Так что в сем новом храме есть и его великая лепта.

— Не завершен еще храм, брат. Расписать надобно.

— Знаю... Знаю, что позвал ты с Москвы мастера Дионисия. Скоро он к тебе явится.

— Каждый день ожидаю. Храм сей во имя Рождества Богородицы и он обещал расписать его к самому празднику, а времени мало.

— Времени мало,— согласился Галактион.— Но Дионисий успеет. Так Богу угодно. А ты жди и молись. Скоро придет.

Галактион тихо скрылся за углом кельи и пошел только ему ведомой тропкой.

Иосаф постоял еще немного возле храма. Стало совсем светло и наступила пора будить братию.

## II

Теплым солнечным днем по лесной и тенистой дороге, подпрыгивая на ухабах и корнях высоких сосен, скрипя и покачиваясь с боку на бок, двигалась повозка, которую тянула серая лошадь. Телега нагружена рогожными мешками, бочонками, ушатами и прочим скарбом, увязанным лыковыми веревками, а сзади шла, привязанная к телеге, еще одна гнедая лошаденка.

По обочине шагали светлоробордые мужики в крашенных холщовых портах, заправленных в чоботы, и в светлых же холщовых рубахах.

Дорога эта издавна звалась кирилловскою, ибо вела из Вологды в Кириллов монастырь, а шли ныне по ней иконник Дионисий с чадами своими Феодосием и Владимиром.

Уже третье лето бродят они по дорогам Руси к северу от Москвы, переходя от монастыря к монастырю, из одного города в другой, возобновляя старые росписи да иконы и работая новые на белых стенах строящихся храмов. Много потрудились изографы в ярославских церквях и вологодских, а вот теперь идут они в обитель Ферапонта по зову тамошнего игумена Иосафа расписывать новый храм Рождества Богородицы.

Тихо в лесу. Только слышно стрекотанье каких-то пташек, да глухой топот лошадиных копыт.

..Но вот лес кончился и дорога вышла на широкую и светлую луговину.

— Эх, то ли дело зимой, да на санях. Дорожка укатана. Ни рытвинки, ни колдобинки. И ехать гладко — одна отрада,— проговорил старший сын Дионисия Феодосий.

Дионисий окинул взором дорогу и лес.

— Так-то так, сыне,— сказал он.— Да только разве увидишь красоту такую. Глянь, сколько разного цвета... В лесу, на лугу, на небе... И света.

— Но и у зимы своя краса.

— Что и говорить. Земля наша в любое время хороша. Не нами ведь сказано: «О, светло-светлая и украсноукрашенная земля русская! И многими красотоми удивлена еси: озерами многими, реками и кладезями местночтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами чистыми, полями дивными, садами обильными, домами церковными и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими, честным народом православным. Всего еси исполнена земля русская. О! Православная вера христианская!»... Да ты сам погляди, Феодосий,— широко размахнул руками Дионисий.

Дорога, меж тем, вышла на высокий угор, с которого перед взором путников открылись вдруг широкие дали, высокое голубое небо с белыми облаками, крутой берег излучины реки.

— Господи!.. Как дивно-то!..— произнес Феодосий.

— Красота,— согласился Дионисий.— Всякий раз при виде ее душа в радости пребывает, хотя я многие разные красоты видел.

— Далеко ли еще до обители феррапонтовской?

— Под вечер будем там... А пока остановись, Володимир,— сказал Дионисий младшему сыну.— Попопдничаем тут. Распрягайте, а потом Володимир по воду, а ты, Феодосий, по дрова. Я же все тут ладить почну.

Лошадей Владимир пустил на волю и с деревянными ведрами пошел к реке, Феодосий направился к лесу, а Дионисий, выбрав место для костра, поставил трехногий таган под котел.

Феодосий скоро возвратился, неся в руках охапку хвороста и сухоподстоя.

— А где Володька? — спросил он отца.— Опять, поди, камушки на берегу ищет?

— Может и так... Тебе али худо от этого?

— Так ведь время идет. Обедать пора, а у нас еще и вода не поставлена...

— Успеем... Зато чую я, паря, что из Володимира ладный изограф выйдет. Чую, сердцем чую.

— А из меня, отче? — немного обиженно спросил Феодосий.

— Вы оба чада мои,— ответил Дионисий.— Ты постарше его и изограф из тебя, можно сказать, уже получился... Не обижайся, сыне, но у Володимира души к делу поболее будет. Да и помягче она у него, душа-то.

— А у меня, стало быть, душа худая?

— Да не худая, а другая. Разные вы... Но так и быть должно. Так по воле Божьей сделано, чтобы люди разные были, хотя и от одних отца и матери рождены... А тебе, Феодосий, жениться надо... Да, да... Вот придем на Москву и оженю тебя. Под венец, под венец тебе пора. Тогда и кровь успокоится и помыслы твои больше о трудах ради Господа будут, а не о земных страстях...

— Воля твоя, отче.

Феодосий наломал хворосту, разжег кресалом трут, а затем пучок сухой травы со мхом. Костер вскоре занялся, а из-под берега появился и Владимир. В деревянных ведрах плескалась вода, в подоле холщовой рубахи парня, заткнутом за пояс, угадывалась какая-то поклажа.

— Вот, тятя, на берегу нашел,— поставив ведра, сказал Владимир и вытряхнул на землю из подола какие-то камни.

Дионисий взял один, потом другой, потер их друг о друга и, смочив руку водой, провел камнем по ладони.

— Вохристый камень,— сказал Дионисий.— Таких, Владимир, в здешних местах великое множество. Особо на полях и по берегам озерным. Те поля после дождичка даже цвет свой меняют.

— А эти куда, тятя? — спросил Владимир.

— Так береги, сыне. В деле сгодится. Вохры много

надо будет натирать... Давно мы не писали по свежим стенам. Не запомнили, как надобно цвета составлять? А, Феодосий?

— Что ты, батя,— чуть даже обиженно отозвался старший сын, наливая воду в котел.— Да разбуди ночью и то скажу.

— Ну, ладно,— согласился Дионисий.— А ты, Володимир, не забыл на что вот эта самая вохра идет?

— Ежели надо празелень составлять темную.

— Так... И с чем смешать надо?

— К вохре надобно чернил добавить.

— Добро... Ну, а ежели празелень светлую составлять? Феодосий, ответствуй.

— Се дело не шибко хитро. Бери часть желти, да прибавь две сини, али три — вот и будет празелень светлая.

— Верно,— довольный Дионисий опять повернулся к Владимиру.— А теперь ты ответствуй: что пишут празеленью? Ведаешь?

— Ведаю,— кивнул тот.— Пишут рясы святых угодников, землю, дерева.

— А какие ты еще цвета помнишь? — не отставал от сына Дионисий.

— Лазорь, голубец, сурик, киноварь, черлень, брягиль, ражгирь, шижгирь, санкирь, рефть, дичь, ярь,— бойко протараторил Владимир.

— Ты гляди-ка, а! — воскликнул Дионисий.— Молодец, сыне! Даст Господь и ты будешь ладным изографом. А большего мне у Господа и просить нечего... Ну, а что сидим? Пора и кашу варить.

...Горел костер, кипело, булькая в котле, подвешенном на тагане, варево. Феодосий собирал прямо на зеленой траве у костра обеденный походный стол. Он разостлал широкую белую холстину, достал из берестяного туеска деревянные ложки, холстяной же мешок с хлебом, достав из сундука, подал отцу. Тот сам стал нарезать ломти.

...И вот в широкой деревянной мисе дышит паром, пахнувшая дымком каша.

— Помолимся,— сказал Дионисий, когда все собрались вокруг скатерти.

Сыновья встали рядом с Дионисием на колени, и он первым осенил себя крестным знаменем.

«Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремени, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животное благоволения», — проговорил Дионисий слова молитвы и осенил крестным же знаменем походный стол.

Все взяли ложки, и Дионисий, постучав по краю мисы, разрешил начать трапезу. Только начали, а Владимир вдруг чего-то увидел.

— Глянь, тятя, идет кто-то, — показал он в сторону леса, из которого недавно вышли сами.

— Богомолец, поди, — коротко глянув на приближающегося путника, сказал Дионисий.

В лаптях на босу ногу, в холщовой рубаше, подпоясанной бечевкой, с тощей серой котомкой за плечами, путник поравнялся с обедавшими изографами.

— Мир вам, добрые люди, — поклонился он Дионисию с сыновьями, сняв с головы войлочный колпак. — Хлеб да соль.

— Спаси, Господи, — ответил Дионисий. — Мир и тебе, добрый человек. Не откажись разделить трапезу с нами.

— Благодарствую, — опять поклонился путник и, сняв котомку, подошел к костру.

— Володимир, — сказал Дионисий, — добавь кашицы из котла.

Путник, помолившись, достал из котомки свою, завернутую в тряпицу ложку и присоединился к трапезе.

— Откуда будешь и куда путь держишь, мил человек? — спросил Дионисий.

— Зовут Егорий, а иду, можно сказать, из самой Москвы. Странствую по святым местам.

— Давно ли с Москвы?

— Ушел отоль по осени. Молился и трудился в ярославских да костромских монастырях. По весне в монастырях вологодских пребывал. Теперь вот иду в здешние святые места преподобных Кирилла и Ферапонта... А я чей хлеб да соль ем?

— Да и мы, можно сказать, из Москвы. Только давно ушли оттуда. Третье лето, как по монастырям обитаем. Иконники мы, изографы. Дионисий я, это чада мои Феодосий да Володимир.

Странник удивленно глянул на Дионисия.

— Да нежели Господь сподобил меня в скитаниях моих стретить самого Дионисия-мастера?! Воистину неисповедимы пути твои, Господи!

— Что, разве слышал обо мне?

— Да как не слышать-то. Вся православная Москва тебя знает, иконам, тобою писанным, поклоняется. Да разве только Москва? Был я на Волоке Ламском в то лето у игумена Иосифа, так и там тебя помнят и почитают.

— Да... Писали мы у него иконостас в церкви святого Успенья.

— И в иных монастырях, где я был, о тебе тоже поминают часто. Все желают иметь иконы письма Дионисиева, именуют первым среди иконников наших.

— Спаси, Господи, на добром слове, Егорий... Рад бы послужить Господу во всех монастырях Руси Святой, да не хватит на то жизни моей. Вот послал Господь работу в обители ферапонтовской. Там после пожара храм каменный владыка Иоасаф поставил. Вот и идем его расписывать. А что на Москве? Какова там жизнь? — вдруг спросил Дионисий.

— Да что на Москве... Все то же. Суета сует. Народу — ступить некуда. Особо в базарные дни, а уж в праздники и говорить нечего. Вся Москва в храмах и на улицах.

— Что и говорить: славна Москва калачами да колоколами. Вот и идут люди со всех сторон хлеба-соли покушать да красного звона послушать. Я и сам люблю Москву в праздники, а особо на Красном торгу у Кремля куда как хорошо.

— Хорошо-то хорошо...

— А что? Ныне не так?

— А ныне на Москве опять еретики новгородские явились, жидовствующие... Смушают народ православный.

— Но ведь те еретики осуждены на святом Соборе лет десять тому. Иных опять в Новгород Великий отправили на покаяние, иных торговой казни предали, кнутами били, в заточение послали, многие тогда в Литву и немецкую землю бежали. А поп Денис, глава их, в тюрьме козлом заблеял и помер.

— Видно затаились до поры, а ныне опять выползли, как змеи, слуги сатанинские. Разброд в умах людей сеют.

— О чем ныне говорят?

— Да все о том же, что и ранее... Будто бы нечего православному люду иконам кланяться. И Господа и Его Пречистую Матерь хулят. Говорят, что нет и Святой Троицы, а Христос, де, еще и не родился. Тот же, кого мы Христом называем, не Бог, де, а простой человек... Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, прости мя грешного,— перекрестился Егорий.

— Стало быть сызнова проповедовать свою ересь начали воины сатанинские. Сызнова в дьявольские сети свои ловят они души простаков. В здешних местах такого нет. Только на Москве такая зараза.

— Вот я и ушел отголь, чтобы здесь в святых сих местах укрепиться в вере нашей православной.

— Ну, что же... Ты правильно сделал, что пошел в сии края, Егорий. Тут в монастырях живут и молят Господа великие умы русские. Пойдем с нами в обитель ферापонтовскую. Там игуменом Иоасаф, бывший когда-то владыкой Ростовским. Там же владыка Спиридон — давний обличитель ереси.

— Благодарствую, Дионисий... Только я сперва в Кириллов пойду монастырь. Там старец Паисий живет, так я с ним побеседую, а потом и к старцу Нилу Сорскому в его пустынь схожу. На обратной же дороге в Ферापонтовскую обитель зайду. Так что, даст Господь, свидимся.

— Ну как знаешь, Егорий. Дело хозяйское.

— Прощай, Дионисий. Благодарствую за хлеб-соль. Спаси, Господи, тебя и чад твоих.

Егорий поклонился всем в пояс.

— Прощай, Егорий,— поклонился в ответ Дионисий и повернулся к своим чадам.— Собирайтесь в путь!

И когда увязывали на телеге поклажу, и когда запрягали, и когда тронулись в путь — все время думал Дионисий о словах Егория про еретиков, вновь на Москве объявившихся... И вновь разбредили душу те слова...

...Ересь сия явилась в русские пределы лет уже тридцать тому в Новгороде Великом. Тамошние бояре все еще надеясь жить с Москвой врозь и по своим законам, призвали к себе на княжение литовского князя Михаила Олельковича. И в его свите неведомо как пришел в Новгород некий жидовин киевский именем то ли Захария, то ли Схария.

Он то и стал прельщать диавольским образом умы новгородцев, начав с какого-то попа Дениса. Говорил тому, что есть, де, один Бог именем Яхве. Ему, мол, и поклоняться надо. Тот увещеванию и прелести сатанинской поддался, да еще и привел к Схарии попа Алексея. Оба отступили от истинной веры православной и стали неистовыми учениками Схарии, а тот позвал к себе из Литвы еще двух своих соплеменников, и зашаталась умы новгородского священства. По этим пришлым еретикам и ересь стала зваться ересью жидовствующих. Но это было потом, когда их обличили.

Они же по Ветхому Завету жить призывали. Потому, де, спасутся только иудеи, как народ Богом избранный. Так выходило по закону Моисееву, так записано, говорят, в их иудейских книгах.

Но по Новому Завету — Евангелию, Господь наш Иисус Христос даровал благодать спасения всем народам, а не одним лишь иудеям. И сии слова тоже написаны в книгах.

Есть от чего смущаться умам православным, вопрошать и недоумевать. Вот как думать, ежели по мысли еретиков Иисус Христос не был Сыном Божиим, а простым человеком? Выходит, что и Пречистой Его Матери вовсе никогда не бывало? Нет, не зря зашаталась умы русские.

Прельстили еретики многих своим чародейством, предсказанием судеб человеческих по звездам и прочим колдовством. Прискорбно, что в ересь обратились священники, диаконы и клирики церковей новгородских, внушив ее своим близким, женам и детям даже. Дело дошло до того, что многие пожелали обрезать, да Схария запретил, сказав, чтобы те еретики жидовствовали тайно, а на людях были бы христианами.

Сделав же свое злое дело и посеяв семена сатанинские на земле русской, Схария со своими помощниками исчез из Новгорода неведомо куда, а ученики его и проповедники ереси понесли ее в иные города и веси.

В личинах христианских предстали однажды те еретики перед самим государем и великим князем Иваном Третьим Васильевичем, бывшем в Новгороде. Говорили они с государем книжно и складно, да так, что он забрал к себе в Москву попа Алексея и поставил его протопопом в Успенский собор, а попа Дениса в Архангельский. Поверить в это трудно, но сам великий князь помог свить гнездо жидовствующих еретиков в самом Кремле московском.

Так бы из года в год и творили слуги сатанинские свое черное дело, да однажды в Новгороде Великом пьяные еретики принародно хулили Господа и Пресвятую Богородицу. Их схватили, и все тайное стало явным.

Сии слуги диявола отрицали Божественное Рождество Христово, святые иконы и Крест православный, поносили святых отцов и святое Евангелие и многое еще делали, о чем и язык не поворачивается говорить.

Ему, Дионисию, сам игумен волоцкой Иосиф, обличитель ереси, сказывал о многих мерзостях, еретиками творимых.

Так, один еретик Самсонко, в Новгороде же, пришел к попу Науму и, увидев икону Пречистой Божией Матери, велел ее разбить о землю. Тот взял да и разбил. Потом просфорами они кошку кормили, а тот же Наум в другой раз плевался на иконы. Иные же, бывало, обливали иконы помоями и, стоя на них, мылись.

«Нет такой хулы и такого ругательства,— говорил игумен Иосиф,— которых не изрыгнули бы эти нечестивые

еретики мерзкими языками своими на Единородного Сына Божия, на Пречистую Его Матерь и на всех святых».

Прознав обо всех таких богомерзких делах еретиков, творимых уже многие годы, бывший в то время в Новгороде Великом архиепископ Геннадий ожесточился на них сердцем и встал на защиту веры православной. Еретиков изобличал и приводил к покаянию. Многие тогда покаялись ложно, многие на Москву сбежали, но архиепископ Геннадий описал все их мерзостные дела и послал грамоту самому великому князю Ивану Васильевичу.

А к тому времени и в самой Москве в ересь впали даже родственники великого князя и его приближенные, а среди них сноха великокняжеская Елена-волошанка да государев любимец, дьяк посольского приказа Федька Курицын с братом своим Волком.

Грамота новгородского архиепископа открыла глаза великому князю на многие дела еретиков, и он повелел собрать всех архиастырей земли русской на святой Собор.

На Соборе еретики были осуждены и наказаны: иные к покаянию приведены, иные в тюрьму брошены, иные сами разбежались, а многих великий князь отправил в Новгород к архиепископу Геннадию для исправления.

А тот, встретив осужденных отступников за несколько поприщ от Новгорода, повелел всех их посадить на лошадей лицом назад, надеть на головы их берестяные колпаки бесовские с мочалами да соломенные венцы, а на колпаках повелел написать, что это «воины сатанинские».

В таком срамном виде и водили их по городу перед всем честным народом православным для назидания, дабы впредь такого не бывало, ибо ересь жидовствующих пострашнее латинской будет...

...И вот, хоть и десять лет минуло с той поры осуждения еретиков, а они вновь как змеи повыползали из нор своих и опять принялись бесовским умышлением хулить веру православную...

...Сам ведь Дионисий тоже пострадал от еретиков через того же самого дьяка Федьку Курицына, когда,

работая в кремлевских храмах, недобро отзывался о жидовствующих отступниках. Дьяку донесли, а тот нашептал непотребные слова самому великому князю, и тот опалился на Дионисия.

Вот почему Дионисий ушел с Москвы, где после смерти любимой супруги Евдокии не было в душе его покоя, а мысли и рукам работы.

Вот почему он ходит и трудится по монастырям северных городов и весей за сотни верст от людных московских улиц.

...Белый храм на высокой горе открылся неожиданно, когда под самый вечер дорога вывела путников в чистое поле. Солнце уже опускалось по небоскату за дальний лес, освещая новую церковь, которая походила на белую лебедь, плывущую над озерными водами, темными окрестными лесами и низкими домишками монастырского села.

— Вот и добрались, слава тебе, Господи,— остановился Дионисий и первым перекрестился.

А скоро телега иконников въезжала в ворота монастыря, у которых встретил их сам игумен Иоасаф.

— Ладно ли добрались, брат Дионисий? — спросил он.

— Спаси Господи, владыка. С Божьей помощью все хорошо и ладно,— ответил Дионисий и первым подошел под благословение.

За отцом подошли к игумену и сыновья.

— Господь благословит,— осенив каждого крестным знаменем, произнес Иоасаф и вновь обратился к Дионисию.— Все добро свое снеси вон в ту келью у самого храма. Там и жить будешь. Сыновья же твои рядом в другой келье.

— Благодарствую, владыка,— поклонился Дионисий.

— Брат Досифей,— обратился Иоасаф к одному из стоявших неподалеку иноков.— Покажи отрокам их келью да помоги им... Потом отслужим благодарственный молебен. Поблагодарим Господа за доброе окончание твоего пути к нам, Дионисий.

...Молебен в небольшой деревянной церковке был краток, и вскоре Дионисий сидел в светлой и чистой келье игумена Иоасафа.

— Когда будешь начинать, брат Дионисий? — спросил игумен.

— Вот все урядим, владыка, тогда, благословясь, и приступим. Поутру затворю известь, ежели яма готова.

— Готова и досками изнутри обшита. Песку тоже привезено, как ты и наказывал. Плотники твоего слова ждут.

— Плотникам завтра же надобно будет леса внутри храма ставить. Чада мои завтра же цвета составлять начнут, краски тереть. Известь, как затворим, дня через три готова станет. Тогда и начнем...

— Не жалеешь, Дионисий, что пришел к нам в сей далекий край? — вдруг спросил Иоасаф.

— Нет, владыка. Во многих местах Руси побывал я... Служить Господу здесь — великая радость. Много праведников и молитвенников тут было до сего дня. Мне ли сожалеть о чем-то.

— Ты давно ушел с Москвы. А там что? Все еще нгде тебе писать?

— Есть где, да не зовут. Заметил я, что бояться стали звать меня иконы писать и в храмах работать.

— Что так?

— Узнали, что опалился на меня сам великий князь Иван Васильевич.

— Чем же ты самого государя прогневил?

— То давно уже было... Позвали как-то меня в кремлевскую церковь Спаса-на Бору иконы подновлять, а образ Спасителя заново писать. Подновить-то подновил, а в писании иконы настоятель отец Варсонофий отказал.

— Отчего же?

— Оттого, говорит, что платить нечем. А я-то знаю, что не в том причина... Язык мой — враг мой... Совсем недаром так говорят.

— Язык?

— Да... Говаривал я вслух, что власть в Кремле московском захватили еретики жидовствующие, а князь

великий их своей рукой покрывает. Те же, видя такое заступничество, хулили Господа и Пречистую Его Матерь, глумились над иконами и Святыми мощами. Как такое терпеть можно? И все сии дела творились после Собора, еретиков осудившего. Вот о сих моих словах и донесли до ушей великого князя.

— А как ты узнал о сем?

— Сперва стал замечать, что меня как бы сторониться начали. Потом стали отказывать в писании икон. Заказывать совсем перестали... Позвал в ту пору меня к себе в монастырь игумен волоцкой Иосиф расписывать новый храм Успения. Вот он-то мне и сказывал, что в беседе с ним государь серчал на те мои слова и зело опалился... И вот я тут по зову твоему, владыка.

— Здесь в обители нашей не только ты будешь от еретиков пострадавший. Тут владыка киевский Спиридон, вологодский владыка Филофей и я, грешный. Мы все рады, что ты с нами будешь.

— Спаси Господи, владыка.

— А что до росписи храма нашего Рождества Богородицы, то у меня сомнений нету. С такими помощниками-сыновьями да с Божьей помощью тебе, первому на Руси изографу писать будет в радость. А мы будем молиться за тебя и дело твое богоугодное.

— И у меня сомнений нет, владыка... Но хочу я на дело одно у тебя благословения испросить.

— Говори.

— Надумал я перед началом столь великого дела сходить к старцу Нилу на Сору-реку.

— Что ж... Дума твоя похвальна. Сходи, сходи к старцу. Дорогу знаешь ли в пустынь его?

— У тебя тут я не в первый раз, а вот у старца не бывал еще.

— Добро, коли так. Дам я в проводники тебе инока Досифея. Он к Нилу скорые тропки знает да и там поможет... Старец Нил — человек строгих правил. Не всякого к себе пустит. Но ты, думаю, зря не сходишь.

— Благодарствую, владыка... Пойду со старшим сыном Феодосием.

— С Богом. Благословляю тебя и твоего чада сходить

к старцу Нилу. Получить благословение от него — великое благо. Сие означает укрепление во всяком деле.

— Спаси, Господи. А еще глядел я сейчас владыку Спиридона, да что-то не увидел.

— Ушел он в Кириллов монастырь к старцу Гурию да к отцу Вассиану для беседы.

— Побеседовать с владыкой и мне бы надо... Встретился нам в дороге сюда человек один, странник. Тоже к Нилу идет и к старцам кирилловским. Укрепиться в вере хочет. Так он сказывал, что на Москве ныне опять еретики смущают народ православный.

— Ведаю о том. Владыка Геннадий новгородский грамоту прислал о новых еретиках, Спиридон и пошел к старцам. Вот вернется, тогда обо всем и потолкуем.

— Прослышал я, что он и нашим ремеслом владеет. Хочу просить его помощи. Работы много, а дней до Рождества маловато осталось.

— Спиридон поможет. Мы с ним толковали о сем... К твоим же чадам я иноков приставлю на послушание краски тереть. Так ли я мыслю?

— Спаси, Господи, владыка. Все так.

— Ну, тогда с Богом,— встал с лавки Иоасаф.

### III

Едва заметная тропка, поросшая травой и угадываемая только лишь иноком Досифеем, петляет то по низкой и мокрой луговине, то поднимается на песчаный взгорок с молодыми сосенками, то ныряет во влажную тень лиственного леса.

Всю дорогу от ферапонтовской обители путники шли молча и почти не останавливались. Лишь когда тропа вывела их на широкую опушку небольшого соснового бора, откуда стали видны вдруг все окрестные дали, Досифей остановился и, перекрестившись, произнес:

— Слава тебе, Господи... Вон за тем лесом... Передохнем маленько. Теперь уже скоро.

И Досифей первым сел прямо на землю.

— Дремучая тропа,— сказал Дионисий, присаживаясь рядом.— Видно, мало сюда людей ходит.

— Мы шли по нашим тропам, а в скит к старцу Нилу обычаем ходят из Кириллова монастыря. Я там тоже хаживал. Там дорога торнее.

— Много ходят?

— Больше по праздникам. Помолиться у них в скиту. Да недужных привозят. А так братия там живет строго. Одинок...

— Слышал и я, что у старца Нила правила строгие.

— Отец Нил сам и устав писал. Ведь он даже на Святой горе Афонской побывал и все познал, всю жизнь тамошнюю иноческую. Ныне такого строгого жительства нигде больше на Руси нет. Только тут, у старца Нила.

— Строже, чем в монастыре?

— Строже... Живет братия в безмолвии по кельям. Вместе только в своей церкви собираются на всеночное бдение по воскресениям да по большим праздникам. А так безмолвствуют, книги переписывают.

— Книги?

— Да... Старец книги с Афона принес, из Царьграда, с Москвы. В Кириллове монастыре тоже книг много. Старец Нил в пустынь свою неграмотного человека не возьмет. Вот и переписывают, трудятся. Тем и живут.

— Сказывали мне, что в церкви у них не украшено.

— Отец Нил даже даров не берет. Украшения в церкви и в одеждах у них почитается за грех. Едят и пьют тоже мало. Живут молитвою,— сказал Досифей и поднялся.— Пошли с Богом.

Тропа опять завела путников в лес, и они снова шли по ней молча до тех пор, пока среди деревьев не появился просвет, и они очутились на краю дремучей чащи.

— Ну, вот и пришли, слава Богу,— остановился, перекрестившись, Досифей.

Перед взором путников открылась большая поляна. За нею виднелась речушка, на берегу которой за жердяной оградой они увидели деревянную церквушку. Вокруг нее по всей поляне были разбросаны избушки-кельи.

— И церковь и кельи стоят на холмах каких-то. Отчего так? — спросил Досифея Феодосий.

— Место тут низкое и мокрое. Под церковь и под кельи землю таскали в коробьях,— пояснил Досифей.

— А старца Нила которая келья?

— Вон там,— показал рукой инок,— у излучины Соры у них меленка стоит. Видишь?

— Вижу,— кивнул Феодосий.

— Вот за ней, в сторонке у самого леса и есть келья Нила.

Подойдя к пряслу, Досифей с Феодосием отодвинули верхние жерди, и все перелезли через ограду.

Тишина кругом была поразительна. Не слышалось ни человеческого голоса, ни лая собаки, ни крика птицы, хотя путники стояли, казалось, среди большого поселения, сейчас будто вымершего.

— Пойду в сторожку,— сказал Досифей спутникам.— У них тут в сторожах мирянин Игнат, который часы уставляет, печи топит, по кельям ходит. Он и старцу о нас скажет.

Досифей зашел в избушку, стоявшую рядом с церковкой, и вскоре показался оттуда вместе с мужичком невысокого роста в крашенном кафтане, серых портах и в лыковых лапотках. Подойдя к Дионисию и Феодосию, Игнат снял колпак и молча поклонился.

— Игнат нам церковь отворит, а сам к старцу ходит,— сказал Досифей.— А мы Господу помолимся после дальней дороги.

Игнат поднялся по ступеням к дверям церкви, отворил их, опять молча поклонился и неторопко пошел к дальней келье скита...

...После краткой молитвы в церкви Дионисий с Феодосием и Досифеем сидели на завалинке у сторожки, когда появился Игнат.

— Отец Нил зовет вас,— сказал Игнат.— Но сперва велел накормить, напоить, а потом и к нему жаловать.

Путники поднялись в крыльцо к рукомоинику-утице, висевшему под перекладиной. Игнат скрылся за дверью и тут же вернулся с рушником-платом...

...После трапезы все пошли по тропке от сторожки и еще издали увидели у дальней кельи старца с белой бородой и в черном монашеском одеянии. Отец Нил сам вышел встречать пришедших к нему путников.

Дионисий первым приблизился к старцу под благословение.

— Что привело тебя к нам, брат Дионисий? — тихо спросил старец.

— Побывать у тебя, отче, давно хотел. Поговорить надобно... А со мной сын мой старший Феодосий да инок Досифей.

Нил благословил спутников Дионисия.

— Место сие маловходно для мирских людей. Хорошо ли дошли к нам?

— Спаси Господи, отче. Досифей своими тропками довел быстро.

— Тогда надо бы вам отдохнуть с дороги.

— Нет, отче. Мы сегодня же и назад уйдем. Игумен ферापонтовской обители Иоасаф благословил меня сходить к тебе, отче, за учительным словом.

— Нешто он сам таким словом не владеет? Да и ты давно слывешь человеком многомудрым. А что я? Достоин ли давать учительное слово? Ведь и вы, и вся моя братия — единомысленные мне, а учитель у нас один — Господь наш Иисус Христос.

— Все так, отче, — согласился Дионисий. — Только оказавшись по воле Божьей в сих благословенных местах, счел я нужным для себя поговорить с тобой и душу свою успокоить.

— Ну, коли так, проходи в келейку, — сказал Нил и первым шагнул за порог своей избушки.

Дионисий, следуя за ним, дал знак рукой Феодосию с Досифеем, чтобы те не входили и ждали его тут...

...Келья старца Нила показалась Дионисию на удивление просторной и внутри была похожа на храм. Напротив входа у стены стоял небольшой иконостас, перед которым горела лампада. Иконы были простые, без украшений. Узкие оконца выходили на две стороны кельи. В углу слева стоял простой же, ничем не покрытый стол, на котором лежали книги, стопа чистых

листов бумаги, глиняная чернильница и глиняная же перница с белыми гусиными перьями.

Перед иконостасом — аналой с раскрытым на нем Евангелием. Подойдя к аналою, Нил стал молиться. Дионисий помолился тоже. Затем старец сел у оконца на лавку и пригласил гостя.

— Садись, брат Дионисий,— сказал он.— Стало быть ты ныне в ферापонтовской обители у Иоасафа-игумена?

— Так, отче. Позвал он меня расписывать новый храм Рождества Богородицы.

— О новом храме слышал... Ну, что же, дело сие богоугодное, а ты в сем деле искусен, как никто другой на Руси ныне. И иконы твои и стенная роспись твоя мне ведомы и похвалы достойны.

— Не скрою, отче, душе моей лестны слова твои.

— Говорю о том, что сам видел... Но что же тогда терзает душу твою? О чем говорить хочешь?

— Слышал я, что ты, отче, не жалуешь убранства в храмах и росписи.

— Нет, Дионисий,— не согласился старец.— Много я на своем веку видел храмов в землях православных. Многочудна роспись и убранство собора святой Софии в Царьграде, храмов киевских, новгородских, московских и иных на Руси Святой. Все они знатно украшены, и я, молясь в них Господу, радуюсь вместе со всеми... А вот здесь, в своем скиту, я запрещаю всякие убранства. Тут в безмолвии живет со мной братия, и мирских людей нет. Иноческое же наше житье — в умной молитве Богу, в спасении души через молитву Господу. Потому украшения в нашей церкви и в наших келейках — все сие лишнее.

— А в монастырях общежительных? — спросил Дионисий.

— Человек, принявший монашеский обет, умирает для жизни мирской. Потому ничего не должен иметь... Апостол Павел говорил: имея пропитание и одежду, будем довольны тем... Так было и так должно быть всегда. А в монастырях многолюдно, суетно и праздно. Там стяжают богатство. Принимают великие милостыни: деревни, земли вместе с работниками.

— Что же плохого в милостыне, отче?

— Всякий инок живет своим трудом. Лишнего не из одежды, не из пищи ничего не должно быть, как у человека, умершего для мира. А в монастырях стяжают, и сей грех сребролюбия противен вере нашей и ведет к безверию.

— Но если монастырская обитель бедна будет, то как она поможет людям, вокруг ее обитающим: голодным, жаждущим, погорельцам? Как же сможет сама подать милостыню?

— Накормить голодного, напоить жаждущего, исцелить больного — все сие есть долг наш христианский. Так же и в монастырях. Да только монашеские обители не для того созданы, а дабы исцелить души людские, напоить жаждущего духовно. Господь наш Иисус Христос, апостолы и святые отцы указали нам путь спасения человека через спасение души его. Потому-то милостыня иноков — духовное слово утешения. А для сего самим инокам, согласно заповедям Божиим и писаниям святых отцов, надобно жить в постоянной умной молитве и в безмолвии. Потому и сам я ушел из Кириллова монастыря в тихое место. Со мною книги, кои читаю и правлю, насколько сам разумен. Со мною Святое Писание, жития святых отцов, по коим сверяю жизнь свою ради Господа, что надо — переписываю. Тем и живу.

— А как же быть простому люду православному? Как жить, отче?

— По Святому Писанию. Там слово Божие. И всем все сказано. Пусть следуют заповедям Христовым и словам святых отцов, как делаю я по сей день.

— Но не у всех православных есть святые книги, отче.

— Но есть молитвы... Их надо знать всякому и творить молитву денно и ношно. Молитва приближает человека ко Господу. Она — путь к спасению. Святые отцы учат: силой ума своего ищи то место, где помещено сердце твое — источник всех духовных сил. И мысленно всем нутром своим молись. Только такая молитва истинна, которая делается душой.

— Понимаю, отче, что молитвою человек укрепляется в вере. Но на Москве вот, говорят, еретики опять

объявились. Смущают умы православные, зовут к неверию... Не помог, видно, Собор их осудивший; ни наказания, ни покаяния. Владыка Геннадий новгородский кирилловской братии грамоту о том прислал. Видно, что опять к Собору на еретиков зовет.

— Сие мне ведомо.

— Так как же быть с еретиками — врагами веры нашей?

— Еретики не ныне появились. И их надобно словом Божиим призывать к покаянию. Так учит нас Господь, так заповедовали святые отцы. Иоанн Златоуст говорил: недостойно нам убивать еретиков. Сие противно вере Христовой... А владыка Геннадий и волоцкой игумен Иосиф жаждут казнить еретиков смертью, жечь и резать. Но ничего нет крепче слова Божиего. На том стоит и стоять будет вера наша православная. Милосердие — сила. Так заповедовал нам Господь, и мы не можем поступать иначе.

— На днях я начинаю труд свой в церкви Рождества Богородицы. Прошу твоего совета, отче, и благословения.

— Дела твои ради Господа известны, Дионисий. Пиши стены храма Божиего и образы так, чтобы люди и через сто, и через двести, и пятьсот лет знали и ведали, как мы в нынешние веки славили Господа нашего Иисуса Христа и Матерь Его Пресвятую Богородицу. Ведали бы и радовались. И в радости сей пребывали вечно, покуда живы вера православная и Русь Святая.

— Благослови, отче...

Дионисий встал и опустил перед старцем на колени. Тот тоже поднялся и осенил Дионисия крестным знаменем.

— Благословляю тебя, брат Дионисий, на труд твой во славу Божию...

Дионисий поднялся с колен, поклонился старцу и вышел из кельи. Ожидавшие его Досифей и Феодосий, увидев выходящего из дверей избушки Дионисия, поднялись и подошли под благословение к вышедшему вслед за Дионисием старцу, а потом все вместе зашагали по тропке к забору жердяной ограды скита.

Отойдя немного, Дионисий остановился и обернулся. Старец Нил стоял у порога своей келейки, опираясь на суковатый посох. Он издали осенил крестным знаменем путников. Те ответили ему низким поклоном.

#### IV

В келье Иоасафа перед иконами стояли и молились два бывших владыки — Спиридон киевский с Филофеем вологодским да Дионисий-иконник. Сам Иоасаф, стоя впереди всех, читал молитву, и его голос заполнял всю келью.

— Аминь,— вслед за игуменом повторили все и, перекрестившись, уселись на лавки вдоль мшистых стен.

— Собрал я вас, отцы, для большой думы,— начал разговор Иоасаф.— Владыка Геннадий новгородский прислал кирилловской братии и нам всем грамоту. А ходил к старцам владыка Спиридон. Он и скажет о том.

Спиридон пригладил бороду и оглядел всех, бывших в келье, внимательным и, казалось, всепроникающим взглядом.

— Владыка Геннадий пишет нам в своей грамоте, что в Новгороде Великом и на Москве опять явились еретики жидовствующие. Все так же, как и до прошлого Собора было, тех еретиков осудившего. Не хватило, видно, того запрещения.

— Знамо, не хватило. Еретиков ведь тогда в темницы побросали немногих. Кающихся и вовсе простили. А многие в Литву утекли,— сказал владыка Филофей.

— Ныне опять,— продолжал Спиридон,— эти змеи подколодные головы свои поднимают. Опять те же безобразия чинят: иконы топчут и оскверняют, на Господа хулы наводят. Все покаявшиеся вновь за свое богомерзкое дело взялись... Вот и пишет владыка Геннадий, что нужен новый Собор на еретиков,— Спиридон взял в руки бумажный свиток и стал читать,— «...который бы всех еретиков проклял, да и тех, к кому они в согласие вступали, или кто о них печальник и кто ни буди последовать их прелести — тех бы всех проклятию

предали. Дабы о вере с ними речей не водили. Токмо для того учинить Собор, что их казнить — жечь и вешать. Станьте крепко на этом».

— Владыка Геннадий и Иосиф волоцкой еще перед тем Собором звали к тому же. Не послушались, — сказал Иоасаф. — Вот и посеяли ветер, а теперь пожинаем бурю.

— Тогда сам великий князь за них заступился, говоря, что мы, де, не поставлены от Бога на смерть осуждать. А грешника, де, надо обращать к покаянию, — подал голос Дионисий.

— Да нам надо еретиков не осуждать, а обличать! — горячо заговорил Спиридон. — Они не просто грешники, но отступники от Бога и враги веры православной. Как же так! Ежели царя земного кто хулить станет, того наказывают, а еретики Царя Небесного хулят, и их всего лишь обращают к покаянию! Ну нет! Огонь для них и меч! Нужен новый Собор на еретиков! Нужен!

— Владыка Геннадий о том нас и вопрошает. Зовет на Собор нас и старцев Паисия да Нила, — сказал Иоасаф.

— Паисий ныне на Москве обитает, — заметил Спиридон.

— А к старцу Нилу брат Дионисий ходил ныне, — кивнул в сторону иконника Иоасаф. — И об еретиках у него разговор с ним был.

— Был, — подтвердил Дионисий.

— Ну и что же Нил?

— Старец Нил сказал, что он сам и живущая с ним братия еретические учения проклинают. То записано у них в уставе. А что до наказания еретиков, то он говорит словами Иоанна Златоуста: недостойно нам убивать еретиков, но приводить их к покаянию.

— И этот туда же! — почти вскричал Спиридон.

В стоянии против еретиков Спиридон не знал себе равных. За непримиримую борьбу с ними его даже прозвали «неистовым». Это ведь он написал «Изложение о православной истинной нашей вере» и «Послание против жидов и еретики», где попенял и великому князю за его благосклонность к отступникам, за то, что подался их обману. Новгородский архиепископ Генна-

дий называл Спиридона «столпом церковным», а великий князь отправил в ссылку...

— Мы тоже речения Иоанна Златоуста знаем. Не он ли говорил: «Раз была у нас речь о хуле на Сына Божия, хочу просить одного только подарка, чтобы наказывали хулителей». Да, он говорил и о том, что нельзя нам убивать еретиков. Нам — значит священству и всему церковному причту. Казнить еретиков должны государи и князья — мирские власти,— твердо закончил свое слово Спиридон.

— Еретики зашли так далеко в своем грехе растления душ христианских и в поношении Господа, что только покаянием их не образумишь и веру православную на Руси не спасешь,— поддержал владыку Спиридона епископ Филофей, тоже ссыльный ревнитель православной веры.— Так что я тоже за огонь и меч для еретиков. Ибо сказано святыми отцами задолго до нас: «Кто удостоился святого крещения и отступил от православной веры, и приносил языческие жертвы, тот подлежит казни». А что до того, что нам не следует убивать еретиков, то дело сие и вправду в руках мирской власти великого князя.

— У него еретики в чести,— сказал Дионисий.— Как же ему поведать обо всех их новых богомерзких делах?

— На Соборе и сказать. Как говорили богоносные отцы наши на всех семи Вселенских Соборах,— изрек Иоасаф.— Вспомните Собор, где святые отцы сказали цесарю Юстиниану: «А ты, царь, сделай так, если в зрелую пшеницу попадут остатки языческого и иудейского еретического зла, то искорени их как сорняки». А святой и праведный Константин Великий обличил злобесного Ария. Потом Феодосий Великий собрал Собор против еретиков и осудил их на позорное заточение... Да разве все перечислишь... Говорить надо прямо: спасем веру православную — спасем и Русь Святую. Погибнет вера — погибнет и Русь.

— О сем отписать надобно в ответной грамоте владыке Геннадию да игумену Иосифу на Волк Ламский. Тот к великому князю вхожий,— предложил Спири-

дон.— Да просить надо, чтобы розыск начали немедля, а то пойдет ересь по всей Руси.

— Да, дело изобличения еретиков многотрудное будет,— согласился Иоасаф.— С виду они люди православные, а нутро еретическое, говорят одно, а в мыслях и делах подлинных иное.

— Ну так что же,— заметил Филофей,— видно опять пришло время постоять за веру православную на благо Святой Руси, на благо потомков наших.

Иоасаф первым поднялся с лавки.

— Стало быть на том и порешили: писать владыке Геннадию и игумену Иосифу, что мы все за Собор на еретиков, а кого Собор обличит, того наказывать огнем и мечом, как отступников и врагов веры Христовой. О том просить великого князя нашего и государя Ивана Васильевича,— сказал, завершая разговор, Иоасаф.

— Так.

— Так.

— Так,— ответил каждый из сидящих в келье.

— А когда брат Дионисий почнет росписи творить? — спросил Спиридон изографа.

— У меня все готово к тому,— ответил Дионисий.— Как владыка Иоасаф благословит, так и начнем. Хоть завтра.

— Ну, что же, завтра и благословлю, коль все готово,— сказал Иоасаф.— В праздник великий Преображения сам Господь с нами пребывать будет.

— Тогда у меня есть еще слово,— опять произнес Спиридон.

— Говори, владыка,— кивнул Иоасаф.

— Еретиков изобличали и пятьсот, и тысячу лет назад. И эти изобличения дошли до нас... Не рассказать ли и нам для тех, кто будет жить после нас, как и мы их обличали?

— Как рассказать? — не понял Иоасаф.

— Написать на стенах храма. Не буквицами, конечно, а изобразить на фресках.

— И как сие ты зришь, владыка? — спросил Дионисий.

— А вижу я написанные все семь Вселенских Соборов, где решались дела церкви и судили еретиков. Пусть

потомки наши и через триста, и пятьсот лет знают, как мы стояли за чистоту веры православной, как правильно славили Господа нашего Иисуса Христа и Пречистую Его Матерь.

— Тут правда твоя, владыка. Вселенские Соборы похожи на наши против еретиков.

— Вот и я о том. Вижу я, как сидит на троне царь Юстиниан, как и у нас князь великий Иван... Вокруг него отцы церкви в белых одеждах, а по другую сторону еретики в темных платьях... Или возьмем видение Петра Александрийского, которому Господь наш явился, пострадавший от еретика Ария, в рваном одеянии. Прошу брата Дионисия позволить мне руку приложить к делу сему.

— Отчего же не позволить. Я того и сам хотел и от помощников таких никогда не отказывался. Только нам надо обговорить дело сие. Ведь не бывало еще на Руси, чтобы на стенах храмов писали такое.

— Да, это правда. Но, ведь, и ереси таковой не бывало. И мы, стало быть, свое слово скажем против ереси потомкам нашим,— заключил разговор Иоасаф.— Все хорошо, что делается ради Господа... Завтра отслужим молебен и станем трудиться во славу Божию и веры православной. Господь да благословит всех... Помолимся, братья...

Иоасаф повернулся к образам келейного иконостаса. За ним поднялись остальные и начали творить молитву.

## V

С береговой крутизны к озерной воде спешил юродивый Галактион, а за ним следом прыгала целая ватага деревенских мальчишек, дразня Галактиона и громко крича при этом.

— Галактиоша, песенку спой!

— Шалды-булды, чики-чибалды, талды-балды, бух, бух, бух,— дразнила юродивого ребятня.

Но Галактион им не отвечал. Только иногда вдруг бросался на толпу мальчишек, и те с визгом убегали от него. Галактион же смеялся.

Подойдя к воде, юродивый снял с плеча холщовую суму и рваную однорядку.

— Галактиоша, че, ты вши заели? — закричал самый бойкий из ребятишек.

— А тебя, Федька, сегодня высекут, — сказал Галактион сорванцу.

— Ха-ха-ха, — засмеялся тот, — блохи скачут, вши кушают, клопы спать не дают!

— Высекут, высекут... Помяни мое слово, — сказал Галактион и подошел к самой воде.

Босой, в рваной длиннополой рубахе и всклокоченными на голове волосами, юродивый, воздев руки к небу, что-то зашептал и стал медленно входить в воду. Ребята замолчали и с любопытством на него глядели. А Галактион омылся, окунулся и вскоре вышел из воды, блаженно улыбаясь и поглаживая свою тощую грудь. Затем он неспешно выжал рубаху и порты.

— Галактиоша, — подошел к юродивому самый маленький. — Дай гостинчика.

— А-а, Васенька, — ласково улыбнулся Галактион. — Сейчас дам, дам.

Галактион раскрыл суму, достал просфорку и протянул малышу, погладив того по голове.

Сразу же подошли к юродивому другие ребятишки, и для каждого Галактион достал что-то из своей холщовой сумки: кому просфору, кому кусочек пирога, кому пригоршню сушеной свеклы или яблоко.

Один Федька все еще стоял в стороне, не решаясь подойти к Галактиону. Юродивый его заметил.

— На и тебе, Федя, яблочко освященное.

Федька несмело подошел и протянул руку.

— Только больше ни над кем не смейся, Федя. Ладно? Не будешь?

Федька в знак согласия покачал головой.

— Ну и ладно, ну и хорошо, — ласково проговорил Галактион.

— А меня сегодня высекут? — спросил Федька.

— Тебя, Федя, сегодня сечь не будут, ежели вы теперь все пойдете со мной.

— Куда, куда, — загалдели ребята.

— В монастырь. Там скоро будет молебен и крестный ход... Новый каменный храм возведенный видели?

— Видели, видели...

— Его сегодня московские изографы расписывать начнут чудными красками. Вы сие видеть должны. Пошли.

И Галактион первым зашагал на взгорок к монастырским стенам. Окруженный ребятней, юродивый прошел через распахнутые ворота ферапонтовской обители, где сегодня в праздничный день Преображения Господня было необычно многолюдно.

Владыка Иоасаф стал служить молебен на начало великотрудного дела росписи нового храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревянной монастырской церковке.

Среди молящейся братии и прихожан стоял и мастер-иконник Дионисий со своими сыновьями.

Глядя на светлые одежды изографов и светлые же их лица, видно было, что они готовы всем существом своим послужить во славу Божию и веры православной.

Под пение псалмов все после молебна вышли из церкви и крестным ходом во главе с Иоасафом пошли к новому, сияющему белизной каменному храму, который среди деревянных строений монастырской обители и сейчас казался дивным дивом.

Обойдя вокруг храма и окропив святой водой со всех четырех сторон его стены, Иоасаф с братией остановился перед ступенями высокого входа в церковь и, кратко помолившись, стал подниматься к дверям...

...Внутри храма было тесновато от возведенных лесов. Дионисий с сыновьями, надев холщовые фартуки, подошли под благословение к Иоасафу. Затем они прошли в алтарную нишу с высоким полукруглым верхом и по лестнице поднялись под самое полукружье, где все было готово к началу работы. Там еще до молебна иконники положили левкас ровным, гладким слоем и тонкими, еле видимыми чертами наметили прорись будущего образа.

Дионисий перекрестился, взял кисть, легонько достал из сосуда немного краски и начал свое действие. Сосуды с красками, которые подавали ему сыновья, часто менялись в руках мастера-изографа.

Он писал то пурпурной охрой, то светлой, то празеленью, или голубцом, или лазурью. Писал скоро, уверенно, и прямо на глазах людей, стоящих в храме, вдруг появился лик Пресвятой Богородицы, светло и печально взирающей из-под купола апсиды на молящихся людей. Все случилось неожиданно и быстро и было похоже на явление. Стоявшие в храме люди, увидев лик Пречистой, стали креститься, а хор монахов запел акафист Божией Матери.

Игумен Иоасаф вместе со всеми произносил слова торжественного и радостного песнопения: «...Радуйся, цвете нетления, радуйся, венче воздержания, радуйся, воскресения образ облистающая, радуйся, ангельское житие являющая. Радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются вернии: радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози. Радуйся, во чреве носящая Избавителя плененным, радуйся, рождающая Наставника заблудшим. Радуйся, Судии праведного умоление, радуйся, многих согрешений прощение. Радуйся, одеждо нагих дерзновения, радуйся, любы, всякое желание побеждающая. Радуйся, Невесто Невестная»...

Иоасаф вместе со всеми глядел на чудную работу изографов, и несказанная радость наполняла его душу.

Рядом с собой он увидел юродивого Галактиона, глаза которого тоже светились радостью.

— Ну, что, брат Галактион, чудно ведь и хорошо?

— Хорошо, отче... Хорошо и долговечно...

Иоасаф согласно кивнул Галактиону и опять направил свой взор под полукружье алтарного свода, где на глазах всех рождались святые образы в многочисленных красках.

«Господь милостив,— думал Иоасаф.— И как бы не было тяжело в сей многотрудной жизни, сколько бы человек не переносил страданий, Господь не оставит его... Надо только верить, терпеть, молиться и славить Господа... Воздвигая Божьи храмы и вознося в них молитвы, мы всякий раз воскрешаем Господа и побеждаем злосесные силы.

Ибо сказано: «Да воскреснет Бог и расточатся враги Его».

## АЛЕКСАНДР ПОШЕХОНОВ

### *МИР ДЕРЖИТСЯ НА СЛОВЕ*

\* \* \*

*Памяти Игоря Северянина*

В веселых буднях мартовской капели  
Легко живут веселые стихи.  
В них буквы свиристелями запели,  
В них чувствуешь дыхание апреля  
И легкие намеки на грехи  
Вселенской, многоликой, шумной плоти  
Во имя рода и во имя сна,  
Название которому — весна,  
Где музыка сердец посвящена  
Весне, любви, свободе и работе!

\* \* \*

Я-то думал — листья опадают...  
Оказалось — силы пропадают.  
Покидают скопом, бесновато,  
Вот уж руки-ноги, словно вата...

Становлюсь я ватным человеком,  
Не бегу, задрав штаны, за веком,  
А иду, на пятки нажимая,  
Обреченность тела понимая.

Иногда пригрезится-приснится,  
Что я быстр и весел, как синица,  
Что от боли сердце не страдает —  
Просто листья в парке опадают.

Возликую и душой и телом,  
Воспарю к немислимым пределам...  
И пойду походкою спешащей  
По листве, загадочно шуршащей.

По земле пойду, как по Вселенной,  
Догоняя миг благословенный,  
Миг, когда, представив душу Богу,  
Тело пылью ляжет на дорогу!..

\* \* \*

Кто скажет,  
Что за время на дворе?  
Кто оправдает  
Реки слез и крови?  
Мне верится —  
Мир держится на Слове.  
Вам кажется,  
Что сила — в словаре...

Но как бы ум холодный  
Ни блистал,  
И как бы ни блудили вы  
Словами,  
Стоит душа монашкой  
Над вами,  
В горсти сжимая  
Совести кристалл!

\* \* \*

Ночь сомнений и греха,  
Ночь пророчества —  
Одиночество мое,  
Одиночество...

Пред иконой опущусь  
На колени я,  
Но напрасно видеть тщусь  
Свет моления.

Только синее стекло,  
Стены серые,  
Время тихо утекло  
Вместе с верою.

Трепещу сухим листом,  
Каюсь истово,  
Но не высветлить постом  
Века мглистого.

Вместо сердца — ворота,  
Бездорожие...  
И в упор глядит с креста  
Кара Божия!

## ПАСТУШЬЕ ЖИЛИЩЕ

Скребется мышь в углу  
за печкой.  
А в доме сухо и тепло.  
Висит наборная уздечка,  
Лежит под лавкою седло.  
Висит тулуп,  
такой старинный,  
Что даже пахнет стариной.  
На лавке кнут ременный  
длинный  
И туесок берестяной.  
Хозяин ладит топорище,  
На мышь незлобно пес  
ворчит...  
Пастушье скромное жилище

Три огонька зажгло в ночи.  
Три огонька на суходоле,  
За ними — целое село,  
Как будто стадо в чисто  
поле  
По травку сочную зашло.

## ОСЕННИЙ ЛИСТ

Ольховый день уныл и мглист.  
Октябрь. Лихое время года.  
Я лист. Всего лишь желтый лист,  
Гонимый в осень непогодой.

Во мне еще живет тепло  
Большого дерева, и все же,  
Что было, то, увы, прошло,  
И неизвестный мне прохожий  
Башмак заносит надо мной...

Одной надеждой ободряюсь:  
В грязи постылой и родной  
Среди собратьев затеряюсь!

## ПОСОХ

Полюбил тишину и покой  
С васильками в лазоревых росах,  
Научился держать под рукой  
Отшлифованный временем посох.

В этом посохе чудо-магнит  
Заключен. Силой доброй и странной  
Он меня спозаранок манит  
И влечет за седые курганы.

Сколько тропок и разных дорог  
Пролегло без греха и навета!  
Сколько путников — в срок и не в срок —  
Затерялось, загнуло где-то.

Но во все времена и века  
Будут путникам божьей наградой  
Поле русское, лес и река —  
Три вершины душевного лада!

## АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ

### *ВЫСОКИЙ ПАРЕНЬ С ИМЕНЕМ ИЮНЬ*

#### Я ПЛЫЛ ВИЛЮЕМ

Сияло небо  
Холодно и ярко,  
Глядела в воду  
Тихая тайга.  
Я плыл Вилюем  
В надувной байдарке,  
Неслышно  
Обгоняя берега.

Сквозила синь  
Сквозь листья  
Рыжей осени,  
И выдра,  
Отряхнувшись впопыхах,  
Поспешно удирала  
Вверх по осыпи  
С трепещущей рыбиной  
В зубах.

А на угорах,  
Крыльями забухав,  
Полупудовой тяжести  
Полна,

Нет-нет  
Да и взрывалась  
Копалуха,  
Дремучая,  
Как мох на валунах...

Менялись  
Очертанья берегов,  
Летели листья  
Желтые, как осы.  
Республика  
Алмазов и снегов  
Прокручивала снова  
Кадры «Осень».

И так плылось  
В соседстве  
С этой тишью,  
Без анекдотов,  
Сплетен,  
Без пальбы,  
Что было,  
Если вслушаешься,  
Слышно,  
Как прорастают  
Поздние грибы.

И жить хотелось  
Благостно и просто —  
Без суеты  
И мелочных забот,  
Закрывать глаза,  
Забросить  
К черту весла  
И плыть,  
Куда кривая приведет...

Уже давала  
Знать себя усталость,  
Но рядом,

Параллельно,  
Обок с ней,  
Во глубине меня  
Мое менялось  
И становилось  
Чище и светлей.

А я все плыл,  
Светло и одиноко,  
Глазами — даль,  
Губами воздух пил.  
И становилось видно  
Так далеко,  
Как будто раньше  
Я незрячим был.  
Тогда в глуби  
Пугающим наплывом,  
Удачу и позорище суля,  
Большая тема,  
Как большая рыба,  
Качнулась,  
Плавниками шевеля...

\* \* \*

О. Смирнову

Пейзаж по-северному прост.  
Не грустный,  
Но и не веселый.  
Аэропорт.  
Висячий мост.  
По склону,  
Пасекой, поселок  
«Удачный».  
В узких берегах  
Река посверкивает сине.  
И, сколько видит глаз —

Тайга  
В июльском горьком дыме.

Горит тайга.  
А чем помочь?  
Спасти пылающие души?  
Услышит Бог —  
Направит дождь  
И к сентябрю, глядишь,  
Потушит.  
...Якутия. По ней брести —  
На сотни верст  
Не сыщешь станций.  
Она одна в себя вместит  
Сто Бельгий  
Или же шесть Франций.

Не скажет  
Самый мудрый маг,  
О чем бормочут ее недра.  
Ее космический размах  
Под стать  
Космическому небу.

Для старожилов —  
Вид как вид.  
У новичков, замечу прямо,  
Страшок  
Под ложечкой щемит  
И на устах порхает:  
«Мама!»

Что привело их в дали эти?  
Иметь в избытке пети-мети?  
Семейной жизни неудача?  
Желанье подвигов? Удача?  
Запомнился один чудак:  
«Зачем приехал?» —  
«Просто так».

\* \* \*

Мы этот грунт  
«Грызем» на пару с Васькой —  
У парня  
По два фунта кулаки.  
Как автоматы,  
Наши молотки  
Весь день трещат  
Над впадиной айхальской.

Идем в обед,  
Усталы, краснокожи,  
В шашлычную,  
Где нам обед дают,  
Где каждый раз,  
Всегда одно и то же;  
То обсчитают нас,  
То не дольют.

Скалой и солнцем  
Все во мне пропахло.  
Забыл перо.  
Осваиваю лом.  
И за день  
Солью ставшая рубаха  
Стоит у койки  
Высохшим колом.

\* \* \*

*П. Вечерину*

О город мой,  
Алмазная столица,  
Одетая  
В нейлоновый туман!  
Три тыщи верст —  
Китайская граница,

Две тыщи верст —  
Великий океан.

Стоишь в глуши,  
Семи ветрам открытый,  
Тайгою и снегами  
Взят в кольцо.  
И северным дыханьем  
Ледовитый  
Нам дышит  
В бородатое лицо.

И с каждым новым  
Паводковым маем,  
Облюбовав  
Бочонок или плот,  
Большой водой  
В низовья уплывает  
Еще один  
Прожитый нами год.

Проходит время,  
Буйствуя, как весны,  
Меняя облик матери-земли...  
Когда-нибудь  
О нас расскажут звезды,  
К которым мы  
Земной дорогой шли.

\* \* \*

*О. Филиппову*

В морозной мгле  
Январского Якутска  
Трудней дыханье  
И быстрее шаг.  
Короткий день мелькнул,  
Как заяц куцый,

И сделал скидку  
За Хатын-Урях.  
Почти на ощупь  
Двигались такси,  
Шоферы к стеклам  
Носом припадали.  
И золотые,  
Словно караси,  
Автобусы  
В тумане проплывали.  
Мороз был зол,  
Пар изо рта был густ,  
И все же  
Не хотелось торопиться:  
Я, как художник,  
Открывал Якутск,  
В туманный мех  
Одетую столицу.

\* \* \*

*И. Туманову*

Вновь июнь.  
И снова сон не в сон.  
Небо  
Ни на час не засыпает.  
Ходит солнце  
Рыжим колесом,  
Золотые спицы рассыпает.  
А Земля  
Пыхтит,  
Как бочка с брагой.  
Вот-вот ухнет,  
Днище раскроя.  
Гуси тянут  
Радостной ватагой  
В отчие холодные края.  
Отгремит весенняя охота,

Запотеет тундра  
В сто потов...  
И пойдет бессонная работа  
Трав, деревьев,  
Солнца и цветов.  
Разлетятся  
Птичьи стаи в пары,  
Ночь светла,  
Ничто вокруг не спит.  
И пойдут суда по Анабару,  
Повезут табак,  
Бензин и спирт.  
Постоят,  
Разгрузятся  
И вновь  
Вниз уйдут,  
Чтоб загрузиться где-то...  
Быстро,  
Как курортная любовь,  
Пролетает северное лето.

\* \* \*

Брели по скверам  
Черные деревья,  
Стоял апрель  
В надеждах и слезах,  
Когда пришла  
Девчонкой из деревни  
Моя любовь  
С хитринкою в глазах.  
И увела.  
Среди берез и ветел  
Так невесомо  
Тело на руках.  
Летели дни.  
Зеленый майский ветер  
Уже давно  
Ходил без пиджака.

Уже любовь,  
Перешагнув пороги,  
Вбегала в лето  
Звонко и легко.  
И белые березовые ноги  
Манили сами  
В тень березняков.  
Но где-то  
За пределами прогнозов,  
В еще не обозначенных лесах,  
Сбивались в стадо  
Маленькие грозы  
И близилась  
Июльская гроза.  
И вот однажды,  
Рукава до локтя,  
Приплыл неслышно,  
Загорел и юн,  
По озеру  
На узкой легкой лодке  
Высокий парень  
С именем июнь.  
По берегу,  
По просеке,  
По лугу,  
По пляжно загорающим  
Ногам  
Он шел к тебе,  
Протягивая руку.  
А я тебе  
Лишь сердце предлагал.  
Сжимали руки  
Большее богатство —  
Четыре ветра,  
Вольные, как жизнь...  
Я понимал:  
За счастье нужно драться,  
Точнее —  
Тоже руку предложить.  
Любимая!

Пусть память не тревожит  
Твоих  
Когда-то очень близких глаз.  
Все правильно:  
Он проще и моложе,  
А я на сотни лет  
Мудрее вас.  
Будь счастлива,  
О прошлом не скорбя.  
А мне опять  
За песней к солнцу мчаться.  
Будь счастлива.  
Я потерял тебя,  
Чтоб подарить тебе  
Земное счастье.

## МИХАИЛ КАРАЧЕВ

### *...ВОСКРЕСИТ НАШИ РУССКИЕ ЛИКИ*

\* \* \*

В темном автобусе дальней дорогой  
Я замечтался о многом, о многом...

Что эта грусть — подпевая мотору,  
Душу доверить ночному простору?

Так без конца бы все ехать и ехать.  
Славно мы жили — оставили эхо.

Быль позабудется, пыль понесется,  
Только родимое эхо вернется.

Эх, разогнаться бы нам, разлететься,  
Где-нибудь вынесет — некуда деться!

Елки все сумрачней, темень все гуще,—  
Знать, потянулись родимые пуши.

Где-то за лесом, в глухом уголке,  
Дом ли родимый блеснул огонечком?

Чьи голоса не слышать за мотором?  
Чьи это взоры с печальным укором?

Что это крутится как в лесопилке?  
Остановите меня у развилки!

Дайте сойти в неоглядную мглу,  
Дайте родимому верить огню.

...В темном автобусе дальней дорогой  
Я замечтался о многом, о многом.

Что обожгло меня как уголочком?  
Что там блеснуло в ночи огонечком?

\* \* \*

Пойдем да поедем старинной стезею  
В край деда и бабки.  
Поплачем, польем покаянной слезою  
Могильные грядки  
На отчем погосте, где сгорбились елки,  
Где крестная сила  
Всю кровную память для нас втихомолку  
Навек сохранила.  
Поплачем, польем покаянной слезою,  
Да выпьем-вспомянем.  
Всю русскую боль вековечной судьбою  
Потуже затычем.  
Зачем нам шататься по белому свету  
В безумной тревоге?  
Зачем покаянья искать без ответа  
На чуждом пороге?

\* \* \*

Заволакивают темные тучи округу.  
Для тебя, пока видеть могу,  
Поднимаю прощальную руку,—  
Уплывает паром за реку.

Наши жизни река размывает.  
Время делится пополам.  
Как тепло тебя освещает  
Рождества Богородицы храм!

Одинокому пенью простора  
Отозвался я смутной тоской,—  
Повела меня тайная воля.  
...Вот уж пыль поднялась за рекой.

И когда я с пустым чемоданом  
Торопливо на берег взбегу,  
Обернусь — как в чужом мирозданье,  
Хлещет дождь на твоём берегу.

\* \* \*

В сером селенье  
В осеннем дому  
Слушаю долго  
Осеннюю тьму.  
Мрачным ворчаньем  
Пугает округа.  
Не дозовешься  
Любимого друга.

Что ж ты, мой милый,  
Не спишь, не зеваешь?  
Сел у окошка  
И смотришь-моргаешь.  
Глуше, все глуше  
В округе леса.  
Чьи еще поздние  
Ждешь голоса?

Стая гусей пролетит, прогогочет.  
Сердце смолчит.  
Но откликнуться хочет!  
Мир обнимает тоскливая нега.  
Жизнь затаилась до первого снега.

## ПОВЕСТЬ

Плону я на пустые делишки,  
В деревушку лесную уеду.  
Буду ягоды брать у медведя,  
Буду спать в деревянном домишке.

Среди ночи проснусь от причуды:  
Будто в доме запела посуда,  
Свет зажегся, ты вещи бросаешь...  
Обними хоть, пока не растаешь.

Ты ко мне добралась на попутке,  
К черту сбросила грязные туфли,  
Дверь тебе отворилась без стука,  
Всколыхнув занавески из тюля.

Разрывая круги одиночеств,  
Среди черной клубящейся ночи  
Расстоянье пустое меж нами  
Освещаем нагими телами.

Мы уснем, как потухшие свечи.  
Пусть над нами стущается вечность,  
Вольный ветер свистит за стеной,—  
Сладко спать у любви за спиной.

И покуда в часу предрассветном  
Бедный домик раскачивает ветром,  
Петухи не играют побудку,—  
Мы, беспечные, спим непробудно.

Мы когда-нибудь выйдем из плоти,  
Нас отпустит закон тяготенья.  
Отыщи меня в мертвом полете —  
Я заплачу тебе из забвенья.

\* \* \*

Не унижай меня неправдой обо мне,  
Непониманьем праведным не мучай.  
И как понять, что вечное — не случай.  
Вот почему и тягостно вдвойне.

О, если б мог на равный разговор  
Тебя я вызвать из твоей гордыни —  
Какой бы бездной отозвался хор,  
Далекий и безмолствующий ныне!

Так мира мертвого спадает оболочка,  
Хотя б на миг, но явственно понять,  
Что вновь дана бессмертная отсрочка  
Еще любить, еще тебя обнять.

## ИВОВЫЙ КУСТ

Ивовый куст  
Зелен и густ  
Один посреди двора.  
Тихие шелесты  
Сохнувших уст  
Слушаю до утра.

Ночи осенние  
Стали темней  
И холодней к утру.  
Как-то спокойно подумалось мне:  
«Я, как и все, умру».

Северный ветер  
Над сонным селом  
Скоро погонит птиц.  
Утром слышней  
За оконным стеклом  
Звоны осенних синиц.

В стареньком домике  
Топится печь.  
И самовар зашумел.  
Можно ли этот покой уберечь?

...Ивовый куст облетел.

\* \* \*

Разыгралась метель ввечеру.  
Заметается снегом ограда.  
Я не знаю и сам — почему,  
Но во мне громяют парады.

Вот мой дом. Вот мой стол. До утра  
Горяча моя печь в уголке.  
И на кончике этом пера  
Притаились напевные строчки.

Пусть метелица воеет, метет,  
Заметает пути и тропинки.  
Я уверен теперь наперед —  
Мы пройдем эту жизнь без заминки.

Видно, выбор у жизни таков,  
Видно, участь такая в награду,—  
Не кручинься, Фатей Шипунов,  
Не погибли твои Кедрограды.

Не тебе ли вчера воссиял  
Китеж-град или Устюг Великий!  
Чудодейная сказка сия  
Воскресит наши русские лики.

Широко разгулялась кругом,  
Завывает метельная ночка!  
Да не страшен метельный погром —  
Не погасит в дому огонечка.

\* \* \*

На кладбище заброшенном,  
Среди родных равнин,  
Придавлен смертной ношею,  
Молчишь ты, русский сын.

Мрачнеют мысли вольные:  
И вот когда умрут  
Старухи богомольные —  
Сгниют кресты могильные?  
Дороги зарастут?

Ни оклика родимого,  
Ни голоса далекого,  
Ни пенья поднебесного,  
Ни скорби из земли?

Где наши слезы нежные?  
О родина, прости  
За наши безмятежные  
Жестокие пути.

\* \* \*

Навсегда в мирозданье ночном  
Покрываюсь осмысленным сном.  
Уплывай, моя брменная плоть,  
По теченью, как брошенный плот.

Только дух обретает причал,  
Растворяясь в родную печаль  
Над рекой постаревших раки...

Наша родина нас повторит!

Наше время движением вод  
По родимой реке уведет.  
Но окрестные наши леса  
Будут эхом хранить голоса!

Ты, рожденный из будущих лет,  
Отзовись на родимый привет!

\* \* \*

Да, тяжелые громы столетья  
Сотрясали родимую твердь!  
Удержали нас корни наследья,—  
Не пришла нам пора умереть.

Да, тяжелые были потери.  
Но сберегся невидимый дух!  
Сохраним наши мысли и веру,  
Чтобы русский огонь не потух!

## АЛЕКСАНДР ЦЫГАНОВ

### ВОЛОГОДСКИЕ РАССКАЗЫ

#### СЧАСТЬЕ

*Владимиру Жогину, русскому офицеру*

Первой почувяла неладное Катерина Глебовская. Она пила чай вприхлебку из блюдечка и заметила из кухни, как ее же загородой, которую она с утра окашивала, пробрался какой-то недеревенский толстый мужик и пропал с глаз долой. Катерина с оханьем поднялась, чтобы из передней поглядеть,— куда это молодец по-свистал, а он уж тут как тут — в дверь, не торкнувшись, вошел. Стоит, только что притолоку головой не подпирает: набычился, борода лопатой, у самого носа два круглых бойких глаза, в майке и трусах до колен цветных, ноги будто тумбы, все волосатые и вдобавок в тапках кожаных без носок.

— Чего тебе, милоч? — немного оробев, спросила Катерина. Согнутая, в линялом ситцевом платье, она была этому гостю еле не по пояс.— Воды надо или избой обознался?

— Да мы, бабка, реставраторы,— неожиданно тонким голосом ответил парень, а сам по стенкам нет-нет и зыркнет, даже в большую комнату хотел без спроса двинуться, но на дороге была Катерина и не думала отступить.

— Реставраторы мы,— снова повторил он.— Иконы ходим реставрируем, лучше делаем,— выпевал гость.— А то и купить можем. Денег-то надо, бабушка?

— А кому они не нужны,— смиренно ответила Катерина.— Да только продавать-то у нас нечего. А если воды не надо, так иди, батюшко, куда шел: мне сено грести пора. Иди с Богом.

— Ну, смотри.— Парень шумно вздохнул и отправился восвояси: в коридоре, слышно было, приложился головой о дверной верхник и крепко выругался, после скоренько слетел вниз.

А Катерина не на шутку встревожилась. В прошлом году, зимой, тоже шастали в этих краях какие-то гости. Пошныряли они по деревне, а потом в избе у Миши Демушки пропали иконы, а еще не стало медного самовара вместе с домоткаными половиками. Самих-то хозяев давно уже не было на белом свете, только летом из города детки сюда наезжали.

А теперь, куда с добром, с утра пораньше ходят — говорят, сделают так, что иконы станут лучше, чем были. Катерина, ойкая, не пошла огребать сено, как задумала, а напрямик, на всякий случай затворив дверь палкой, наладилась к Анюте Мишкиной. Солнышко жарило во всю ивановскую, толстая бархатная пыль желтым покрывалом лежала на земле, и даже у куриц не хватало сил в нее зарыться и отдохнуть. Катерина, проворно надвинув на глаза платок, выбежала из заулка и по дороге увидела свою товарку, которая с коромыслом и ведрами направлялась к колодцу. Она пересказала Анюте Мишкиной все, что знала, а в горячке даже и от себя лично кое-что добавила. Анюта, еще бедовая, крепкая и сухожильная, но робкая отроду, захваталась за голову уже на середине рассказа и надумала идти обратно, но сразу вернулась. Тем временем из-за дома, где этим летом жил Витька-офицер, показалась еще одна деревенская старуха, Лидия Аропланиха, ходкая, скорая на ногу. Следом катил велосипед десятилетний, в конопушках, внучонок Сашка, гостивший у бабки все каникулы.

Оказалось, что и у Лидии Аропланихи были незваные гости, также уговаривали показать иконы. С тол-

стым круглоглазым парнем был, тоже в трусах и майке, еще один здоровый мужик.

— А я ихнюю машину видел,— вдруг выпалил десятилетний Сашка.— Она у скотного двора стояла.

Старухи вперегонки кинулись к парню за разъяснениями. Но толку особого не добились: тот лишь добавил, что видел собственными глазами, как эта «девятка» уехала обратно.

— Вот что, бабы,— решила тогда Лидия Ароплиниха,— как ведь, дьяволы, уехали, так и вернуться. Это они узнавали все. Про нас-то. Если что в домах. Да кто живет. Мало им, бесам, зимусь все у людей повытаскивали, теперь и при ясном дне уже папоротки распускают. Не к добру это, ой, не к добру. Вот что, Сашка,— она дернула внука за ухо.— Садись-ко на лисапед свой да едь до центральной-то усадьбы и милиционерам позвони. Все обскажи. Гляди, не забудь у меня чего.

— Ладно,— буркнул внук и, забравшись на велосипед, понесся вниз с горушки на большую дорогу. Задание ему понравилось, и он даже ненароком едва не задел валявшийся еще с незапамятных времен возле обочины указатель с названием деревни. Выворачивая на дорогу, Сашка несколько раз вильнул рулем, затем с новыми силами, отдуваясь и переваливаясь на раме, закрутил педалями в сторону центральной усадьбы.

А старухи все вместе направились в избу к Катерине Глебовской. Лидия Ароплиниха по дороге заскочила к единственному деревенскому мужику Ване Лейте, прозванному так еще молодым парнем: до того, было, допьется — шевелиться уж нет сил, а все равно еще охота, вот и кричал: «Лейте, лейте». Прозвище так и осталось, хотя Ваня давно уже был Иваном Ивановичем, и теперь, не обращая особого внимания на собственный возраст, каждый сезон поддежуривал на ферме, а в остальное время помогал своим старухам по хозяйству. Вскоре все сидели у Катерины на кухне, чаевничали. Ваня, высокий синеглазый старик с лысой головой, выглядел недовольным, привыкнув в жару часик-другой вздремнуть, но он же и подсказал, как надо делать дело.

— Оне, верно, опять придут. Не сегодня, дак завтра. Не сойти с этого места. Милиция милицией, а надо, бабы, всем вместе держаться, кучей. Пять домов в деревне, а раз в месяц друг с дружкой поздороваемся. А на милицию жданки малы. Да вон бы еще Витьку-офицера на подмогу-то кликнуть. Он парень провористый.

Все стали вспоминать про Витьку-офицера. Впервые тот появился в деревне с год назад, но до сих пор о нем ничего не знали. Из дома почти не выходил. Поговаривали: пил много, вот и на улицу не показывался. Правда, раз кто-то видел его на огороде, беловолосого, худого, без майки и испугался: у Витьки все тело, вся животиная была как будто проехана бороной. Тогда и решили, что вернулся парень с недавней войны. Тем более, что ходил Витька-офицер в военных штанах и высоких зашнурованных ботинках даже в жару. С деревенскими всегда поздоровается, но к разговорам не приставал. Поэтому его немного и опасались. Но сейчас дело такое, что без него, может, и не обойтись. Сход направил к Витьке-офицеру самого Ваню: как-никак тоже мужик, поладят.

Оставшись в одиночестве, старухи опять поставили самовар. На кухне было тихо и прохладно, в самой избе свободно гудели вечерние мухи, по-хозяйски летая из комнаты в комнату, а в переднем углу бормотало радио. День, поостыв от жары, незаметно клонился к закату.

Все к этому времени успели прийти в себя. Во-первых, прибывший внук Лидии Аропланихи Сашка доложил, что в милицию он позвонил, и там, как поосвободятся, обещали выслать наряд для проверки. Порадовал и Ваня: Витька-офицер согласился заглянуть на огонек.

Потихоньку все кругом успокаивалось, в воздухе заметно посвежело и запахло вечерней росой, в деревенском озерке то и дело слышались заманчивые всплески играющей рыбы, а сразу за домами, возле близкого леска, розовело и меркло небо, медленно угасая; откуда-то со стороны центральной усадьбы изредка доносились ржавые монотонные звуки.

Деревенские уже справились с задуманным как следует. Сначала долго спорили, где положить вилы, тяпки и грабли, чтобы в нужное время все оказалось под рукой, а Ваня, выворотив из огорода, притащил большой осиновый кол. Решили, что в избе весь инвентарь оставлять нельзя, ежели дойдет до дела, поэтому сложили прямо возле крыльца Катеринино дома. Ждать незваных гостей и можно было именно с этой стороны: видно как на ладошке. И мимо уж не проскочат, если на самом деле кому-то взбредет в голову ехать сюда.

Старухи дули уже не первый самовар, а у крыльца на лавке, заросшей пыльным подорожником, сидели и курили Витька-офицер с дедком Ваней. Витька сначала зашел в саму избу и, как деревенский, запросто поздоровался со всеми, а потом мужики ушли смолить. Со старухами остался лишь внук Лидии Сашка и от безделья играл с кошкой: дразнил ее, поддергивая веревочку с привязанным на конце цветным фантиком, но кошка не поддавалась на обман, а только лениво жмурилась, хитро поглядывая на горожанина.

Сашке надоело баловаться в избе, и он выбежал на волю, но скоро заскочил обратно, крикнув, что в деревню едет машина.

Старухи обмерли. Смирная Анюта Мишкина, как от тычка, даже с хлюпаньем еле не ткнулась в блюдечко с горячим чаем, захваталась за клеенку на столешнице.

— Едут, едут,— неизвестно чему ликуя, подпрыгивал Сашка.— Машина, что и утром была. Вон она, вон она!

У Лидии Аропланихи хватило еще соображения глянуть из окна — не ушли ли куда мужики по надобности? Но Витька-офицер уже встал и неторопливо, будто спросонья, потягивался, а Ваня, приставив ладошку к глазам, вглядывался на приближающуюся в легкой вечерней пыли машину.

— Господи, благослови! — Торопливо перекрестившись на золотящуюся в кухонном углу темную икону, Катерина оглянулась на товарок, и старухи, одна за другой, тихонько пошли на выход.

Они осторожно спустились с высокого крылечка и

сели на лавку у дома: чему не хотелось верить — случилось и происходило ровно в забытьи или тяжелом сне. Бабы смирно сидели, сложив на передниках раздавленные работой руки и глядя перед собой.

Машина, темно-синяя, сверкающая, плавно покачиваясь, точно лодка на волнах, остановилась как раз напротив Катеринино дома, бесшумно распахнулась дверца с темным стеклом, а из нее на землю крепко ступила толстая нога в тапке. Вышел и сам парень, утрешний, с узко поставленными бойкими глазами, борода лопатой.

— Еще раз,— весело крикнул бородатый,— всем привет!

— Доброго здоровьяца,— по-хорошему откликнулся дедко Иван.

Следом за первой дверцей пооткрывались и остальные. На улице оказались четыре человека, все молодые мужики, одетые под стать бородатому. И тут из кабины неожиданно появился еще один человек, не таковский, как остальные гости: он был в белоснежном дорогом костюме, рубашке с цветным галстуком и в узких очках, за которыми не видно глаз, а широкие скулы, недобро выделяясь, охватывала злая, в завитушках, щетина недельной непробритости.

— Что, бабки,— по-прежнему весело прокричал бородатый,— как с иконами-то? Мы ведь помочь хотим.— На деревенских мужиков он смотрел как на пустое место.— Зря отказываетесь. У вас икон много, солить их, что ли? А мы денег дадим еще больше. Хоть завались!

Старухи переглянулись меж собой. Но тут Лидиин Сашка подбежал было к машине, и Аропланиха, заводив своим длинным белым носом, зашипела и погрозила парню кривым согнутым пальцем.

Бородач, восприняв эти действия как угрозу, заметно не похорошел:

— Бабки,— пожимал он литым кулаком.— Реставратор шутить не любит!

И глазами на этого в очках опасливо показал, а после запустил свою лапу в бороду: мошкара, висая столбом, липла и не давала покоя. И поскреб всего

ничего под волосатым горлом, а борода возьми да и отпади — липовая оказалась!

— Господи! — едва не в голос всполошились старухи на лавке.

— А ведь нарушат нас,— поднимаясь, вдруг заголоваила обо всем догадавшаяся Лидия Ароплиниха.— В нашей-то деревне. За тем и приехали!

Но раньше всех лишь двое знали — только два человека по-настоящему понимали, чем может все закончиться, если один другого не опередит: Витька-офицер и молчун в очках, на которого указывал бывший бородач.

Молчаливый уже сунул руку во внутренний карман пиджака, но Витька, опередив, ткнул пальцем куда-то за его плечо и крикнул:

— Этот с тобой?

Молчаливый маленько повел головой, но Витьке-офицеру хватило и этого: вдруг выбросив перед собой руки и подтянув ногу, он в то же мгновение неувовимо ее выпрямил,— неведомая сила хрястнула молчаливого о машину, даже очки слетели.

Старухи на лавке голосили, как будто на них клином сошелся свет, а Ваня Лейте, сграбастав кол и размахнувшись им, молчком пошел на стоящих у машины.

То, что начинало происходить, видно, никак пока не укладывалось в буйные головушки приезжих, многое уже, наверное, повидавших в свои еще молодые годы. Они еле-еле успели поставить своего молчуна на ноги, а уж с лавки, поднявшись в полный рост, надвигались на них, вооруженные граблями, тяпками и вилами простоволосые деревенские старухи — уже очнувшиеся, без слов и спокойно, решительно готовые, если не дай Бог доведется, стоять и на смерть, до конца.

Приезжие, неуверенно подхохатывая, запереглядывались, растерялись. Они и правда не знали, что сейчас делать. Липовый бородач первый, кашлянув, отодвинулся. За это время никто не сказал ни слова — ни с той, ни с другой стороны.

— А-а-а,— внезапно завопила Катерина Глебовская

и бросилась с вилами наперевес прямо в медленно отходящую кучу чужих гостей. И тыкала вилами-то, и тыкала, глядя широко открытыми, ничего не выражающими глазами,— и все кричала, как будто уже предсмертно, как это делают лишь женщины в нестерпимую, жуткую минуту.

Тут уж приедем на самом деле стало нехорошо. А Ваня Лейте, размахнувшись колом как его душеньке угодно, наконец-то изловчился хряпнуть со всего размаха, но промахнулся: кол плашмя попал в землю, а сам Ваня, не удержавшись, сунулся следом. Но сразу оказался на ногах и, согнувшись, бросился вперед.

Кажется, ничего уже не понимающие парни, развернувшись, боком, медленно потянулись к леску: сначала как бы играючи, нехотя, но страх, бодро настраивая на здравые размышления, ускорял их бег, направляя к близкому спасительному леску. Молчаливый реставратор, на ходу, опять попытался что-то выдернуть из внутреннего кармана, но Витька-офицер, бежавший легко и пружинисто, не подкачал и здесь: подпрыгнув, он достал ногой хребтину «реставратора», и тот, кувыркнувшись колесом, вновь оказался на своих двоих и припустил так, что обогнал подчиненных.

— А-а-а! — неотступно выла Катерина Глебовская, стремящаяся вперед с вилами наизготовку.

Не отставали от нее и Лидия с Анютой. Рядом, припадая на ногу, верным оруженосцем продвигался дедко Ваня, а кол он теперь держал, как винтовку, наперевес.

«Реставраторы», толпой, как бы в шутку добежали до опушки леса, а дальше, негромко матерясь, ринулись от греха подальше в самую чашобу, попав в непроходимый бурелом, над которым грозной тучей вяло колыхались полчища гнуса, в мгновение ока поглотившие беглецов.

Догоняющие остановились. Оказалось, что кроме Витьки-офицера, все подчистую выбились из сил. Анюта Мишкина, которой вовсе было невпродых, только махала рукой, выговаривая: «Ой, Господи-батюшко, ой, спаси-сохрани». Дед Иван, опершись на свой кол, безразлично, с полужакрытыми глазами поглядывал в

сторону леска, а Лидия Аропланиха отваживалась с Катериной Глебовской: что-то ей шептала, заодно потихоньку вытаскивая вилы, которые подружка продолжала держать намертво. Только Витька-офицер, сплюнув под ноги, растер это место крепким военным ботинком, а после деловито отошел туда, где подшиб главаря, как раз возле пруда, вгустую затянутого пленчатой зеленой тиной. Попиновая кочки, он внимательно исследовал место вокруг сражения. Затем, наклонившись, поднял что-то сталисто блеснувшее и, с легким прищуром повертев в руках, бросил находку в пруд, лишь сбулькало.

Охая и причитая, ополченцы, сопровождаемые Ваней, возвращались в деревню.

— Пойдем, Витя-батюшко, хоть чаю поставим,— слабым голосом позвала по дороге Катерина Глебовская, и все повеселели: слава Богу, наконец-то заговорила баба как все добрые люди. Возле машины приезжих столбиком стоял конопатый Лидиин Сашка и, отворив рот, изумленно смотрел на деревенских. Казалось, он на время лишился дара речи при виде того, что произошло на его глазах.

И Витька-офицер необходимо и легонько возьми да подшелкни Сашке под подбородком — как это у него ладно вышло?

Дедко Ваня снова сложил весь сельхозинвентарь возле крыльца, и все поднялись в избу. Решено было ночью на всякий случай не спать — дежурить, сюда в любое время могли вернуться из леса любители старины.

Ночь, белея ромашками, стояла тихая и теплая, сизый туманный свет бережно окутывал деревню, и она точно парила, недосыгаемая, в воздухе, а тишина была такая, что слышалось, как плескалась вода в самой низине деревни в маленьком, блюдечком, озерке, которое можно за несколько минут свободно переплыть туда и обратно.

Катерина Глебовская включила свет и достала из кухонного, засиженного мухами шкапа зеленую бутылку и молодцевато, экое диво, со стуком водворила посреди стола:

— Ну-ко, Ваня, распечатавай давай: за тобой в этом деле ровни не водилось!

Но тот взял и всех удивил: от дармовой водки заотказывался:

«Не, бабы, седни не в то горло полезет».

— Да и верно не стал прикладываться.

А Витька-офицер даже чаю не захотел: чтобы за дорогой пригляд был, к окошку в переднюю комнату собрался. Лидия-то Аропланиха, до чего у бабы язык долгий, возьми тут и скажи Катерине:

— Откуда у тебя и взялось, девка: гли-ко, чуть ведь городских гуляк совсем не нарушила. Мы и то перепугались.

Катерина Глебовская помолчала, а потом и говорит тихонько:

— А я ведь, бабы, взаправду думала, что Якова-то своего спасу, успею.

— Ково? — прихлопнула себе ладошкой лицо Анюта Мишкина.— Господь с тобой, матушка, ведь твой-то хозяин еще в курском огне сгорел, что ты!

— А вот верьте-нет, бабы,— Катерина, низко повязав, несуетливо поправила ситцевый, в красную горошину платок, потом виновато улыбнулась всем своим маленьким коричневым личиком.— Будто сама война и приоблажила вьяви, и мой Яков, покойная головушка, там один-одинешенек, а его какие-то незнакомые, все страшные такие, окружают да окружают. Ведь из памяти меня вышибло, в глазах отемнело, уж не держите обиды-то, сама не рада...

У подружек и отлегло на душе. Лишь Лидия Аропланиха не удержалась, подтвердила со вздохом:

— А война, что как не война идет: горит все кругом синим огошком, это Господь за грехи наши горемычные наказывает.

Витька-офицер, опустив голову, скоро вышел в переднюю комнату и сел к окну. Никому неизвестно, какие он думы думал этой бессонной летней ночью под законный стрекот кузнечиков и тихий шепот зеленой травы. Только под его острым кадыком порой сухо щелкало, да какая-то нетерпимая, идущая изнутри не-

мочь сводила иногда шею, и она мелко, напряженно и долго тряслась, туманя глаза и уводя от слуха затихающие разговоры стариков, всем скопом укладывающихся на ночевку прямо на большой Катерининой кухне. Еще его выводила из себя капающая из самоварного крана вода, вбивая в голову раскаленный невидимый гвоздь...

Наверное, и домучили Витьку-офицера эти каленые боли — подзабылся он то ли долгим, то ли коротким сном, но очнулся вдруг: где-то за околицей буркнула машина. Витька лихорадочно потряс головой и, морщась, глянул на свои наручные со светящимся циферблатом: бог мой, утро! А за окошко-то, наклонившись, сунулся: нет и машины городской, как приснилась. Он мгновенно, по-кошачьи вспрыгнул на ноги, на цыпочках вынесся из избы, мельком глянув на кухню: там вповалку приткнулись на широких лавках те, кто еще накануне едва не лишился последних годков жизни, и спавшие теперь без задних ног, а десятилетний Сашка посвистывал носом на русской печке, подложив под голову кулачок.

Витька-офицер, пригнувшись, неслышно обежал вокруг избы и, выскочив на середину улицы, с ходу все понял: безрадостные ценители древности, верно, дождавшись, когда в деревне уж точно поснут, и явно покусанные до необходимых вздутостей полчищами гнуса, и не мечтали о какой-то мести, а просто спасали — катом спровадили свою машину с горушки, а дальше, до дороги, видать, из благоразумных соображений, — дотолкали руками, — и только их видели. А что это тогда уркало — может, все-таки вернуться решили? У этих отморозков ума хватит. И Витька, энергично растирая ладошку о ладошку, стал торопливо разогревать руки: он решил встретить это уркающее подальше от деревни, по дороге к центральной усадьбе, и все будет как надо. Но не добежал он каких-то двух метров до брошенного указателя с названием деревни, как опять уркнуло, уже явственно. Может, гром? А что: дышать уж нечем, столько времени палит напропалую. Но нет, со стороны центральной усадьбы, коробчато подпрыгивая, бойко бежала милицейская машина.

Витька-офицер медленно поднял руку. Он стоял посреди дороги, широко расставив ноги в высоких шнурованных ботинках — спокойный, уверенный, надежный.

— Э, мужик! — высунулась из окна тормознувшей машины рыжеволосая голова водителя. — Дело пытаешь али от дела лытаешь?

Витька не стал объясняться с красноречивым водителем, даже не взглянул в его сторону. Переговорил он, да и то вполголоса, с вышедшим на волю капитаном, в чем-то неуловимо напоминающим самого Витьку. Тот слушал, покачивая головой, раз даже неверяще схохотнул, но после они перекурили и за ручку попрощались; машина, развернувшись, лихо укатила в обратном направлении.

Оставшись один, Витька раздумчиво постукал носком ботинка по крепкой земле — напротив, едва не на обочине, вверх тормашками валялся указатель с названием деревни. Витька-офицер, расправив плечи, с удовольствием, до хруста потянулся и, зевая, скорее по привычке, наскоро поставил этот указатель с надписью «ТАЛАНИХА. 0,5 км» — приткнул с краю дороги на прежнее место. Даже для того же порядка обтер еще своей широченной ладошкой от старой ссохшейся грязи и само название — слово, как известно, издревле, всегда означающее счастье, удачу. А ведь год уже как здесь бывает и как будто впервые названье-то услышал, из головы начисто вылетело. Да, честно говоря, когда жилье покупал, мало и интересовало, не спрашивал. Брал по знакомству, со слов: от большой дороги первая деревня — и, как у Христа за пазухой, живи...

А между тем было начало такого в птичьем посвисте утра, когда человеку невольно кажется — кто бы еще это видел, — что именно от этих маленьких деревянных домиков с крохотными баньками в густой зеленой траве да синего озера-блюдечка, овеванных теперь волшебным небесно-золотым светом, и начиналась когда-то сама земная жизнь.

*9 июля 2000 г.*

## ПОМЯНИ МОЕ СЛОВО

И хотя с пустого огорода вдруг сорвался осенний ледяной ветер, он не спешил заходить. Стоял в какой-то рваной фуфайке и, подняв голову, вглядывался в черное окно избы. Потом медленно, на ощупь, вошел в дом и с трудом потянул тяжелую, обитую войлоком дверь: в коридор, опавнув хлебным теплом, вырвался избный дух.

Но из лунного полусвета передней комнаты никто не вышел навстречу, и он, стоя у порога, позвал несмело, тихо, с неуловимой растерянностью:

— Мама.

Ему пришлось еще раз окликнуть, потому что простоволосая старая женщина, неслышно появившись, смотрела больше неузнаваемо, чем испуганно, прислонясь к дверному косяку.

— Мама,— с тоской, хрипло повторил он.— Это я. Помнишь?

— Бог с тобой,— придя в себя, наконец отозвалась хозяйка, слабо махнув рукой.— Не знаю, чего тебе надо. Вон возьми хлеба, да если хочешь, картошки дам.

— Я не хочу есть,— ответил он уже спокойно и без обиды, понимая, что его принимают за обыкновенного попрошайку.— Мама, это правда я. Неужто не узнала? Я же обещал вернуться — и вернулся. Помнишь, как я все время говорил: «Помяни мое слово»? От тебя и научился.

Женщина снова долго молчала, затем, когда он, не дождавшись ответа, повернулся к двери, спросила неуверенно, как будто что-то припоминая:

— Может, самовар тогда поставить?

Но он уже вышел и, не разбирая дороги, зашпешил через огород прочь из этой деревни прямо на бетонку, словно человек, потерявший самое дорогое и еще толком не знающий, где это могло произойти.

Женщина, оставшись в одиночестве, наклонилась к окну, затем, оглядываясь вокруг себя, пододвинулась к застекленной фотокарточке на стене и, вздохнув точно после непосильной работы, скрестила руки:

— Или совсем из ума выживаю, или и взаправду моему парню даже там тошно без матки. Видно, пора собираться.

А он, скоро отшагав в другую сторону километра три, подошел к поселку, угадываемому лишь по обманчивым лунным очертаниям домов, и приблизился к одной из барачных щитовых построек. Ни одна собака за это время не подала голоса и не облаяла чужака, хотя этой породы здесь водилось больше, чем людей.

В это время на крыльце домика, хлопая широкими голенищами сапог, появилась молодая женщина, светловолосая, с капризными припухлыми губами, и, кутаясь в наспех накинутую пальтушку, заторопилась под навес к дровянику.

Не доходя до места, она остановилась, тревожно оглядываясь по сторонам и не различая в темени того, кто был рядом и старался оберегать ее даже от собственного дыхания.

— И ты не узнала,— с той же затаенной тоской, печально прошептал он.— Никто меня сегодня не признает. Наверно, потому что темно. Даже сам сначала заблудился. В чужой дом попал да еще другого человека за мать принял. А почему теперь стало везде темно?

— Да уж который год, как по вечерам не дают света. С кого и спросить не знаем. Как слепые бродим, дальше своего носа не видим,— так, словно она говорила сама с собой, и с каждым мгновением поражаясь этому происшествию, ежась, неуверенно ответила молодая женщина.

— Ты не беспокойся,— снова осторожно, одними губами заговорил он, робко отводя свой взгляд.— Я ведь правда не обижаюсь, что не дождалась меня. А что вышла за него, так это и хорошо: он ведь еще со школы не спускал с тебя глаз. Понимаешь, сейчас всем трудно, вот он и выпивает иногда. Ты уж не держи на него зла. Главное, он мужик заботливый, не даст тебе с дочкой пропасть. Вот помяни мое слово. Ты только потерпи еще немного.

— Господи, да что такое творится,— заголосила женщина, отступая к крыльцу, и, запнувшись, едва не

растянулась.— До чего со своим дураком долаешься — заговариваться начнешь. Вершись все головой с этой и жизнью-то!..

И она, запамятавав, для чего была на улице, скоро захлопнула за собой дверь — сначала железно скрежетнул крючок, а следом брякнул и засов. Немного погодя, быстро-быстро, и в самой квартире потух свет.

Постояв с поникшей головой, он провел руками по лицу, зябко запахнул свою неказистую фуфайку-поддергушку и, ниже надвинув шапку на глаза, выбрался из этого поселка.

Некоторое время он растерянно топтался на развилке двух дорог, после чутко насторожился, видно, услышав, наконец, одному ему ведомое, и уже без раздумья, чуть не вприпрыжку припустил к лесу, откуда стеной наносило предзимней стужей, но он, ничего не замечая, торопился все скорее и скорее, пока налетевшие порывы вселенского ветра, казалось, внезапно не подхватили его и, завертев в своем гибельном вихре, скрыли из вида.

Одному лишь ему известно, как преодолелись два десятка километров за время, равное человеческому вздоху, только в деревню на горушке он подоспел к сроку, стоя у нужного дома уже из последних сил.

Чуток отдышавшись, он было шагнул к крыльцу, как, поскользнувшись, ничком ткнулся в стылую грязь, а только успел подняться, откуда-то из-под горушки и появилась машина, шаря перед собой яркими фарами. И тотчас на мгновение выявилась на нем вся в рваных дырах, будто от выстрелов, какая-то зеленая фуфайка и шапка с вмятиной от кокарды и с оторванным ухом. Неожиданно освещенный с головы до ног, он лишь изумленно, по-детски приоткрыл в испуге рот и тут же, как вспышка, исчез — скрылся в своем ослепительном свете, ровно никого здесь и не бывало, только отчетливо проявилась светлая дорожка к самому крыльцу.

Машина, остановясь и газуя, выпустила из крытого кузова женщину с сумкой на боку, как у почтальона, и сразу заурчала во тьме, а женщина прошла по светлой тропинке и забарабанила в дверь. Не достучавшись,

она торкнулась в коридор, а после привычно вошла и в саму избу.

— Хозяюшка, ты где?—задорно крикнула она.— Дома? Ставь давай самовар на стол! Принимай гостей!

Но никто не откликнулся на ее голос. Тогда она заглянула в переднюю комнату и, нашарив выключатель, зажгла свет. На старой кровати с железными шариками лежала поверх одеяла женщина. В какой-то застывшей, казалось, тишине еще медленнее тикали настенные часы, висящие над хозяйкой дома.

— Ты чего это, девка? — удивилась почтальонка.— Зову, зову. Язык, что ли, отнялся? Да у тебя, гляжу, и в избе-то вроде все выдуло?

Но женщина продолжала молча лежать без движения, хотя по ее лицу было ясно, что она все понимает, что говорится.

— Да что с тобой стряслось-то, тетка Вера? — уже всерьез стала пугаться почтальонка.— Все ли хоть ладно-то? Ты чего все молчишь да молчишь? Не заболела случаем?

Но видя, что хозяйка дома продолжает только неподвижно смотреть перед собой, она засуетилась — забегала по комнате в поисках хоть каких-то лекарств, принесла с кухни воды и хотела напоить лежащую женщину, но все было напрасно — та продолжала оставаться пластом. А вода лишь пролилась на нательный медный крестик, и это окончательно довело почтальонку.

— Ведь утром еще все слава Богу было,—запричитала она, опускаясь на стул.—Господи, и машина-то с рабочими ушла, знатье бы, дак за врачом успели обернуться...

И, покачиваясь на стуле, она прижала к лицу руки, причитая и охая.

— Я-то, дура, торопилась, думаю, вот обрадую-то!.. Тут она оборвала саму себя, огляделась кругом:

— Ой, тетка Вера, да я тебе главного не сказала,—схватив свою дерматиновую сумку с почтой, она перевернула ее вверх дном и, вытряхнув газеты, выхватила полоску серой бумаги.— Тебе ведь телеграмма! Из самой Москвы послали!

По лицу лежащей пошли судороги, и она дернулась, как будто под током, после на ее щеках появились пятна, а сама она стала постепенно, прямо на глазах, наливаясь живительным светом.

Скоро женщина, пытаясь открыть рот, прерывисто задышала, поводя глазами из стороны в сторону.

— Счас, счас,— бестолково суетилась почтальонка, разворачивая листок и читая, как человек, недавно обученный грамоте,— по слогам, громко и неуверенно:

«Ваш сын нашелся тчк настоящее время находится излечении городе Москва тчк представлен правительственной награде тчк Однофазов».

— Дождалась,— точь-в-точь эхом донеслось от приподнявшейся на подушке женщины.— Пришел... Господи.

Она говорила словно в забытьи, с перерывами, тяжело дыша и глядя в одну точку перед собой.

— А ведь смертушка моя рядом была... Легла вздремнуть и не повернуться — руки-ноги отнялись, хотела кого крикнуть, а все онемело. Чую уж, как и сердце-то еле-еле стучает...— Тетка Вера передохнула, прислонясь к спинке кровати.— И тут вижу, как въяви бежит навстречу мой парень, откуда-то издалека, во рваной фуфайке, стойно арестант какой, и вот чего-то мне кричит, все зовет. Слова-то уж больно знакомые, а понять не могу...— Она снова передохнула, хватая воздух открытым ртом.— Только после этой весточки и отлегло немного. А следом ты прибежала в дом. Вот помяни мое слово, скоро и сам, рожное сердце, ступит на родное-то крылечко.

Тетка Вера заплакала было, но сразу остановилась.

— Ой, матушка ты моя, а взаправду выдуло в избе: давай-ко хоть затопим столбняку. Да и самовар надо вздуть, у самой во рту маковой росинки не было. Поди-ко, надо снова жить, коли такое дело.

И она с трудом сползла на пол, после, держась за стенки, останавливаясь едва не на каждом шагу, направилась на кухню. Тем временем почтальонка живо растопила печку и захлопнула чугунную заслонку.

Вскоре обе женщины сидели за столом и неторопли-

во, с блюдецек, пили чай. За спиной у них гудело и трещало в печке, а на окошке возле старинного комода шевелились цветные ситцевые занавески.

Сама почтальонка уже перестала то и дело посматривать незаметно на тетку Веру, они в который раз за вечер дружно изучали телеграмму, обсуждая каждое слово, перебивая друг друга.

А хозяйка, вовсе ожившая после чая, налила по очередной чашке и опять, не утерпев, взялась за бумагу.

— К примеру, сейчас начальник,— она, не отрываясь, зачем-то стала на свет рассматривать дорогой листик бумаги, и ее пальцы беспричинно завздрагивали,— написано Однофазов который: он только военными верховодит, или уж над всеми дадена власть?

— Тут, матушка моя, слушай, все по полочкам разложу...— бойко, как будто дожидаясь именно этого вопроса, наладилась объяснять товарка и для пущей убедительности даже прихлопнула по столу, но, как на грех, сглотнула горячего чая и, обжегшись, в сердцах махнула рукой: — А понеси водяной всех и начальников: я ведь не Свят Дух и наших-то ребят с ними не крестила.

Обе женщины расхохотались и одновременно, не стовариваясь, скинули на плечи шерстяные платки: в избе к этому времени заметно потеплело.

## ПРАВДА

Марью нашли ночью. Две недели лазили по лесу — как в воду канула. И надеяться уж перестали. А тут мужики в последний раз сподобились: сказала им тетка Анна с хутора — мол, ищите там, где Марья заходила. Не можете не обнаружить — лучше смотрите. Ну и пошли деревенские: несколько человек. Одни мужики. Вот Витька Карулин и увидел первым Марью: воду из ручья пригоршнями пила. Там же, где и заходила, как и предсказывала хуторская Анна. А Марья, увидев своих деревенских, точно ополоумела — с перекосившимся от непонятного ужаса лицом кинулась сломя голову в лес.

Только сучья треск подняли. Ну, мужики догнали, взяли в охапку молчком лягавшуюся Марью и только так дотащили до деревни.

Марья-то не хотела возвращаться: вырывалась, дергалась всячески, изгибалась да на лес косилась. Удивлялись: откуда у старухи и сила такая взялась, как будто кто помогал. Даже не по себе мужикам стало. Дома Марья не успокоилась, все в лес, видно, рвалась, а на распросы, где это она, Марья, так долго была, вдруг заговорила, понесла такую околесицу, что ее, недолго думая, отвезли в больницу. Врачи, наслушавшись Марью, только головами мотали да продолжали делать свое дело — накачивали старуху подручными снадобьями. И вскоре Марья опять вернулась домой — теперь уже притихшая, успокоенная. И стала она жить да поживать себе потихоньку, как и раньше жила-была: никому не мешая.

А в деревне еще посудачили — обсуждали со всех сторон этот случай. Недоумевали: отчего это Марья только дома заговорила, да и то непонятно: знай бормочет себе под нос, да все с подвыванием, просто не по себе становится, страх Божий. Но помаленьку все успокоились, а жизнь продолжалась своим чередом. И однажды Нюра Агафонова, поздним уже вечером, проходя мимо Марьиных окон, услышала разговор. Хозяйка говорила — вернее, отговаривалась, отчитывалась перед кем-то.

А голос-то, что спрашивал Марью, мужской был: как бы человеческий, а коль вдуматься немного, то и не совсем людской, что-то пугало в нем. Голос спрашивал громко, внятно:

— Рассказывала кому-нибудь?

А Марья уже бормотала привычно что-то неразборчивое — похоже, оправдывалась.

Нюра набралась духу и постучала. Открыла ей сама Марья.

— С кем это ты разговариваешь-то? — внезапно оробев, спросила в комнате Нюра.

Марья тотчас покосилась в угол, насупилась, буркнула:

— Да ни с кем.

Но пригласила Нюру посидеть, вздула самовар. А Нюре что — делать все равно ведь нечего, тоже одна кукует не первый год. Сидели, чаевничали. Вся-то Нюра извертелась, в пот изошла — не вытерпела:

— Да, Марья, не обессудь, матушка, расскажи хоть: как ты вышла-то, да выжила-то? Шутка ли: гли-ко, ведь целых две недели носило леший знает где, что и ела, а жива-здорова, слава Богу...

Марья вздрогнула, снова в страхе покосилась в угол — в последнее время она косить сильно стала — и, ужав голову в плечи, зашептала:

— Ой, и не проси, девка, не проси. Не могу я сказать, веришь — нет. Не велено.

— А кем не велено-то?..

— Не велено, Нюра, и все. Самим не велено.

— Да окстись, Марья-матушка. Кому я скажу-то? Мы ведь вместе на посиделки шнявали. В прежние-то годы. Да за одним и парнем ведь ухлястывали. Ваньку-то с Колнобова помнишь ли?..

Любопытство разобрало Нюру — начисто все забыла. Прямо вынь да положь.

— Не знаю я, ничего не знаю,— бормотала Марья, косясь по-прежнему в угол. После подняла руку как бы для знаменья крестного, но махнула:

— Скажу уж тогда, Нюра, Бог с тобой, только ты уж помалкивай. Я-то свое отжила, наш век не велик. Бабы города не строятся...

И поведала Марья своей товарке Нюре святую правду — все как есть на духу. Ничего не утаила.

Кому неохота в лес напоследок сходить — за грибами-то? Понятное дело: рыжиков да волнушек по концу осени собирать. А что Марье одной дома делать — подпоясалась да и была готова. Положила на дно корзинки-посбирушки хлеба горбушку да еще чекушку не забыла: кровь старую подсогреть. И пошла себе, побрела с палочкой. Хороша поползала. А когда приустала, присела на пенек и съела свой пирожок. И чекушку эту кувыркнула — с устатку-то. А как потемнело — Марья и не заметила. Повертелась туда-сюда: батюшки-светы, куда идти-то? Ведь окружило, как есть окружило!..

И тут из-за кустов мужик вышел. Марья пригляделась и узнала его: вроде как в лесниках ходил. Только умер, кажется, сказывали. А может, и нет. Забылось уже — не та память стала.

«Заблудилась?» — мужик спросил. — «А не выйти, милый, — пожаловалась Марья. — Завело».

«Ну, пойдем тогда со мной», — кивнул ей мужик-то этот.

«Дак ты, батюшко, вроде как помер», — торопилась Марья вслед. Отстать боялась.

«Да так... — отвечал ей мужик. — Работаю я тут... в лесниках. Давно. Забыли уж меня».

Давно так давно. Хорошо хоть человек внимательный оказался — не бросил одну в беде. Вышли они к домику лесникову. Зашли. Мужик шубу-то с себя скинул: в шерсти весь оказался, и Марья еще заметила, — с копытами. Господи, Господи!.. А сама вроде как и не испугалась. Даже любопытство взяло. В доме-то хозяйка забегала, тоже мохнатая, в шерсти, и детишки в батьку с маткой вылитые. Хозяйка-то помалкивает все, а только сердито пофыркивает да копытами сильнее постукивает. Чего-то ей не по нраву пришлось.

Ну, заставил этот лесник Марью детей его на себе катать, ублажать, а после повел в лес да к березе поставил, и точно Марью опутало чем-то всю. Не двинуться и не пошевелиться — ни рукой, ни ногой. А сам куда-то исчез. Настоялась Марья, уж невоготу стало, взмолилась: «Батюшко-хозяюшко, есть охота». А лесник тотчас из-за дерева вышел, взял Марью за руку и повел тропой. Вышли они к деревне и направились в первый же дом, где ругались. Наелись там оба-два — и, невидимые, обратно в лес подались. Там Марья опять с ребятишками лесниковыми играла, да грибы-ягоды ихнему семейству собирала, заготавливала. А есть ее лесник шерстнатый водил каждый раз в деревню — и кормились они только в тех домах, где ругались хозяева.

Марья всякий раз видела, как деревенские ходили ее искать, да только голоса не могла подать — не дано ей это было. Так и прожила она в доме лесниковом две недели целых. А раз грибы опять собирала да пить зане-

моглось — только к ручью-то чистому наклонилась, — тут деревенские и увидели ее. Может, и утащил бы ее лесной человек обратно с собой, да, видно, какое-то слово заговорное знала Анна хуторская, что мужиков на поиски отправляла. Вот и удалось деревенским отнять Марью да домой привести.

А Нюра, товарка-то закадычная, выслушала все — и только от удивления большого головой качала да ойкала, пока Марья ей рассказывала. А потом не утерпела и разнесла это по округе: разве язык на привязи удержишь.

А Марье-то все хуже да хуже становилось: наладился ей домовушко давить — до самого первого снега ходил. Так Марья, как и мужики когда-то, сползала к Анне хуторской, та и научила, как делу быть. Взять да хомут на пороге к ночи положить. *Он* и перестанет бывать. Отвернет нечистую-то силу, обязательно отвернет. Марья так и сделала.

Заходит вечером к ней *сам*, а на пороге — хомут. *Он* с обличья-то весь изменился, да как закричит: «А-а, догадалась!» — Развернулся да и был таков. Больше и носа не показывал.

Правда все это или нет, нам, фомам да еремам, неизвестно, но только и посейчас замечают деревенские за Марьей одну странность непонятную. С того самого времени и началось, как вышла Марья из леса: перестали на нее собаки в округе лаять. Как увидят старуху — хвост с ходу подожмут, шерсть у них на загривке дыбом встанет, — и в сторону бегут. Боятся чего-то.

## КЛЮКВА

Он был рад, что ушел от остальных ягодников. Хотелось быть одному. Тем более, что выходить обратно со всеми на душе не лежало: за ягодным болотом притаилось тихое озерко, где у него была давно еще припрятана легкая сухая лодчонка, на которой, переплыв озерко, после можно спокойно за какой-то час дошагать до своего дома.

Места эти, конечно, хожены-перехожены. С детства и до старости: как-никак, а уж шесть десятков недавно стукнуло. Время промелькнуло, как та самая птичка, что теперь стремительно порхнула с кустика на ветку, — оглянуться не успел. В лесу на все лады чиликало, трещало, посвистывало. Солнце светило тускло, было ветрено и холодновато. Перед болотом на косогоре густо шумел осинник: с одной стороны листья были красны, с другой — маслянисто блестящие, зеленели.

Он вдруг остановился, удивившись тому, что как бы со стороны увидел себя: в черной стеганой фуфайке с крупными пластмассовыми пуговицами, с зеленым рюкзаком за спиной и двумя эмалированными ведрами на руке, в синей восьмиклинке, выбритого до гладкости, — и со странной улыбкой озирающегося кругом... Еще не легче!..

Он передернул плечами и, вытащив из кармана брюк алюминиевый серебристый портсигар, торопливо закурил, нехотя разгоняя сизоватый, в завитушках дымок. Затем двинулся дальше, покачивая головой: непонятно — точно прощаешься с чем-то или с кем-то, а под сердцем каленой иглой знобяще держится самый настоящий страх...

Он густо прокашлялся, отгоняя тяжкие думы и, сильно раздвигая кусты, вышел к укромному болотцу.

Чуть ли не перед самым носом вертушкой пролетела сорока-трещотка. Но и без ее вести было ясно, что здесь еще не ступала нога ягодника и что клюквы нынче видимо-невидимо. Бери — не оберешься.

Он вздохнул во всю грудь — уже легко и свободно. Потом, раскатав резиново скрипевшие бродни до пахов, опустился на колени и принялся обеими руками сноровисто и быстро собирать в эмалированное ведро лаково красневшую, тугую и спелую клюкву.

За делом он, как и всякий истинно работающий, забывался. Ягод было так много, что глаза невольно страшились, а руки — делали. Болотный мох упруго пружинил под резиновыми сапогами, под коленями чуть колодезно холодило...

Он вспомнил, как в детстве тоже вот так же елозил

здесь, на ягодах, вместе с деревенскими, была и Надька Грачева, без нее и гулянка не гулянка, всюду успевала. Он высыпал ей тогда из своей банки-посбирушки все ягоды, а когда ребята увидели и стали дразнить, выхватил у Надьки ягоды и кувырнул их в мох. Как там и были...

А позже, на вечеринках, Надька поглядывала все на него и, встречаясь с ним взглядом, краснела... Потом взяла да и выскочила за парня-жердину с Цветкова, ягоды, что ли, припомнила... Худо ему тогда было — впервые почувствовал, в которой стороне сердце: там палило и жгло так, что... женился и сам... на одной тут. Из соседней деревни. Ну женился и женился. Значит, надо жить было. Только уж больно женушка сварливой да жадной оказалась, что просто диву давался — откуда у нее это?.. Одно время слух ходил, что она в детстве, в голодные годы, у родной сестры срезала с пояса хлеб в мешочке. Конечно, говорить, так до всего договоришься, но если уж верно знать не знаешь, так и вины нет... Что бы там не было, а однажды он не застал жены дома — и след простыл. Взяла да уехала: как и не жили вместе. Ни ответа, ни привета. Позже узнал, что удула куда-то к дальним родственникам: тайком списались, те пообещали у себя в городе работу денежную, ну и двинула новое счастье искать.

Бог с ней. Как говорится, кто старое вспомнит... А только с тех пор так бобылем и живет. Привык. Даже нравится — тебе никто не мешает, и ты никому поперек дороги не стоишь. Милое дело. Имеется и хозяйство: корова, пара овец, даже держит небольшую пасеку. Мед — не последнее дело для здоровья. А когда обращаются деревенские за помощью — не отказывает, всегда поможет, дальше больше сделает, точно в чем-то виноватый. Может, понимает, что люди сторонятся его порой оттого, что такой вот молчун, каких свет не видывал, а за работой, глядишь, и перекинешься с человеком словом-другим, все веселее... Хотя что ни говори, а один — он и есть один. Одной-то рукой и узла не затянешь...

Он и не заметил, как набрал первое ведро. Даже с

кленьком. Доверху. Встал, не в силах сразу разогнуться, тихонько постонал, выпрямившись в пояснице. Неожиданно вновь опажнуло леденящим холодком под сердцем, оно сжалось и затосковало. Он сердито скрипнул зубами, снова размял твердыми коричневыми пальцами папиросину, затянулся так, что резцы нижних зубов до боли впились в прикушенную губу. Дела... Дела выходили, как сажа бела: чем больше думалось да вспоминалось, тем муторнее становилось на душе, словно и впрямь на прощание вся жизнь заново вспоминалась — сначала и до конца...

Тяжело передвигая крупными желваками, он вложил полное ведро в рюкзак, затянул на новую прочную веревку и, заметив место, оставил под белой в черных подпалинах березой зеленый рюкзак с эмалированным ведром, полным ярко-рубиновой клюквы.

Второе ведро набиралось труднее, ломило в спине и шее, бросало то в жар, то в холод, а раз он, неловко повернувшись, кульнул носом в мох и коротко, скороговоркой ругнулся...

Он и не заметил, как наступил вечер, в воздухе тонко похолодало. Перед лицом висела прозрачная золотистая паутина, и он вспомнил, что так еще и не перекусывал. Достал из кармана газетный сверток, развернул его: пара красных помидоров и свежепросоленных огурцов, мягкий с хрустящей корочкой хлеб, густой медный чай в бутылке с капроновой пробкой. Перекусив на скорую руку, он вскоре дособирал и второе ведро, но уже без желания, по необходимости и через силу.

В груди жгло и покалывало, гудом гудела голова. Он чувствовал, что так, пожалуй, никогда не уставал. Удивляясь своей слабости, он нашел мету с ягодами, вскинул рюкзак за спину, подтянул брезентовые рубчатые лямки и, взяв в левую руку другое ведро, направился к озерку.

Под его ногами спичечно похрустывали сучки, а ветер был теперь тих, с мгlistым и далеким кругом солнца. Низко неслись тучи, как будто куда-то опаздывая. Одна остановилась над озерком и словно набухла, потемнела...

Он отыскал лодку в ольшанике, шумевшем чутко и тревожно, столкнул в воду. Аккуратно расположил на корме ягоды.

Ягоды... А ведь он звал про себя Надьку-то Грачеву ягодкой... Воно что, выходит, вот отчего и вспомнилось сегодня все это, хотя что все-таки случилось с ним на болоте, он так и не понял...

Ягодка, ягодка сладкая, ягодка горькая... Он оглянулся по сторонам, точно кто-то мог подслушать то, что он думал, затем надвинул кепку низко на лоб и удобнее сел за весла.

И в третий — уже в последний раз за сегодняшний день — он ощутил под сердцем укол, — раскаленный, огненный, нетерпимый...

Он еще успел подумать, что так, наверное, устал на ягодах и, приложив руку к сердцу, вскинул голову: темная, набухшая туча стремительно и мягко обрушилась на него, заслонив собой белый свет. И он, привстав, ничком рухнул прямо в ягоды, выбросив перед собой сразу ставшие безвольными изувеченные работой крупные и темные руки в изжелта-зеленых набухших венах.

**ВАСИЛИЙ МИШЕНЕВ**

***ПРОДЛЯТСЯ НАШИ РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ***

**ГРИБНЫЕ МЕСТА**

О чем молчишь, мой давний друг?  
Вокруг тепло и много света!  
Пускай с землей уже простилось лето,  
Но далеко еще до зимних вьюг!

Бери корзину и пойдем со мной,  
Я покажу тебе места грибные,  
Где грузди и волнушки расписные  
Заманят так, что не уйдешь домой!

Я сам, когда брожу в лесу один,  
За целый день не вспомню про усталость!  
Как долго мне на родине осталось  
Бродить среди берез, среди осин?

Даст Бог, продлится наш короткий срок!  
Продлятся наши радости земные!  
И пусть к себе зовут места грибные,  
А день стоит спокоен и высок!..

## СЛУЧАЙ В ДОРОГЕ

*Виктору Короткоеву*

День осенний порадовал снегом,  
Значит, светлая выпадет ночь...  
С незнакомым совсем человеком  
Мы шагаем от станции прочь.

Тяжелы чемоданы, как гири,  
И согнувшись под ними смешно,  
Он подарки несет из Сибири,  
Он на родине не был давно.

Как могу, я ему помогаю,  
Разговором пытаюсь развлечь,  
Хоть деревню его мало знаю,—  
Он внимательно слушает речь.

Рассказал я о ней и добавил:  
— Ну, а все-таки едешь к кому?  
Он на снег чемоданы поставил:  
— Не писал я! Не знаю к кому!..

## ДОРОГА К ДОМУ

И вновь раскрепощается душа,  
И грозный мир не помнится жестоким,  
Когда под небом родины высоким  
Идешь своей дорогой не спеша...

Мне эти километры так легки,  
И дождь воспринимаю как удачу,  
Дождинки на щеках моих — не плачу! —  
Ведь в сердце поровну веселья и тоски!

Зачем так долго жил я в суете?  
В полночный час, один среди разлуки  
Искал напрасно радостные звуки  
И песни пел, но только все не те.

Пусть след мой тихо скрадывает дождь!  
Пусть новый день природой грустно начат!  
Но что-нибудь все это разве значит,  
Когда домой на родину идешь?..

\* \* \*

Моя дорога — к полю, к дому.  
Моя дорога — среди берез.  
А мне навстречу — люд знакомый,  
Землей болеющий всерьез.

А мне навстречу — тихий вестер  
С тоскливым запахом дымка,  
И птицы, путника заметив,  
Уносят крик под облака.

Иду пешком. Меня встречает  
Среди лесов, среди полей  
Земля надежды и печали,  
Земля обманутых людей.

Как не понять мне их тревогу,  
Я сердцем здесь давно прирос  
И полюбил давно дорогу  
Среди недремлющих берез...

## РАССТАВАНИЕ

Облетает листва,  
Устилая мой путь.  
И в тумане дорога.  
Так устроена жизнь —  
Ничего не вернуть,  
Уходя от порога.

Ты за мной не спеши  
Выходить на крыльцо,  
Одному будет легче  
Оттолкнуться веслом  
И зарыться лицом  
В остывающий вечер.

Нет ни звезд, ни луны.  
Заглушает река  
Отдаленные звуки...  
На родном берегу —  
Слабый свет огонька  
И начало разлуки...

\* \* \*

Над ночью Вологдой  
Кружит легкий снег.  
Я бреду по городу,  
Дальний человек.

То, что было прожито,  
Вспомнить все нельзя.  
В тихой милой Вологде  
Спят мои друзья.

Кто-то в центре города,  
Кто-то за мостом...  
Кто-то в доме ласковом,  
Кто-то под крестом!

Я иду к кому из них?  
Где найду ночлег?  
Все следы на улице  
Засыпает снег!..

## БЕЛЫЕ НОЧИ

*Александр Романову*

Есть у природы срок чудесный...  
Ты счастлив выпавшей судьбой,  
Когда струится свет небесный  
Перед тобой и над тобой!

И теплый воздух невесомый  
Уже готов застеклеть,  
Чтоб в тихий час ни насекомым,  
Ни самолету не взлететь!

Один лишь звук побеспокоит,  
Когда несмело отрясут  
В загоне дремлющие кони  
С копыт холодную росу!

И вновь душою осторожной,  
Еще блуждающей в дыму,  
Понять все чувства невозможно:  
Так много счастья одному!

\* \* \*

Зима. Безоблачный рассвет.  
В селе над каждою избою  
Взнеслись дымы, оставив след,  
И небо выгнули дугою.

Смотрю в замерзшее стекло,  
Ищу проталинку для взгляда...  
В моей избе уютно и тепло,  
Чего еще мне в жизни надо?

Но жаль — друзей со мною нет.  
Что ж! Я не думаю о прошлом.  
Зачем искать вчерашний след.  
На свежавыпавшей пороше?

Я свой на этом берегу!  
Мне есть с кем разделить удачу.  
А неудачу сам превозмогу,  
Переживу и не заплачу!..

\* \* \*

Я шагаю дорогой испытанной,  
А дорога ведет на закат.  
Утром кони мой путь ископытили,  
На луга уводя жеребят.

Люди в поле работу закончили,  
И в пронзительно чуткой тиши  
В травах робко звенят колокольчики  
Для моей одинокой души.

А душа наполняется песнею,  
Забывая тревоги свои:  
Рядом птицы мои поднебесные  
И гривастые кони мои.

Облака и туман над Россиею,  
Но в краю, где начало дорог,  
Понимаю с особенной силою,  
Где мой путь,  
Где мой свет,  
Где мой Бог!..

## СОН-ТРАВА

На зеленую траву,  
С высоты сорвавшись вдруг,  
Будто камень, упаду,  
Обрасту травой вокруг.

Не простой, не луговой,  
А на долгий-долгий век

Обрасту я сон-травой,  
Как и всякий человек.

Звездный ветер запылит  
Мимо судеб и времен,  
Но того, кто крепко спит,  
Не разбудит больше он.

Только люди захотят  
Незабудок по весне.  
И придут. И погрустят.  
О себе. И обо мне.

\* \* \*

Эта ночь и тиха, и светла...  
Что же завтра со мною вдруг будет?  
У костра набираюсь тепла,  
Чтобы утром отправиться к людям.

И глядит одиноко луна,  
Земляничные звезды на взгорке  
Грезят ночь эту выпить до дна  
Вместе с дымом волнующе-горьким.

Я не знаю, с каких это пор  
В сердце вместе и радость, и мука.  
С ними легче шагнуть на костер,  
Чем идти по земле... Но ни звука!

Видишь, ночь и тиха, и светла!  
Ну, а завтра что будет, то будет...  
У костра набираюсь тепла,  
Чтобы утром отправиться к людям!

## ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

### У КОТЛА

Однажды в глубокой ночи Валентин очнулся в теплушке на скотном дворе. Лежа на узкой скамье вдоль парового котла, преодолевая запойный страх, он пробовал вспоминать, что было до этого, пытался обычной шуткой заглядить вину перед всем миром: «Опять, дурак, уснул не там где положено, опять бесплатный люкс в коровьей гостинице...»

С одного боку жгло, другой бок замерзал. Холодом несло снизу, от неутепленных дверей. В головах вместо лещовской фуфайки торчал пропахший лошадиным потом хомут. Руки и ноги как поленья, голова больная и не своя. Вместе с тем все тело находилось в какой-то оглушительной невесомости. Где был верх, где низ, где право, где лево — не поймешь.

Валька повернулся холодным боком к теплу, но от любого движения сильно тошнило. Преодолея тракторист рвотный позыв и произнес:

— Туляков, а не хватит ли нам пить? Ведь умрем оба...

Ветеринар, с которым вчера керосинили, ничего не ответил. Он спал с другой стороны котла. Там у стены было специальное и удобное лежбище для дежурного.

В теплушке день и ночь горел электрический свет. Не выключали его, может, от самой кукурузной поры, когда Валька бегал еще школьником. Уже тогда окошко было заделано старой фанериной. С тех пор котел на ферме дважды меняли, а сколько хрущевых сменили за это время, не сосчитать!

Котел по-самоварному булькал. Коч-новоженя (еще с осени согласился дежурить на ферме) накидал в топку осиновых плах и убрел домой в деревню. Не больно-то и спешит старичина соскребать в лоток ночное золото.

Дежурил, бывало, на ферме и сам Валька, пока не дали трактор, дежурил и покойный сосед Лещов. Другой Лещов. Э, да кто тут не дежурил! Нынче вот чеченцы коров доят. Приехали и доят...

Тракторист тяжко сел на скамье, захотелось узнать, сколько времени, но часы на запястье стояли неизвестно с какой поры. Валька сходил за дверь, отворяющуюся прямо в звездную холодную ночь, и обратился к Тулякову с тем же вопросом. Двери в теплушку закрывались с таким шумом, с таким оглушительным морозным скрипом, что пробудили бы кого хочешь, не только ветеринара.

— Нет, брат,— услышал Валька голос из-за котла.— Ты как хошь, дело твое, а лично я еще погожу.

— Чево? Не накопилось еще?

— Умирать погожу!

— А-а, вон што...— дошло до механизатора. «Ни хрена, что уссялася, и ешшо накопится»,— мелькнуло почему-то в памяти. Пробуя заглушить подступающую тошноту, Валька опять лег вдоль котла. Запах от хомута пробивался в его сознание каким-то дальним отрадным детским воспоминанием. Пробивался, да так и не смог пробиться. Лампа на потолке двоилась. «Я милашку провожаю, а она торопится. Ни хрена, что уссялася, и ешшо накопится»,— вертелась в голове назойливая частушка. И вдруг косвенным зрением в углу, за дровами, Валентин увидел что-то шевелящееся. Крыса, что ли? Головка торчала из-за осиновой плахи. Валька сел на «скамье подсудимых» (так он называл свое ночное ложе, поскольку ночевал тут не один он и не в первый раз).

Крыса нахально глядела прямо в глаза. Мало того, выгнула вторая, такая же, потом третья. Валька закрыл глаза и тряхнул кудрями. Поглядел вновь, а они сидели теперь и за второй осиновой плахой, сидели и дружно вертели серыми головками и вроде бы даже подмигивали. Сидели они и по потолку за прибитой доской, и за фанеркой — везде торчали востроглазые твари! Тракторист схватил березовую заготовку для топорища, которую Коч сушил на котельных трубах, бросил ее в нахальную крысиную мордочку. Полено попало в железный лист, прибитый около выводной трубы. Головки исчезли, но стоило Вальке приглядеться, они опять высывались...

Валька в ужасе затряс головой: «Все! Блазнит... Со всем я пропал...»

Туляков храпел, котел булькал, а головки все высывались из-за деревянных плах, из-за прибитой доски и фанеры. Неизвестно, что было бы дальше, если б не Коч. Двери с визгом захлопнулись за дежурным.

Он отдышался, положил рукавицы и открыл чугунную дверцу котла. Начал пихать в топку осиновые тяжелые плахи.

Валентин лежал в это время вдоль котла. Его трясло и выворачивало чуть не наизнанку, но желудок был давно пуст, блевать было нечего. Коч посоветовал потереть голову снегом.

Валька, когда немного отдышался, то спросил:

— Чего, Александр Николаевич, наверно, скоро доярки придут, часов пять есть?

— Что ты, парень? — удивился Коч.— Ежели я из избы выходил, только-только одиннадцать пикало. У меня и старуха еще не спит, радио слушает. Ляжешь или домой пойдешь?

— Домой!..— твердо произнес Валька и подергал ветеринара за ногу.— Туляков? Не чует. Пускай спит, его личное дело.

Промороженные, расхлябанные, еле стоящие во ставу двери еще раз пропели свою скрипучую песню, показали на миг темное, но звездное небо, и шаги тракториста постепенно стихли. Все стихло и в котель-

ной теплушке. Только по-самоварному булькал котел. Храпел за котлом ветеринар Туляков, спал как дома. Два кота пристроились у него в ногах: эти товарищи еще вчера почуяли сретенские морозы.

Коч сходил в коровник, сгреб в лоток свежие коровьи лепехи. Обошел все и оглядел. Не дай Бог, корова телиться начнет, что он тогда запоет? Не любил и раньше, когда своя корова телится, а тут, под старость, целое стадо. «Нет, неделю еще похожу, потом и откажусь», — решил старик, поднял упавшую фуфайку и лег на Валькино место.

Какой уж тут сон! Каждое место болит. Старость пришла, да и раненье сказывается. Ладно старуха еще бродит, а то бы совсем хана. А как тоже бродит? День бродит, два лежит. Вон опять обе ноги опухли. Заказывала, чтобы попросил Тулякова забежать. Летом Туляков глядел у нее ноги, давал какой-то мази, вроде бы помогло. Вот и опять старуха требует Тулякова. Не проворонить бы мужика, соскочит да убежит, а по телефону не скоро найдешь. Так думал Коч, лежа на хомуте.

Другая забота еще больно точила его: неладно чего-то вышло дело с пенсией. Почтальонка пришла, отсчитала. «Распишись!» Расписался, она дверями хлоп. Начал деньги считать, а там чуть не в два раза больше! Пока обувался да выходил на крыльцо, ее и след простыл. Расстроились оба со старухой. Шутка ли, столько денег? Ведь засудят девку-то, ошиблась на много тысяч, возьми любого и каждого...

Нет, Лещову чужих денег не надо. Отсчитал Коч ту сумму, какая была в прежнем месяце, положил в шкаф. Остальное завернул поплотнее в районную газетку. Молоковоз приедет, надо с ним бы и отправить обратно. Да ведь не возьмет, прохвост, скажет опять: ехай сам. Лучше уж подождать саму почтальонку, отдать из рук в руки. «С пенсией нынче один грех, — сам себе говорит Коч. — То одну цифру начислят, то другую, то надбавка какая-то, то скидка. Ничего не поймешь!»

Да, с нынешней пенсией Коч совсем запутался. Переживал он из-за того, что больно много прибавили. Чего-то у них там неладно. Говорят, машина считает,

а машина она машина и есть, всегда с ошибками. Принесли аж около ста тысяч. А почему старухе-то в десять раз меньше? Ведь она тоже войну в колхозе ломала. Каково было в колхозе, он знает и по себе, и по той, по первой женке. Из-за колхоза и умерла раньше времени. А он, Лещов, говорят, фронтовик. Ладно. Очень приятно, что Ельцин фронтовиков чтит. Над воротами прибили крашеную звезду. Дело хорошее. Только все одно, неладно чего-то. Несправедливо. Возьми ту же Марью Смирнову. Пенсия меньше старухиной, а ведь с молодых лет то на ферме, то полевые работы, а муж-хозяин убит на фронте. Так и стоит Марьин мужик в глазах у Коча! Стоит и будто спрашивает: чего это тебе, Лещов, такая честь, сто тыщ? А моей Марье и всего ничего. Твое здоровье ничуть не хуже, а она вон еле и по деревне бредет...

Коч задремал под всякие думы. Как дома на печи, пригрело его у горячего коровьего самовара. Хорошо, дородно. Хребтину прогрел. Под утро еще раз сходил в коровник, отгреб где надо, а дверным скрипом пробудил Тулякова.

— Александр Николаевич? — Ветеринар проворно вылез из-за котла.— Ты уж извини, что я твой плацкарт занял... Мы это... с Валентином вчера... тут и уснули. Дежуришь?

— Опять. Вишь, больше-то некому. Да ты лежи, лежи! Рано вставать-то.

— Эх...— ветеринар завернул матюгом.— И кто только это вино придумал? Шею бы свернуть тому человеку!

— Бес придумал...

— Ну дак и ему бы рога обломать!

— А правда, что и самогонку Ельцин позволил гонить? — спросил Коч.

— Правда, правда. Вот я в Череповец ездил. Да там в магазине прямо торгуют.

— Самогонкой?

— Да не. Продают самогонные аппараты. Выпускают и продают...

Коч усомнился. Не понял старик: то ли всерьез Туляков говорит, то ли шуткой.

Уточнять постеснялся. Ветеринар попросил воды. Старик подал ему чайник. Туляков попил прямо из горлышка, отдышался и начал показывать, как устроены череповецкие аппараты:

— Значит, бачок. От бачка трубка идет... А ты што, Александр Николаевич, думаешь, сам Ельцин не пьет? Да он зырит больше Горбачева и больше меня! Берет для этого специальные отпуска.

— Отгулы?

— Ну, отгулы, загулы или прогулы, какая разница? Конечно дело, ему врачи нарояливаться не дадут, да и прихлебай-собеседники какую-нибудь бурду пить не станут. Не то что мы...

«Да уж...— подумал Коч.— Вы-то с трактористом мастера нарояливаться».

И тут Лещов припомнил домашний наказ: попросить ветеринара, чтобы пришел, поглядел старуху. «Рояль» тоже стоял в лещовском шкапу. Правда, приберегал этот «рояль» на вывозку дров, вот-вот должны были начинать заготовку для фермы. Заодно бы и ему привезли. Но что делать? Ноги у старухи совсем опухли, в больницу никак не едет. Без Тулякова не обойдешься. Жалко такую большую баскую бутылку, но распечатывать, видать, придется.

— А я, Александр Николаевич, по утрам не пью! — сказал Туляков, словно читая стариковские мысли.— Это вон Валька не способен без опохмелки, а мне на другой день не надо. Мне квас либо сыворотку. Баня тоже хорошо помогает.

«Ну, мы-то знаем, чего тебе по утрам помогает»,— подумал опять Коч, а сказал совсем другое:

— Дак ты погляди у меня бабу-то. А я тебе баню-то истоплю.

— Старуху погляжу, а баню не надо.— Туляков искал свою ветеринарскую сумку.— С молоковозом домой уеду...

Двери на миг со скрипом открыли небо с потухшими звездами и снова прикрыли.

Утро синело на улице.

— Здравсте!

Вошли двое приезжих — муж да жена. Они уже несколько месяцев жили в пустующем колхозном клубе. Взялись обрывать двадцать коров, а сами и доить не умеют.

Коч даже ихней фамилии не успел выучить. Но ветеринар-то обоих знал хорошо хотя бы и по той же рояльской практике.

Сухая бабенка, крашенная, в городских сапогах, в синих джинсовых штанешках, сразу попросила у Тулякова закурить. Напарник ее, угрюмый, погрел руки о горячий котельный бок и открыл вентиль для теплой воды. За стенкой брякнула дужка бадьи. Геля Смирнова, Марьина дочь, тоже пришла на дойку. Приезжие погрелись минут пять и ушли в коровник. Движок загудел, промычала корова, началось обычное утро.

— Откуда они? — спросил Коч.

— Из Чечни,— отмахнулся Туляков.— Ну, Александр Николаевич, пойдем поглядим твою молодуху. Ноги, говоришь?

— Опухли! — подтвердил Коч.— Мази просит, какую давал с осени.

— Той мази у меня нет, попробую другую.

И Коч проворно пошел следом за Туляковым, не струсившим с похмелья лечить обезноженную Кочову старуху.

Котел по-самоварному булькает в тепляке. Оставшись один, он как бы разговаривает сам с собою. Впрочем, почему один? Двое бездомных колхозных котов по праву заняли туляковский плацкарт. Они сладко спят на топчане между котлом и стенкой, где постланы сено и чья-то старая шуба. Без Коча и Тулякова им стало еще лучше. Иногда просыпаясь, оба кота жмурятся и мурлычут. Уверенность в надежной молочной дани даже в дреме не покидает ни того, ни другого. И котел тоже мурлычет, разговаривает сам с собой. Светает взаправду.

Мелькают фляги и ведра, перелетают у Гели из руки в руку, без шума и звону оказываются на своих привычных местах. Вода не льется напрасно, ни теплая, ни холодная, в горячем пару бухается куда надо. И шланги

под ногами не путаются. Когда огляделась после дойки, на цементном полу никаких следов. Фляги с только что выдоенным молоком стоят уже в другом помещении, в холодной водяной ванне. Подсыхает на своих штырях промытая кипятком марля, доильное устройство прибрано, молочная бадейка с ведрами вымыты. А моторчик с компрессором все гудит да гудит. Можно бы и домой бежать. Но Ангелина Смирнова домой не бежит, что-то ее держит на скотном дворе. Что? Она и сама не знает. Может, оттого, что компрессор не выключен, она не уходит с работы? Или коров жалко, вторую неделю ни силоса, ни концентрата. На чем держатся, бедные? На полугнилом сенаже да плесневелой соломе. А ведь скоро и отелы пойдут.

А вон бык, Сударик, тоже по норме живет. Как идешь мимо, так и оглянется. И глядит, и глядит, ждет перемены. Да и все коровы глядят, ждут. Когда-то, мать рассказывала, у каждой коровы была своя не только кличка, но даже паспорт. У людей не было, а на каждую корову и лошадь паспорт. В нем все было записано: и кличка, и масть, и от кого рождена, и которая по счету лактация. Клички телятам давались на ту букву, с которой начинается материнское имя. Теперь в конторе давно нет никаких коровьих бумаг. Летом животных ни по вечерам не считают, ни по утрам. Лежит ли корова в лесу или где-нибудь в кустах, отказали ли ей больные ноги — оставайся на съедение волкам. Никто не хватится, кроме Гели Смирновой...

Утробный, жалобно-грозный мык вплетался в гудение компрессора, плыл и стелился по всем проходам.

— Сударик, Сударик, ты чем недоволен-то? — Геля погладила кудрявый бычий загривок. Бык угрюмо потупился. Затих. С кольца до земли тянулась слюнявая нить, в синем глазу краснела кровавая жилка. Ушла Геля — бык опять за свое. Не любит, когда на двор приходят чужие, иной раз и копытом скребет. А когда совсем разнервничается, то ковыряет и рогом. Тогда уж кроме Гели никто к нему и не подходит.

Нынче Сударик никак не может привыкнуть к новым работникам из Чечни. Вчера Валентин — до чего

человек допился — говорит при всем честном народе: «Чеченцев боится не один Сударик, вся Москва струсила. Кабы сам Хасбулатов приехал наших коров доить, тогда бы другое дело. Наш Сударик хоть и не уважает начальство, а для Хасбулатова сделал бы исключенье».

Хорошо, что приезжих рядом не было. Да и какие они чеченцы? По-русски говорят не хуже нашего. Беженцы просто. Только доить не умеют. Когда-то еще научатся... Говорят, что детей оставили в Краснодаре у родственников. Кто их знает? Может, и врут, а все равно жалко. Вон еще и сено не ношено, а она доить пристроилась. Во рту сигаретина...

Геля хватает в молокоприемной чистую бадейку и бежит подсоблять.

Скорее бы можно самой всех коров подоить, чем научить приезжую дергать за сиськи! Только дергать-то как раз и не надо. Надо давить и тянуть не шибко, тогда и молоко из соска побежит. Еще надо, чтобы корова полюбила доярку.

— Которая у тебя хромая? — услышала Геля туляковский голос.— Показывай! Всех инвалидов на мясокомбинат спишу.

— Самого-то тебя списать бы. Ты ведь лечить поставлен, а не списывать! — крикнула Геля сквозь бычий и компрессорный вой.

— Я коровьих ног не лечу,— отшутился Туляков.— Одне старушечьи...

— А тебе кто разрешил? Тебе по коровам диплом дан.

— И по овцам, и по лошадям,— обиженно добавил Туляков.

Геля показала ему хромую корову. Туляков сходил в теплушку за ведром, нацедил теплой воды и промыл копыто.

— Э, Гелька, да это нам хоп-хны! Вишь, какой гвоздь торчит? Не будем эту активировать, она еще надоит не одну цистерну.

Ветеринар плоскогубцами вытащил из копыта гвоздь.

— Это нам... нечего делать. Гелька, скажи спасибо! Могла бы и сама поглядеть. Которые еще хромые, кривые? Лейкозных в отдельный список...

Геля не слышит Тулякова. Она увлеклась и подробно показывает приезжим, как лучше обмывать коровьи соски, разминать вымя и что делать с этими резиновыми штучками.

Ветеринар отправился греться. У котла он почувствовал жажду и тошноту, теперь ему захотелось лещовского чаю, от которого сгоряча отказался. «В принципе, можно бы, конечно, иную какую мензурку... лишь бы к молоковозу успеть. Но либо не было, либо уж очень хитра», — мелькнула мысль про Кочову старуху, но додумать не дала Марья Смирнова. Она с морозом и шумом объявилась в теплушке:

— Ой, батюшко, я тебя хоть не прозвала-то! Стекло всю утреннюю. Хоть ты не уехал-то! У коровушки рог завился да в лоб и уперся. Опили, батюшко, ради Христа. Сколько раз Гелюшке говорила. Да ты ночевал-то где?

Туляков хотел было ответить в рифму, да удержался и решил по-культурному.

— Не имеет значенья, — сказал он и подумал: «Вишь, рог опилили да еще и доложи, где ночевал. А может, к Марье на самовар сходить? Рог опилить минутное дело...»

— Ищи ножовку слесарную, отпилим в один прием, — сказал Туляков.

— Да где искать-то? У Валентина ежели, дак он севодни не с той ноги встал. Первой-то раз пришел ни свет ни заря. Я к воротам вышла, все, говорит, Марья, каюк мне. Я говорю, чево таково стряслося? Каюк, Марья, каюк. Конченой я. Последняя стадия... Да чево сделалось-то? Да чево, чево, блазнить начинало! Я так и охнула. Хуже этого нет, когда человеку блазнит. Вот, говорю, до чево ты допил-то! Перекрестись, говорю, да иди домой! Чаю попей, а в город в командировку пошлют, дак ты тамо в церкву сходи, свичку поставь Николе Милостивому. Блазь ту у тебя как рукой снимет. Ушел. Я ворота-ти заперла, улеглась. Утром Гелюшка на двор ушла, он вдругорядь явился. Пропавший я человек, дай бутылку! Нету, говорю, Валя, нету и духу, а какая была, дак ты сам и унес третьево дни. Ну, говорит, пойду к Лещову, у тово-то всяко есть...

Коч после таких слов покашлял, начал искать рукавицы. Ему было стыдно, что ничем не угостил Тулякова за новую мазь.

— У тово всяко, говорю, есть,— как нарочно повторила Марья.— Ежели на дежурство убрел, дак проси у старухи, всяко даст.

— Ты чуешь, Лещов, чем твое дело пахнет? — захотал Туляков.— Пока коров караулишь, старуха твоя это самое... Вишь, все без тебя решили, даст не даст.

— А пусть дает! — сказал весело Коч.— Баба не лужа, хватит и для мужа, она у меня ишшо крепкая, старуха-то...

— Лешие, сотоны,— замахала руками Марья.— Опеть на свое свернули. Да какая она у тебя крепкая, ежели еле бродит? До «Прожектора» не можно свозить, в больницу-то. Крепкая.

— В «Прожектор», Марья, и тебе не советую,— строго сказал Туляков.— Новое постановление вышло.

— Какое ишшо? — Марья встревожилась.

— Раньше бабы да девки на государство одну кровь сдавали. Твоя Гелька тоже сдавать ездила.

— Ну дак што?

— А то, што нонче велено и молоко сдавать. Так и написано: все бабы, которые не девки, обязаны доиться, иначе хлеб будет не триста рублей буханка, а шестьсот.

— Тьфу тебя, сотону! — засмеялась Марья.— А ежели которая яловая?

— Не имеет значения. Указ подписан самим Ельциным.

— Опеть позавчера выступал, стельная рожа.— Марья перевела разговор на серьезную тему.— Харя-то вся оплыла, а рубаху надел новую. Я глядела, глядела да и выключила! До чево напостыло, все одно и молотят в этом телевизоре. А девки-ти! Господи, царица небесная матушка! Гляжу один раз, вижу, он-то сидит, а она-то уж вся голая, Господи, чево дальше-то будет? Стыда-то нисколько нету. А то и плясать начнут, ноги-ти закидывают выше головы, то одну, то другую. Либо драку подымут. Да тут и не пьешь, дак с ума сойдешь. Я Валентину-то говорю: Валя, батюшко, пожалей де-

ток-то, поезжай к областным-то врачам. Поезжай добром, пока с милицией-то тебя не отправили. Поеду, грит, Марья, поеду, только бутылку дай. А я где ему бутылку возьму? Пойду, говорит, к Лещову...

Коч поднялся и, чтобы не участвовать в опасном для него разговоре, ушел в коровник. Больше всего он боялся за свою бутылку «Рояля», что стояла дома в шкапу. Без нее ему дров не видать нынче, как своих ушей. Еще и рубить не начали, а вон сколько доброхотов! Как спутники летают вокруг этой бутылки.

Оттого и ушел Коч, чтобы не расстраиваться. Образовалась было тишина в тепляке, но не надолго. Двери раскрылись, вошла Геля, а за ней через порог долго перешагивала сама лещовская старуха. То ли не доверяла она туляковским рецептам, то ли сам ветеринар посоветовал ехать ближе к медпункту. А может, повезла на почту «лишнюю пенсию», полученную Кочом? Она поздоровалась как положено, отпышкалась. Расстегнула плюшевую жакетку, присела на «скамью подсудимых».

— Ну вот, сама пришла, дак все и скажет,— сказала Марья.— Был у тебя Валентин-от?

— Был, как не был.

— Дала или не дала? — спросил Туляков, подмигивая.

— Выпросил, бес!

Старуха не поняла, отчего дружно расхохотались присутствующие, и начала объяснять подробности:

— Да как не дать-то, ежели он ревом ревит! В ноги ко мне кинулся.

Эти слова рассмешили еще больше. Ладно, что Коча не было у котла, он отгребал навоз в коровнике. Кочу было совсем не до смеха... Все вдруг стихло как по команде, в дверях показалась чеченская пара. Не поздоровавшись, начали греться, и от этого какая-то тягостная минута установилась в теплушке. Марья Смирнова опомнилась первая:

— Тибя, матушка, как зовут-то?

Приезжая закурила, закашляла и потому ничего не ответила.

— Иди сюда, туто-тка и ноги можно погрить,— не отступала Марья.— По снегу в эких сапожонках, у кого хошь ноги-ти замерзнут...

И заговорили вдруг все сразу: приезжие между собой, Марья тараторила про то, как вредно носить резиновые сапоги, особо зимой либо на ферме. Старуха Коча опять докладывала ветеринару, но теперь уже не про ноги, а про иные свои немочи. Туляков слушал старуху, как настоящий доктор, всерьез давал всяческие советы. Геля вдруг как фыркнет! Так ей стало смешно — невтерпеж. Успела, правда, зажать рот чистым платком, и Туляков вроде бы не заметил. И радио как раз сильно запело, молчало все утро, а тут запело, включили где-то там на узле на полную мощность. В девятом часу можно бы и домой, но Геля ждала Петьку-шофера с молоковозным трактором, чтобы сдать молоко. Сменить у котла дежурство, качать в бак воду и сдавать молоко должна была жена пьяного Вальки. Из-за большого семейства он часто оставлял ее дома и делал эту работу сам. Сегодня уже восемь часов, нет ни того, ни другого.

В тепляке стоял такой громкий говор, что радио не могло перекричать говорящих. Особенно слышна была Кочева старуха. Но и Марья, Гелина мать, не теряла времени:

— А ведь вчера, девушка, родительская суббота была! Я пирога-то напекла да к мамке на могилу и побрела, а снегу-то, милая, снегу-то! Гляжу — и креста нету. Не бывала на кладбище с осени, как мамку хоронили, так и не бывала всю зиму, грешница. А крест набоку, под снегом. Вот она, мамка-то, мне и приснилася, и пришла во сне-то. Да не одна и пришла, а пришла с Миколаем Угодником. И говорит мне: «...Марютка, Марютка, пойдешь в лавку-то, дак не покупай белой-то хлеб, береги денежки-ти». И до того явственный голос-то говорит, я во сне-то так и заплакала. А вить и он рядом с мамкой стоит. Стоит да поглядывает, Микола-то Милостивой.

Туляков прислушался, спросил Марью:

— А ты как узнала, что это Никола?

— Да как! Ево больно просто узнать. Бородка сивая, на белом балахоне на плечах-то экие большие нашиты кресты. Точь-в-точь как на иконе. А икона-то во гроб с

мамкой положена. С бочку али в изголовье, не помню уж.

Тракторный гром раздался у самых дверей тепляка. Геля выбежала на улицу: Петькин «Беларусь» нечередом разворачивался, затем пятился с цистерной задом к воротам, за которыми помещалась ванна для охлаждения. Петька пятился и одновременно что-то кричал из кабины. «Вот, опять «уазик»-то ты изломал,— подумала Геля про Петьку.— Опять посажен в наказанье на трактор».

Как всегда, при виде Петьки Геля вспоминала погибшего сына — афганца. Ровесники ведь! Зажало и сегодня судорогой Гелино горло. Петька остановил трактор и крикнул:

— Смирнова, я вам гостя привез!

«Какого еще гостя?» — удивилась Геля. В кабине никого вроде бы не было. Петька открыл дверцу и с торжеством подал ей закутанного в чью-то шубу Антона:

— Матка пешком по морозу идет, а его с вещами со мной отправила...

Геля приняла Антона из рук в руки.

— Бавшка, бавшка,— закричал мальчишка, увидев Марью в дверях теплушки.— Я зайчика на дороге видел!

Марья, переваливаясь с боку на бок, но очень проворно бросилась навстречу мурманскому гостю, запричитала, заобнимала:

— Милое ты мое, свичушка ясная, чуяло сердце все утро. Господи, Онтонушко! Ну-ко, ножонки-то не холодные ли? Хоть тилиграмму-то дали бы, приехал как снег на голову, а где матка-то?

Пока встречали нового человека, чеченская пара ушла, а ветеринар заявил:

— Ну, вот что, Марья! Не здря, видать, ты такой сон видела! Рога у коровы опилим в другой раз.

— Да ведь уперлось прямо ведь в лоб! Вдруг проскочит в голову-то?

— Не проскочит! Голова на лбу крепче любых рогов. Дня через два приеду и опилю. А то вон Валентину скажи, он сегодня кому хошь рога опилит, хоть Ельцину, хоть самому черту...

Валька, качаясь и разговаривая сам с собой, привился от деревни к ферме:

— Туляков? Стой!

— Стою,— сказал Туляков.— А ты?

— Служу сороке и вороне, готов к труду и обороне!

— К обороне-то ты готов, а к труду, пожалуй, не го- ж. К труду на сегодняшнее число и я не готов. Вот приеду домой, сразу баню...

— Никаких бань! — Тракторист показал новенькую, пузатую и красивую, но уже ополовиненную Кочову бутылку.— Ты немецкий учил? Читай! Ро-яль! Тыщ пять, а почему без мягкого знака? Я всю ночь думал, почему нету мягкого знака. А ты тут здря проспал. Дрыхнешь, храпишь. Тебе коты с обеих сторон сказки рассказывают. Давай сюда! У котла мы с тобой все решим. Эта рояль последняя в моей жизни! Последняя, понял? Завязано. Больше пьяным ты меня не увидишь!

— Сказки дядюшки Римуса! — проговорил Туляков и полез к Петьке в кабину, куда уже взгромоздилась дородная Кочева старуха.

Никто не думал, как можно втроем уместиться в тесной кабине. Не много и времени потребовалось, чтобы перекачать в цистерну молоко, надоенное Гелей Смирновой и двумя беженцами из далекой Чечни.

Трактор взревел, напустил дыму, дернул и укатил на асфальтовый тракт.

Валентин зашел в пустую безлюдную теплушку. Долго слушал, как булькает слегка остывший котел. Но это не котел булькал, а мурлыкали два кота. Тракторист взял пустой чайник, сходил за снегом. Повесил чайник на ручку котлового аварийного клапана. Когда натаяло немного воды, Валентин прищурился, разглядывая красивую зарубежную этикетку. Вскоре огненная заморская жидкость обожгла сухое Валькино горло... Тракторист не спешил гасить этот бесовский огонь родимой снежной водой. Он словно испытывал свое нутро на железную прочность.

Старый Коч не знал, какую кару придумать своей непутевой старухе, когда Валька начал звать его в теп-

лушку. Дураку ясно, чьим спиртом угошал тракторист! К тому же Лещов сроду не пивал этого бесовского пойла. Уходя домой, он случайно увидел такую картину: Валентин обнимал быка за толстую шею. Тракторист гладил слюнявую бычью морду и что-то говорил, говорил. «Уж не плачет ли?» — подумал Коч. Сударик молчал и, как показалось Лещову, внимательно слушал человеческие слова.

Тихо, чтобы не спугнуть Вальку, через хозяйственный коридор вышел Коч на улицу. Уже чуялось первое тепло, хотя солнце, как бельмо, желтым пятном светило сквозь облачную небесную мглу. Зато воробьиная стайка толклась на дороге так беззаботно, так по-детски беспечно прискакивала, чирикала и что-то клевала, что у старика полегчало на сердце.

«Всяко уж без дров не останемся», — подумал Коч.

## ВО САДУ ПРИ ДОЛИНЕ

Однажды в Вологде для всех неожиданно явилось рогатое существо с бесцветной мефистофельской бородищей. Большой лохматый козел на тоненьких ножках, не обращая на людей никакого внимания, неторопливо прошествовал по улице Герцена. Полный дьявольского достоинства, он ступил на мост через Золотуху и смело, на красный свет, повернул вправо. Самосвал со скрежетом затормозил. Встречный троллейбус поспешно застопорил. Серое вонючее чудище пересекало улицу по каким-то своим козлиным правилам.

Взрослые вологжане ничуть не удивились такому явлению. Мало ли нагляделись они чудес на веку? (Вологжан вообще трудно чем-либо удивить, мне уже приходилось говорить об этом.) Хождение козла по центральным улицам города не вызвало изумления. Правда, некоторые старушки плевались, зато мини-юбочные девицы делали вид, что не существует никакого козла. Мужское сословие соревновалось в юморе. Пожилые прикидывали, откуда такое чудо:

— Наверно, с мясокомбината дал деру,— задумчиво говорил чистоплотный старичок.

— Не ври! Там таких нет,— не соглашался другой.— Это из цирка.

— Какой тут цирк! — горячился третий.— Цыганский козел, он ходит из-за реки.

— Хватай за рога и веди в милицию,— предложил кто-то из молодых.— Сразу хозяин объявится.

— Веди сам!

Начали выяснять, можно ли сдать козла в милицию.

— Нужен он милиции, такой патлатый,— примиряюще завершил чистоплотный пенсионер молодому спорщику и пошел восвояси.

Прохожие уступали марширующему козлу место на тротуаре. Некоторые восхищались могучими, омерзительно воняющими рогами. Но интерес к животному быстро погас. Козел величественно продефилировал к площади Революции. Какие-то школяры попробовали погладить, но козлиная вонь быстро пресекла такую попытку. Лишь малые детки детсадовского и ясельного возраста, рожденные уже во времена злополучных реформ, донимали своих бабушек:

— Бабушка, бабушка, гляди, какая собачка!

— Это козел, а не собачка,— вразумляет несмышлениша бабка.

— Он в лесу живет?

— В лесу, в лесу,— отбояривается старуха.— Пойдем скорее, а то забодает. Гляди, какие рожищи-ти у этого беса!

Впрочем, и некоторым взрослым казалось, что козел вышел если не из леса, то из какого-нибудь ближнего болота. Так он был грязен, вонюч и ленив! Какой-то шутник враз окрестил его «президентом». Чего ж от детей ждать? Городские ребяташки никогда не видали живых козлов. Давно никто не поет песенку «Жил-был у бабушки серенький козлик». Они, то есть козлики, улетучились даже из книжек. Исчезли и сами книжки с картинками, а если и появится какая, то купить ее слишком дорого. При всем этом изображены в этих книжках обычно какие-нибудь кенгуру, змеи либо зеб-

ры с жирафами. В скверике на Октябрьской улице для вологодской детворы начальство утвердило даже бетонные фигуры, не пожалело бюджетных денег. Два зубастых крокодила встали на бетонную же черепаху, словно кремлевские часовые, а рядом пучат глаза три безобразные жабы. Читатель спросит: для чего так много земноводных в бетонном исполнении? Праздный вопрос!

Напротив магазина «Школьник» тоже нагромождены бетонные «художественные» персонажи, словно противотанковые надолбы. Они привезены в Вологду аж из самой Москвы. Так сказать, централизованное снабжение, оно осуществлялось в Вологде еще в первые годы перестройки. (Имя тогдашнего мэра автору называть опасно, так как мэр этот резко повышен в должности.)

Откуда же вологодским детишкам и знать о таких существах, как мишки, зайчики и всякие козлики. Читатель сам догадается, что после реформ и малышни в городе стало значительно меньше. Не требуется теперь строить новые детские садики.

На этой теме и закончили разговор двое чистоплотных пенсионеров. Дело на этом закончилось бы, не появившись вонючий козел в городе еще раз. Затем он бесследно исчез. Обывателям и до сего дня не ясно, куда он исчез. Может, его продали, может, как-то выселили в сельскую местность. Может, вообще провалился он в преисподнюю. Во всяком случае, среди людей он больше не объявлялся.

Пенсионер, подавший мысль о бегстве козла из передвижного цирка, был Степан Кенсаринович. (Есть у нас и такое имя — Кенсарин.) Фамилию указывать ни к чему, поскольку в среде вологодских демократических тусовок наверняка найдется личность, способная искать Кенсариновича через адресное бюро, проверяя достоверность козлиной темы. Заодно могут пощупать и авторскую правдивость. Сам Степан Кенсаринович давно забыл про козла, поскольку прошло с тех пор несколько лет. Теперь же стояла зима, а не лето, впридачу глухая морозная ночь. Даже небо над Вологдой вызвездило.

Степан Кенсаринович проснулся в тревоге. Он пробудился не столько от холода, сколько от беспричин-

ной тоски, похожей на предчувствие скорой предстоящей потери. Ему приснился поганый, хотя и не очень страшный сон. Тот самый козел, что маршировал по улице Герцена с последующим выходом на улицу Урицкого (нынешнее название «Козлѣнская»), стоял в глазах так четко, так явственно. Рогатый паршивец показал Кенсаринычу даже язык... Казалось, что Степан носом услышал козлиную вонь...

Ветеран открыл глаза. Кровавый сумрак от включенного рефлектора не взбодрил и не успокоил. Тоска в сердце не исчезала. Рефлектор горел всю ночь, таким способом жена Аксинья Семеновна поднимала градусы в холодной квартире. Где вот она сама-то, Семеновна? Куда подевалась Куксиновая посреди ночи? (Иногда Кенсариныч называл свою Аксинью по-шуточному — Куксиновой.)

Диван был пуст, комната без нее как чужая. В квартире впору волков морозить, а тут еще этот сон... Образ козла, показывающего розовый мерзкий язык, еще витал в знобкой тишине двухкомнатного жилища. Степан Кенсаринович терпеть не мог ночных сновидений. Особенно раздражали его женские разговоры про сны. Он почти отучил жену от таких разговоров. Теперь вот и сам... От козлиной хари, приснившейся Кенсаринычу, муторно, как с похмелья. Но куда жена-то могла ускользнуть?

Приходилось вставать, чтобы сходить в туалет. Вылезать же из-под трех одеял (одного стеганого и двух байковых) одно расстройство. В квартире стояла такая стужа, что мерзли уши. Подумалось: «Надо теперь с вечера ложиться в зимней шапке. Завязочки придется тоже завязывать. Ох, леты-диабеты... Чего это он мне приснился? И Семеновны нет... Куда она могла увиснуть середь ночи? В больницу так вроде бы рано. К дочке что ли уехала втихаря? Так ведь, наверно, еще и автобусы в гараже стоят. Будильник, подлец, молчит, не тикает. А, вот оно что! Завод весь вышел... Значит, сейчас либо вечер, либо утро. Наверно, она в магазин поперлась, больше некуда. Нынче и денег нет, зато иные магазины и ночью отворены...»

От этой мысли Кенсаринычу сразу стало легче. Он включил радио, но оно даже не хрюкнуло. Выходило так, что стояла глубокая ночь. Ничего себе! А сон про козла никак не выходил из головы. Точнее, откуда-то из сердца... Проклятый холод! Скорей бы хоть лето. Но до тепла нос протянешь, ведь еще и весны не было...

Кенсариныч с большими трудностями сходил в туалет. Распечатывать трои-двои кальсоны все еще не выучился, хотя холод стоял давно и спать приходилось третью неделю в упакованном виде.

До перестройки каждое утро Кенсариныч делал зарядку. Горбачевская катавасия совпала с выходом на заслуженный, как говорится, отдых. Только на «отдыхе» приключилась такая неразбериха в деньгах, что ветеран вместо зарядки — прямиком бежал к телевизору. И жену к ящику приучил. Нынче оба-два с утра ждут, что скажут демократы про компенсацию сбережений и не прибавят ли хоть немного «пензию».

Кенсариныч и будучи одетым постоянно мерз. Особенно стыли ноги. Выручала Семеновна: сразу после передачи «Время» она грела Кенсаринычу место в кровати. Только после этого переходила на свой узкий, ледяной от холода диванчишко. На эту тему супруг регулярно придумывал новую шутку. Она, чтоб согреться, тоже наваливала на себя Бог знает сколько тяжести, одеял, фуфаяк и старых душегрей. «Грелка-то есть,— подумалось Кенсаринычу,— да одна. Ее не поделишь. Вторую купить бы, да накладно. Воду грели кипятильником, а Семеновна на электричестве сэкономила. Сколько они опять сгребут по счетчику-то? Может, и денег от пенсии не останется».

Батарея была совсем прохладная. На градуснике двенадцать, на часах ноль, будильник стоял безмолвный. Кенсариныч глухо матерился, ругая новую власть, угрожая ничего не платить домоуправским девкам. Ругался он сейчас и от поганого своего сна. Это надо ж! Козел приснился... Нет чтобы лошадь либо корова. Телята цыганские тоже по городу иной раз бегали. Однажды около старого базара убило машиной мерина, горой лежал и копыто в небо. Тоже цыганский. А может,

чеченский? Прямо посередеь площади дорогу загородил, машина его и хряснула. Не снятся ни мерин, ни собачьи сварьбы. А утки почему не приснились? Они вон и в крещенский мороз в Золотухе плещутся, и бомжи их не трогают. Тоже чудеса, но утки почему-то по ночам людям не лезут в голову...

Козел как-то сам по себе соединился в размышлениях то ли с Гайдаром, то ли с самим президентом. Кенсариныч мысленно обматерил того и другого:

— Козлы! До чего дошло, вымораживают пенсионеров, как тараканов... Лекарство в аптеке и то инвалидам не по карману. Одним банкирам, еще губернаторам по карманам.

Кенсариныч опять с горечью вспомнил обещанную Ельциным компенсацию сберегательных вкладов. Видно, ему уж и не дожить до нее.

Тысячу-то рублей копили они оба с Куксиновой. Вот и докопили. Пропить бы, и то лучше! Нет, не отдаст Ельцин эту тысячу, хотя и сулил. Опять обманывает, прохвост! Сколько уже разов обманывал...

Так думал Степан Кенсаринович, с нетерпением поджидая жену. Включил он было радио, а оно ни гу-гу, плюнул, выключил. От одного радио не согреешься. Да и чего там слушать, одна долбиловка. Называют музыкой. Будто поварешкой колотят по голове... Ежели когда и поют, то все почти не по-русски.

...Красный сумрак висел в свежем пространстве приватизированной двухкомнатной. Выключенный рефлектор вскоре угас, напоминая Кенсаринычу молодость. Тогда юный Степка выучился в ФЗО на печника. Была при Сталине и такая должность. Клал Степан печи в старых домах и в новых, то есть на стройках. Строительства было много. Рабочие в тепляках жгли «козла» и в дождь осенью, и зимой в мороз. Сушиться-то людям как? Особенно, если промок под дождем. «Козел» — это что значит? Это просто. Асбестовая труба с намотанной на нее железной проволокой. Поставлен этот «козел» на железные ноги. Подключи ток, и проволока от жары сразу станет розовая. Только пар идет от фуфаек и мокрых штанов! Электричества при Сталине было вдо-

воль. Газ, правда, имелся не в каждом доме, ну а нынче-то разве в каждом? Сосед Хмырёв по пальцам однажды считал, сколько старух еще до Нового года умерло в хмыревском сельсовете. Дак пальцев-то на руках не хватило... В хмыревских местах газ-то сроду не ночевал. Гонят его из России за границу. В ту же Австрию да Германию. А Девятое мая придет, опять хвастовства-то сколь! Мы, дескать, победители...

— Ох, леты-диабеты, совсем я пакнул\*, — вслух произнес Кенсариныч, чтобы не думать о газе дальше. — Старость не радость. Не дожить мне, видно, до компенсации-то. Выморит Ельцин всех ветеранов, а после и компенсацию кой-кому выдаст, ежели усидит. И молодые-то мрут как мухи, не одне старики. Да куды она провалилась, Куксиновая?

Вспомнил вчерашнее укладывание, когда жена собственным телом грела мужу постель. Холодное семейное ложе на секунду вызвало горькое чувство, на ходу придумалась такая частушка:

*Головешечка не топится  
Осиновая,  
Постарела и Семеновна  
Куксиновая.*

Частушка Семеновне вроде понравилась, но вскоре баба захрапела. Степан Кенсаринович угрелся и уснул. Он и про новую власть частенько тренировался в частушках, аж посылал их в газету «Русский Север». В ответных письмах редакторы хвалят, просят новых, а старые не печатают...

Пока надевал штаны да искал валенки, стрелки будильника с места не сдвинулись. «Бастует, как воркутинский шахтер, — подумал Кенсариныч. — Сколько же сейчас-то?» Кот спрыгнул с теплого места в кровати, мурлыкая, потерялся о валенок. Входная дверь наконец-то хлопнула. Жена появилась, и на душе Кенсариныча совсем полегчало. Много ли человеку надо? Он даже не стал допытываться, где Куксиновая была, кого видела,

---

\* Пакнул — устарел, стал плохой здоровьем.

какова погода и сколько времени. Но Семеновна разгрузила на кухне авоську и доложила, что на воле не больно холодно, ветер переменялся. И что видела Маринку. (Маринка была из одной деревни с Кенсаринычем и приходилась дальней родней. Отец Маринки, сброшенный с воркутинского поезда, считался троюродным.)

— Где Маринку-то видела?

— Да где...— жена что-то подзамялась.— В магазине и видела. Чего, спрашиваю, не заходишь. Все, грит, некогда...

— Где этот магазин-то?

Семеновна промолчала, наверно, не расслышала. Кенсариныч не стал и допытываться. Он и без того был доволен, что она дома, и спросил, сколько времени. Но часы на руке у Куксиновой стояли, как и будильник.

— Не вышла Маринка замуж-то?

— Какое! Сказала бы, кабы вышла.

Ни тот, ни другой так и не выяснили, который час, а внизу за окном прошла с урчаньем первая машина.

— Хлебная или мусорная? — Кенсариныч выглянул за штору.— Миличия вроде.

Кот вздумал проситься за дверь.

— Куды опеть лыжи-ти навострил? — возразила Семеновна.— Сидел бы дома, на улице ведь еще студенее.

— Выпускай! — посоветовал Кенсариныч.— Может, ему до ветру.

— Какое до ветру. Опеть поди-ко завел сударушку.

— Рано ему вроде бы блядовать,— усомнился Кенсариныч.— Январь месяц...

Семеновна выпустила кота на лестничную площадку. Кенсариныч надел очки и опять долго разглядывал, что показывал градусник:

— Давно ли было шешнадцеть? Севодни чертова дюжина. Напишу прямо Ельцину! Подай карандаш!

— А отступись ты от них, побереги невры-ти!

Семеновна говорила «огранизация», «невры», пьяных называла «калоголиками».

— Хоть ельцину, хоть заельцину, толку не будет. Письма-ти наши поди-ко и не распечатывают.

— Оно так,— согласился Кенсариныч.— Ставь товды

чайник, хоть кипятком нутро отогреть... А завтра все равно пойду стекла бить...

Семеновна хихикнула и говорит:

— Пошто завтра-то? Иди уж севодни. Какую нонче организацию будешь пазгать? С Нового года ходишь, воно сколько рам-то нахрястал!

На сей раз Кенсариныч удержал матюги внутри. Возразить было нечего. Хотелось ему рассказать про сегодняшний сон, однако что-то его удерживало. Стеснялся, что ли? А козлиная харя так и стояла в глазах.

— Завари цейлонского-то! — попросил Степан Кенсаринович.

— Да цейлонской-то у меня весь подчищен,— отозвалась жена.

Мужу волей-неволей пришлось это сообщение «принять к сведению», как писалось когда-то в разных бумагах.

— Ну, тогда заваривай сенажу!

Сенажом Кенсариныч называл зверобой. Семеновна припасала его летом. О лете сейчас лучше было не вспоминать. Холод стоял в квартире, хуже чем в погребе. Даже стекла в окне намерзли. Приватизированная, а похожа на деревенскую избу. На заявку мужа про то, как он и «сусед» Хмырев пойдут сегодня к домоуправше и дадут ей там хорошую трепку, жена отреагировала «неадекватно»:

— Изловишь ее! Скачет по Вологде-то, как векша, и от вас усочит, тебя да Хмырева ветром шатает...

— Ты-то у меня больно ядрена! — обиделся Кенсариныч, но совладал с собой, вспомнил Семеновну, какая она была в молодости, и подобрел, и переспросил:

— Ты, Куксиновая, где Маришку-то видела?

— Да в церкви,— проговорила жена, и Кенсариныч от изумления открыл сперва рот. После этого начал заикаться:

— Дак... дак... ты вот откуда прикостыляла... В церкву ты, значит, бродишь! Вон куда тебя унесло ночью-то...

Обычно спокойный, Кенсариныч аж побелел от гнева, стукнул кулаком по столу, да так, что подско-

чила и пролилась чашка со зверобоем. Семеновна промолчала и вытерла пролитый зверобой чистым полотенцем. Кенсариныч глядел, глядел на нее, а она хоть бы хны, тогда он и закричал словесными матюгами:

— Делать, видно, тебе больше нечего, старая дура! И по ночам уж не спит, позорит мою голову! Какая тебя муха куснула в бабью задницу? Ну, гляди у меня, ежели на то дело повернуло!

На что повернуло дело, было не ясно.

Семеновна не больно и слушала ругань. От этого Кенсариныч петушился еще яростнее, начал он бегать из комнаты в комнату, зачем-то выключил свет и включил снова. Так расхотелся, что не помогла и горячая каша.

— Опеть постная! — гаркнул он с такой силой, что могли и соседи услышать, а жена:

— Возьми да и подлей маслица.

— Не надо мне твоего соевого! — заупрямился мужик, словно козел. Шумит, ругается: — Вишь, до чего дело дошло! У тебя вместо чаю трава, хорошего масла и то нет. Соевое! Посты, что ли, начала соблюдать?

Куксиновая помолчала и говорит:

— Дак вить, батько, севодни Богоявление, все крещеные постничают.

Сообщение о празднике вовсе взбесило супружника:

— А мне какое дело, чье у тебя явление! Темная дура! Я сорок лет в партии! Мне как после этого в глаза глядеть добрым людям? Живу как бомж! Круглые сутки весь в стуже, да еще и кормить перестали. А баба к попам начала шастать!

Так они переговаривались, хлебая свою раннюю кашу. Семеновна разлила зверобой, призадумалась и потом говорит:

— Кенсаринович, а ведь невелика и беда, что маслице постное.

— Это как так не велика беда? — Реплика жены снова вывела Кенсариныча за пределы «курса». — Твою кашу и кот не станет жорать! Накланялась там, в церквах-то... Пойду и попу бороду выдеру!

— Не грехи, Кенсаринович, не грехи.

— Что не грехи, что не грехи! Мне из-за тебя стыд на всю Вологду!

— Это пошто?

— А по шти! Я за партию и нос хошь кому разобью!

— Сиди, разбивало! — рассердилась, наконец, и Аксинья Семеновна.— Вас, коммунистов, вон за одну ночь всех опечатали, хоть бы один пальцем пошевелил! Никто и не пикнул!

Это была правда, но от нее Кенсариныча взорвало:

— Не буду хлебать!

Кенсариныч швырнул железную ложку с кашей. Ложка звякнула о холодную батарею, муж витиевато обматерил собственную жену. Она с трудом наклонилась, чтобы поднять улетевшую к батарее ложку. Всю антидемократическую лексику мужа Куксиновая пропускала мимо ушей, хотя уши ее не были завешаны ни серебром, ни золотом.

\* \* \*

В детстве Степан Кенсаринович стыдился не только своего имени, но и отчества и даже фамилии. Степка, ну что за имя! В первом классе, когда написали диктант, сказала однажды наставница: «Степа, а ты что не сдаешь тетрадку? Возишься с ней, словно клуша с цыплятами». С того и пошло, дразнили Клуша-Степуша. И держалось прозвище, считай, до третьего класса. А в четвертом прозвали его дядей Степой, потому что был Степка самый маленький в классе. После семилетки ездил он в город Сокол поступать в целлюлозный техникум. Из-за ошибок в диктанте Степку не приняли, а ему до сих пор кажется, что из-за несуразного отчества. Пришлось тогда Степке поступать в ФЗО и учиться на печника. А ведь хотел стать техником по бумагоделательным машинам! Эти машины еще и теперь стоят в глазах. Фэзэошники нелегально по крышам лазали их смотреть. С приятелем из ремесленного была дружба не разлей вода. Штаны у дружка из РУ были суконные, и ботинки были выданы двои: одна пара модных выход-

ных, другая рабочая. Все фэзэошники завидовали «ремеслухе». Фамилией тоже не мог Степка похвастаться... Сосед Хмырев по выходным ходит в карты играть, имеет фамилию вроде бы еще хуже. Но свою-то до самой нынешней перестройки Кенсариныч так и не полюбил.

Считай, до пятидесятого года голодовал в колхозе. Но и после было туго. То жилья нету, то дочки болели, то перебросят на другую, с меньшей зарплатой работу. Теперь под старость совсем зажали. Пенсии хватает только на хлеб да на молоко, а молоко врачиха совсем запретила. Не зря Семеновна перешла на постное масло. Новые башмаки с пенсии не купишь. Две дочки — одна в Северодвинске, по-старому в Молотовске. Другая живет с мужем тут, в Вологде. Зятевья стали безработные оба. Бедствуют. По одному ребеночку, и то обувь-одеть не могут. Старики на внучат раскошеливайтесь, сами ходите в дырявой обутке... «Вот до чего нас довели,— ругался Кенсариныч.— Правда, валенки-то у него есть, одни новые, другие старые, подшитые. А лекарство? Нет, Ельцин со своей шпаной стариков нарочно вымаривает!»

Каша на постном масле оказалась не такая уж и худая... Кенсариныч полежал на диване, еще раз попил зверобою и начал вдруг собираться. (Хотя хлестать по рамам честному коммунисту было ни к чему! Он и взносы в партию платил всю жизнь в определенный день. Из тютельки в тютельку. На партучебу ходил со скрипом и не очень-то регулярно, но собрания открытые всегда посещал и выступал частенько. Закрытые-то совсем нельзя было пропускать.)

В нынешнем горсовете — мэрией теперь кличут — сидит у него замзавом старый друг. Вместе когда-то дома строили. Из печников Кенсариныча еще при Хрущеве перебрасывали то в стекольщики, то в плотники на опалубку. Сколько домов по Вологде подняли с этим другом, не счесть. До прорабов было дослужено в один год, но Кенсариныч ушел на пенсию. Приятель и друг остался на работе, у него теперь и машина и даже своя секретарша.

Кенсариныч важно и не спеша шел в горсовет,

иначе, в мэрию. На улице показалось ему теплее, чем дома.

Но старуха дежурная к гардеробу не допускает: куда да к кому, да чего требуется. Кенсариныч все стерпел. Разделся в тепле. Пальто и шапку подал в гардероб другой тетке. Пригладил волосишки, поднялся по лестнице. До чего же длинные у них коридоры! И тепло, как в раю. Секретарша носит мужскую обмундировку. Увидев Кенсариныча, которого знала, начала девка улыбаться и задавать вопросы такие же, что и внизу: что да как, да почему без договоренности. Кенсариныч не стал даже слушать, р-раз — и дернул дверную ручку.

Зам мэрского зава усадил в мягкое кресло:

— Кенсариныч, какими судьбами?

— Скажи мне, правда ли, что Черномырдин кран завернул?

— Правда! Не завернул, а маленько подзавернул.

Потому что худо налоги платишь.

Смеется старый приятель!

— Я свое отбарабанил сполна. И для партии и налогов! А тепереча уши по ночам мерзнут,— в горячке молвил Кенсариныч.— А ты? Долго ли будешь штаны протирать? Вроде ведь платят пенсию-то...

— На одной пенсии жить, сам знаешь... Заревишь в голос.

— А мне со старухой как? В квартире шешнадцать градусов. Нормально?

— Есть и этого меньше... У тебя адрес-то старый?

Зам мэрского зава что-то подзаписал, посулил куда-то сходить похлопотать. Поговорили еще, и Кенсариныч вышел из мэрии и на улице у тяжелых дверей хотел плюнуть, но удержался в культурном виде. Лишь вспомнились слова соседа Хмырева: «Всё, друг ты мой, одна везде лжа!» Отправился Кенсариныч в другой кабинет.

В другой кабинет надо было, в другой и дом, на другую и улицу, и даже в другой конец Вологды...

В хоромах бывшего друга, заимевшего секретаршу, Кенсариныч согрелся. Мороз на улице был не велик, но снег все же похрустывал, а ноги при ходьбе даже не мерзли.

Вороны и галки суматошно орали в сквере. К теплу, примета верная. Какая-то галка из черной стаи капнула прямо на выходную заячью шапку. Кенсариныч не стал стряхивать и поскорее убрался из-под вороньего гвалта, после чего на автобусе доехал до управления.

Домоуправские девки считали, писали карандашами и ручками. Они трещали по телефону как сороки. Иные с утра гоношились заваривать чай.

— Степан Кенсаринович, а мы вам перерасчет сделали за горячую воду! — радостно сообщила знакомая бухгалтерша.

— Еще холодней будет? — обозлился Кенсариныч. — Не надо мне ваш перерасчет, сделайте теплее в квартире! Готов больше платить, лишь бы не мерзнуть!

— Это зависит не от нас, Степан Кенсаринович, — подсунулась другая счетоводша.

— От кого зависит? Буду Ельцину жаловаться!

— Не вы одни! — подскочила еще одна свистулька. — Многие больше вашего мерзнут, да никуда не пишут!

Кенсариныч сердито пошел восвояси. «Валявки», — проворчал он. В коридоре неожиданно уперся лоб в лоб с главной дамочкой, с заведующей. Что та, что эта, обе стрекочут одно и то же:

— Мы, Степан Кенсаринович, тут ни при чем. Какая температура в домах, в мэрии знают. А за воду вам перерасчет сделаем, тепло от нас не зависит.

— Ты, милая, скажи, от кого практически оно зависит? От кочегарки, что ли?

— От мороза.

И Кенсариныч решил сходить напрямки в кочегарку. Он знал, где она расположена. Пришлось вновь топтать к автобусу.

...Железные двери были заперты изнутри. Стучал, стучал, а там ни гу-гу. Догадался звонок поискать. Кнопка оказалась далеко в стороне да еще и высоко. До нее не всякий дотянется. Позвонил. Подождал, еще позвонил. С третьего раза там почуялось шевеленье. Наконец ворота чуть отворились. Выглянул человек в довольно чистой для кочегара тельняшке:

— Вам кого?

— Тут, значит, это, Хмырева суседа зять... Практически зятев знакомый.

— Хмырев? Тут Хмырев! А ты вроде Степан Кенсаринович? Да мы же, это... Вроде на одном СМУ сколько разов... Из одного стакана всосы делали. Заходи пока. Никаких зятев, а Хмырев здесь!

Кочегар выразительно шелкнул по горлу. «Под мухой,— сообразил Кенсариныч.— Чего врет? Я с таким не пивал сроду».

Парень провел ходока мимо всяких динамов, насосов и труб. Хмырев сидел на чужом стуле как начальник.

— Давай, пока теплая! В честь Крещенья...— И подал Кенсаринычу не очень чистую чашку со своей порцией. Недопитую бутылку поставил куда-то вниз, к ногам.

Кенсариныч машинально оглянулся, словно в кочегарке могла быть Семеновна или домоуправша.

— Бери, нечего оглядываться,— сказал Хмырев.— У нас все свои. Посуда чистоту любит.

— А ты чего тут делаешь?

— Я-то? Время трамбуя...

Кенсариныч крикнул и взял посудину... Поспешно выпил, поискал глазами чего закусить.

— Рукавчиком, рукавчиком! — весело предложила тельняшка.

— Ты дал бы человеку хоть табуретку! — укорил кочегара Хмырев.

— Слушаюсь! Табуреток нема. Плесни-ко на каменку-то.

Хмырев «плеснул». Парень-кочегар вылил водку в щербатый рот и побулькал в ней языком. Побежал глядеть манометры.

Дальше дело пошло совсем по иному сценарию, коего Кенсариныч отнюдь на сегодняшнее число не планировал! После того, как оприходовали вторую бутылку, у всех троих взыграл аппетит. Есть захотелось, и все трое начали шарить в карманах. И как ни странно, сосед Хмырев оказался всех состоятельней. Он побежал было за колбасой и третьей посудиной, но сразу вернулся:

— Ох, ребятушки, я ведь совсем забыл... Меня баба за мясом послала.

Кенсариныч не заметил поворота событий, поскольку он в это время глядел, как горят газовые форсунки, и жаловался кочегару на домоуправшу: «...перерасчет, грит, сделаем. Я ей говорю: на кой мне твой перерасчет, заплатил бы еще больше, лишь бы в квартире стало теплей!»

— Теплей не будет,— твердо сказал кочегар.

— Почему?

— А потому, что огни в моих топках совсем не горят.

— Дак оне почему не горят? — сердился Кенсариныч.— Разве газу не стало в Ухте?

Оба лазали где-то вверху, по железным сварным лестницам. Кочегар объяснил Кенсаринычу:

— Газу навалом. Хватило бы Европе и хохлам. Качаем-то через Украину, там его мужики подворовывают... Хватило бы и хохлам, да, вишь, уж такой рынок-то в долларах. Сколько в Берлине платят за газ, столько дерут и у нас в Вологде. Вот в чем все дело!

— Ох, мать-перемать! Ну, я им покажу, этим... как их... мэрам! — разорвался Кенсариныч.

— А чего ты на мэров-то прешь? У них своих денег нет, надо банкиров тряхнуть! — это Хмырев снизу подал голос.

Кенсаринычу сильно захотелось заехать соседу в ухо. Не миновать бы, может, и драки, если бы не хмыревское мясо. Вокруг этого мяса и развернулась дискуссия, ко всему подоспела вечная мужицкая тема: про женщин.

— Работы у многих нет, средств кот наплакал, мужику чего делать?

— Подкидного с женой играть! — подсказала тельняшка.

— Нет, для такой игры опять много денег идет,— глубокомысленно заметил Хмырев.— А мясная-то пища кому по карману? Однем спекулянтам да начальству.

— Ну, ты-то, Хмырев, наверно, еще конь-конем, у тебя годов меньше, наверно, и без мяса с заданьем справляешься,— пошутил Кенсариныч.

— Попрашиваю...— подтвердил Хмырев.— Только результатов-то маловато. Лягается баба...

Все трое по-пьяному хохотали, а сменщиком для парня в тельняшке оказалась женщина. Придя на смену, она слышала мужской разговор со многими сексуальными междометиями.

— Ох, пустомели, сидели бы! — она вышла к честной компании.— У вас, мужиков, одно только на уме.

Парень в тельняшке подмигнул и сказал:

— Смотри-ка, чует.

— Бабы, оне всегда все слова чуют,— согласился Хмырев.— Особо когда мужики на троих смекают. А мы трое на пиво и то не можем наскрести. Тонка стала кишка-то, тонка... Пойдем-ко домой, Степан Кенсаринович! Там хоть климат и холодный, зато бабы не покупные, свои...

Но выйдя из кочегарки, Хмырев заговорил по-иному и вдруг встрепенулся как петух:

— А хрен с ним и с мясом. Не от этого наши домики покосились, пойдем, Кенсариныч, купим одну «вагроновскую»...

Кенсариныча кольнула совесть. Никак он не ожидал, что так забурится. Не вмещалась эта пьянка в сегодняшнее число. Но уж заодно было, поскольку вылез медведь из холодной берлоги.

В кочегарке сменщики громко спорили насчет развода принцессы Дианы.

\* \* \*

— Хлеба и то нету! — сказала жена Хмырева, но на кухню пустила.— Нет чтобы хоть батон принес, а он опять бутылку... Вчера пил, пил, да и опять... Буду жаловаться в милицию.

— Люся, ну много ли я вчера-то? — оправдывался Хмырев.— Золотко, не ругай, севодни ведь праздник. Мы с Кенсаринычем по одной черепашке... У нас больше и средств нет, на другую-то... В холодильнике-то вроде консерва была...

— Без хлеба станешь жрать?

— Давай! Бывают в жизни огорченья, хлеба нету, едим печенье.

Тощая хмыревская женка в сердцах выставила недо-  
еденную тушенку, в той же манере отворила сервант,  
сунула на стол две вилки и два фужерчика. Когда Хмы-  
рев разлил «вагроновскую», Кенсариныч шепнул ему:  
«Пойдем к нам...»

Хмырев заартачился: «Не обращай на нее вниманья».  
Кенсариныч без удовольствия выпил и произнес:

— Ты, Людмила, нас не ругай, и без того по ночам  
холодно...

Сосед хохотнул:

— А мы с ней по ночам-то это... не мерзнем. При-  
жмешь ее поплотнее, оно и теплее.

— Сиди, дурак, опять замолол! — совсем обозлилась  
Людмила.— Вот стукну горшком-то по лысине.

Но Хмырев не ощущал такую угрозу. Он опять гово-  
рил о политике:

— А что, Кенсариныч, кто в Москве-то за разбитые  
горшки будет платить? Опять все и свалят на нас с  
тобой, вон сколько долгов-то. Немцы с Америкой по-  
што голодных-то кормят? Дают и дают всякие транши.

— Давать, видно, выгодно!

Кенсариныч опять дернул Хмырева за рукав, при-  
глашая к себе.

Хмыревская супружница не стала их останавливать.  
Она разразилась звучной повседневною бранью.

— Бедняжка, не любит она меня,— добродушно ска-  
зал Хмырев, когда выбрались на лестничную площад-  
ку.— Потому так и ругается...

— Не любит, дак разведись, чего тебе с ней му-  
читься.

— Да ведь жаль, куда она без меня? — Хмырев дер-  
жал в левой руке початую «вагроновскую», а правой...  
что делала правая? Застегивала пуговицу на штанах.

Кенсариныч наконец нашел ключ в своих многочис-  
ленных карманах. Семеновны дома не было, а закуска в  
квартире имелась.

— Куда, Куксиновая, ушантила? — бурчал пьянею-  
щий Степан Кенсаринович. Ему не терпелось рассказать  
про свой победный горсоветский визит.

Уже через двадцать минут мои «калоголики», как  
выражается жена Кенсариныча, затянули песню. Как-то

само так получилось, что затянули они ту самую, что певали их родные и земляки на пивных праздниках в многолюдных и когда-то бесчисленных вологодских селениях. Вот она, эта заунывная, несколько сентиментальная песня, еще в 20-х годах при содействии ЧК проникшая в крестьянскую среду из блатного жестокого мира:

*Во саду при долине  
Громко пел соловей,  
А я, мальчик, на чужбине  
Позабыт от людей.  
Вот куда ни поеду,  
Вот куда ни пойду,  
А родного уголочка  
Я нигде не найду.  
Вот нашел уголочек,  
Да и тот не родной,  
За железною решеткой,  
За кирпичной стеной.  
Привели-посадили,  
Все я думал — шутя.  
А наутро объявили:  
Расстреляют меня.  
На мою на могилку,  
Знать, никто не придет,  
Только раннею весною  
Соловей пропоет.*

На этом месте Хмырев остановил пение, но Кенсаринич вдруг вспомнил последнюю добавку и сильно допел, дирижируя указательным пальцем:

*Пропоет, и просвищет,  
И опять улетит,  
Моя бедная могилка  
Одиноко стоит.  
Во саду при долине...*

— Ну вот! — засмеялась Семеновна, здороваясь с Хмыревым по имени-отчеству.— Писня-то кончилась, а вы олеть все сначала.

— У нас всегда все сначала,— откашлялся пьяный Хмырев.— Шей да пори, не будет пустой поры, была коммунизма, а нонче опять капитализма приспела...

Он хотел закурить, но вспомнил, что на куреве стоит крест. С приходом хозяйки мужики слегка отрезвели. Семеновна услышала кошачье жалобное мяуканье и ушла к наружной двери впускать кота.

— Иди, батявка, домой. Пускать-то тебя, гулевана, не надо бы, да жаль дурака.

Кот зябко по очереди отряхнул передние лапки и с ходу прискочил туда, где теплее.

— Наша горница с Богом не спорщица,— добавила хозяйка и вернулась на кухню.— На улице-то... меньше расстройства...

Хмырев бубнил что-то невнятное.

— Да вы чего, окна-ти выхлестали в домоуправской канторе? Девочек-то поди-ко там всех заморозили...

Кенсариныч начал сумбурно докладывать жене, как он был в кабинете начальника, в какое посадили кресло и что посулили.

— Ты, грит, иди спокойно, я того, это... во всем разберусь... Натопим, грит, в квартире, нагоним тебе градусов сколь нужно, не сумлевайся.

Семеновна потрогала батарею:

— Вроде бы и правда стало теплей.

— Ты, Оксинья, включи телевизор-то! — предложил гость.— От него еще теплей будет. Моя дак готова и спать с телевизором. Там голые девки... ноги выкидывают значительно выше всей головы. Как только вывихнуть-то не могут?

— Да вить у их шарнеры-ти не то что наши,— засмеялась Семеновна.

— Нет, а ты, Оксинья, мне объясни, отчего почти все девки на холоде ходят с голыми ляжками? У иной и задница наголе... Другая, наоборот, в мужинских штанах... Но больше таких, у которых ляжки-то совсем голые...

— Фигуру показывают,— заметил Кенсариныч.

— А для чего? — допытывался Хмырев.

Семеновна веско заявила:

— Да кобелей ищут! Для чего больше...

— Кобелей-то искать не надо...— философски заметил Хмырев.— Вон их сколько развелось на базаре, торгуют. И черные, и белые, и в мелкую крапинку.

— Нет, сами-то они не больно и торгуют. Мешки ихние таскают наши бабенки... Либо вологодские робе-тишечки,— вздохнула Семеновна.

— А чего это она все время жует, молодяжка-то? Как козлы!

Семеновна опять весело рассмеялась:

— Козлы и есть.

Кенсариныч, несмотря на хмель, внутренне вздрогнул. Опять всплыла в памяти ночная морда козла. Но какие-то силы мешали ему поделиться утренним испугом. Он постеснялся рассказать о своем сне. Вместо этого он спросил жену:

— Узнала про тапки-то?

— Спросила я Маринку, где, говорю, продают. Она мне говорит: поезжай в центр, спроси там какую-то Неферту, от рынка совсем близко. Ужо в центр поеду, дак поищу эту Неферту.

Хмырев заявил, что тапочек нынче везде полно, что их и искать не надо особо, а Семеновна сказала, что хочет купить подешевле, и включила телевизор. Она сидела перед телевизором в фуфайке, как и Хмырев с Кенсаринычем. По головам всех троих начали бить какие-то барабанщики.

— Оксинья, переведи на другую точку, сейчас пойдет вологодская новость! — Хмырев разлил остаток «ваг-роновской».

Семеновна послушно переключила, однако «новость» оказалась чужая, московская.

— Ну, опять новый еврей! — сказал Хмырев.— Откуда их столько и берется?

— Лезут как из лукошка,— подтвердил Кенсариныч хмыревскую мысль и выпил стопку «вагроновской».

Семеновна попрекнула супруга:

— Вспомни-ко, чего раньше-то говаривал...

— Чево я про их говорил?

— А то, что хорошие люди.

— Я их и теперь не ругаю! — рявкнул муж.— Живут

умеючи, не то что мы с тобой, вон сколько у них банков-то...

Включился опять Хмырев:

— Оне и Христа распяли. Тебя кто раскулачил? В каждой деревне, бывало, не по одному, иной раз и по два, живут неделями.

— Кулачили нас все кому не лень! Не одне евреи. И кулачили не меня, а моего дедка. До чего был скупой, что снегу зимой не выпросишь.

— Не ври-ко давай! — снова не согласилась жена.— Сам говорил, что дедко ни одного нищего пустым из дому не выпустит. Да и я его помню. Одежку и то давал, а его за это в Печору. Вот и ходи голозадрым нонче-то, обувай шоптаники... В Москве-то небось в квартирах тепло.

Семеновну, видимо, совсем допекло, ежели и она начала ругать демократов. А давно ли голосовала за Ельцина? С Хмырева-то и взятки гладки, этот еще при Хрущеве привык опровергать все подчистую: «Твой Зюганов только слова говорит, а Ельцин дело делает». Спросишь: «Какое дело-то?» А он: «Всё, друг мой, одна словесность». Или: «При тех и при этих нашего брата грабят, не много на это дело ума требуется». Либо: «Почти все начальники перекинулись в демократию». Скажет бывало: «Ты всю жизнь в коммунистах, а чего выслужил?»

Семеновна разогрела на плите суп, накрыла на стол, разлила в три тарелки, а от «вагროновской»-то рожки да ножки. Бутылка была пуста. Хмырев ушел домой, обедать в чужих людях не пожелал. После супа захотелось Кенсаринычу по-стариковски прилечь на диван. Но какой тут сон при двенадцати градусах! Холод поднимался больше с ног, и Кенсариныч до вечера сидел на диване в валенках. Задремал. Жена потихоньку ушла к Хмыревым. Сидел Кенсариныч, глядел телевизор. Хотелось ему выпить еще. Задремал во второй раз, и... опять приснился ночной козел! Только почему и борода и рога вдруг исчезли? Животное начало превращаться в обогреватель. Кенсариныч разогнал этот кошмар пробуждением. Опять захотелось чего-нибудь спиртного. Он

вспомнил, что Куксиновая спрятала куда-то свою за-  
начку. То ли чекушку, то ли пол-литра. Лихорадочно  
начал поиск чекушки, а на окне за хлебным ящиком  
стояла целая поллитровка «вагროновской»... «Вот бабы! —  
обрадовался Кенсариныч. — Купила и не сказывает».

Он решил выпить чуток и откупорил. Пробка была  
пластмассовая. Налил с полстаканчика, луковицу разре-  
зал, чтобы понюхать. Хлебца припас. Суп не стоит раз-  
огревать. Взял стакашек, хыкнул, прежде чем выпить.  
Глотнул, а во рту не было обычной горечи. Не жгет.  
«Что за черт!» Он налил еще, но в бутылке опять ока-  
залась простая вода. Семеновна как раз во двери:

— Ты чего это купила-то? Воду заместо вина прода-  
ют, что ли? — взъерепенился Кенсариныч.

— Да что ты, бес, это святая вода! Где взял-то?

— Святая? Вылей сейчас же в раковину! — со зло-  
бой рыкнул на жену Кенсариныч и опрокинул в горяч-  
ке бутылку. — Святая... А я-то думаю, где она ночью  
шатается.

— Еще и днем пойду, не грехи ради Христа...

— Нет, не пойдешь!

Неизвестно, чем бы кончилась перепалка, если б не  
позвонил Хмырев. Мучимый тем же, что и Степан  
Кенсариныч, пришел сосед и объявил, что сегодня  
большой праздник (без него будто не знали). Надо бы,  
дескать, хотя бы пивом отметить. Аксинья Семеновна  
молча порылась где-то на кухне, подала чекушку водки:

— Натя! Ареды, а не мужики. Погодите, супу-то сей-  
час разогрею. Или чайник поставить?

— Ставь чайник... — смирился и подобрел Степан  
Кенсариныч. Однако ненадолго. Через минуту, подвы-  
пив, он вновь заявил:

— Ты, Куксиновая, к попам больше не броди. Не  
позорь мою голову. Я ведь и ремень могу взять.

— Сиди уж, ремень! — молвила Семеновна, а Хмы-  
рев опять встал на ее сторону:

— Нет, Кенсариныч, с бабами в конфликты лучше  
не ввязываться! Оне только ночью сдаются, а днем-то  
все равно верх возьмут. Летом, помню, ездил к Семиго-  
родней за грибами на дачнике. Рядом в вагоне бабенка,

такая чернявенькая. Я говорю: ты ведь по глазам-то не русская, тоже по волнухи поехала? А она: «Я не русьска, я харовська». Оксинья, ты тоже вроде бы харовская?

— Нет, Куксиновая не харовская,— не согласился Кенсариныч, разливая остатки.— Это я харовский-то, а она тотемская. Вся стала трухлявая. Чайник вон поставит и уйдет к твоей. Пережгет, того и гляди. Новый чуть не полпензии.

— А моя деньги считать разучилась,— сообщил сосед.— Ты мне скажи, Кенсариныч, почему это она горой стоит за Лебеда?

Чекушка быстренько досуха опустела.

— Когда и власть эта кончится...— задумчиво произнес Хмырев, сидевший на кухне.— Я думаю, пока бани есть, она не уйдет... Вот ежели и бани у русского человека отымут, он тогда и подымеется во весь рост. А в баню-то пока нашему брату еще можно сходить. Доступно.

— Где оно доступно-то? — не согласился Кенсариныч.— Березовый веник, одне вицы, а стоит чуть не бутылку.

Пришла очередь согласиться соседу.

\* \* \*

Хмырев ушел, сказал, что надо в гараж. Пили, пили, ему хоть хны. А чего у него в гараже? Да ничего, один мотоцикл ИЖ, да и тот продает. Покупателей нет. Картошка в кессоне, говорит, как бы не заморозить. Да, примороженная картошка становится слащавой и скользкой, как хмыревская женка. Есть такую картошку — одно расстройство. Об этом и подумал Степан Кенсаринович, когда посмотрел телевизор.

Никаких новостей не было, все то же.

Он выключил эту шарманку. В квартире образовалась тишина. Где опять Куксиновая? Неужто снова уперлась в церковь? Кенсариныч не чувствовал, как в нем копится злость, но она в нем копилась. Какое еще там Богоявление? Дура деревенская, ходит и ходит! И не знал он раньше, что она по храмам шатается... Были,

конечно, подозрения-то. Наверно, и молится, и свечки ставит... Вот до чего дело дошло!

Кенсариныч не на шутку рассердился на жену. Пора было уже укладываться, а еще и слуху нет. Нет, надо чего-то делать. А что делать, кому станешь жаловаться? Разве только написать про ее в «Русский Север». Или нет, лучше в «Красный Север». В обеих редакциях сидят бывшие коммунисты, а что от них толку? Вон как они все переиначились, каждый религию только и хвалит! Ельцин и тот начал креститься...

С пьяных глаз Кенсариныч твердо решил сочинить в газету заметку против религии. Ему надо было выговориться... Он начал искать чистую тетрадку, припасенную для писем. Наткнулся на нее, хотел выдрать лист, но попалась на глаза какая-то запись. Нет, почерк был хороший, не кукушинский. Писал кто-то другой... Написано было так:

«Молитва пречистой госпоже Богородице.

Пресвятая владычица моя, Богородица, святыми твоими и всеильными мольбами отжени от меня смиренного и окаянного раба твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые и хульные помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих яко нищ еси и окаянен и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи мя. Яко благословенно еси от всех родов, и славится пречестное имя твое, во веки веков, аминь».

Кенсариныч в сердцах отбросил тетрадку. Кровавый сумрак, исходящий от электрического «козла», включенного несмотря на экономию электричества, не успокаивал и не грел. Кенсариныч бесился. «Почему это я мерзнуть обязан? При Сталине и то не было такого! При ем и цены снижали... И зарплату давали».

Но пришла жена. Вскипятила большой чайник. Напила кипятку в две большие бутылки из-под какого-то заграничного морса и положила их в кровать. После всего этого до нижней сорочки разделась Семеновна и начала своим телом согревать мужу место под тремя одеялами. Потом она куда-то еще сходила, кота, что ли,

пропустить на улицу, а пьяный Кенсариныч забрался в кровать под тройную окутку.

«Вишь, опять чего Куксиновая придумала»,— сквозь сон подумал и ощупал холодными ногами бутылъ с кипятком. Когда поднагрелся, то высунул нос в холод и хотел попросить жену, чтобы подала зимнюю шапку с завязками, да что-то устыдился и спросил про погоду на улице.

Семеновна сказала, что стало теплее, что даже дорогу снегом переметает.

— «Козла-то» выключить? — спросила.— Ведь нагорит столько, что нам и не рассчитаться.

— Пускай горит.

Прежде чем улечься на свое диванное ложе, жена впустила в квартиру кота.

— Пришел? — спросил засыпающий Кенсариныч.

— Пришел.

— Ну дак и я, коли буду спать...

— Спи ради Христа,— тихо, ласково сказала жена, перекрестилась и выключила верхний свет. Кто-кто, а уж она-то лучше других знала, на что способен ее мужик, будучи пьяным.

Красный сумрак от горящего «козла» бесшумно менялся, и казалось, что в комнате появились какие-то смутные тени. Свечение из красного вскоре превратилось в мертвенно-розовое. Холодный крещенский день кончился. Кенсариныч спал. Прислушиваясь к его легкому похрапыванию, пошептала что-то и уснула Аксинья Семеновна.

От розового электрического «козла» все же исходило, струилось тепло. Ночью Семеновна, экономя энергию, выключила приспособление. Утром она долго разбирала, что показывал градусник. А показывал он меньше вчерашнего. На целых полтора градуса...

## ВИКТОР БАРАКОВ

### СЛОВУ ПРЕДЕЛА НЕТ

Вологодской писательской организации в 2001 году «стукнуло» 40 лет. Дата не совсем круглая, в некотором смысле даже критическая. За спиной славное прошлое, памятные имена А. Яшина, С. Орлова, Н. Рубцова, В. Коротаева, А. Романова, В. Ширикова, В. Дементьева... Ныне здравствующие В. Белов, О. Фокина, С. Викулов подводят итоги своей творческой жизни, занимают почетные места в многотомной истории национальной литературы XX века... С кем, а главное, с чем мы вступаем в новое столетие русской словесности?

Если выбросить из головы все штампы, почтение к именам, стремление «помянуть по дружбе», словом, весь тот литературно-номенклатурный вздор, заготовленный заранее, и описать на трезвую голову все как есть, то самым разумным будет тогда — выбрать сухой педантичный, бухгалтерский стиль и, выстроив всех в три колонны: старшее, среднее и молодое поколение, затребовать от них все лучшее. Словом, чем богаты, тем и рады.

Итак, начнем с поэзии. Ушедшее десятилетие нашей литературы разделено на две половинки: публицистическую и собственно художественную (о причинах этого разделения лучше всех сказал В. Распутин в «Моем

манифесте»). Вологодская поэзия в этом смысле тоже не стала исключением.

Поэты старшего и среднего поколения, отрицательно относившиеся к тоталитаризму, не приняли и нового, «демократического» эксперимента над Россией. Так, Сергей Викулов, в целом работавший в жанре социально-бытовой поэмы, стал придавать ему историко-публицистический характер («Воспоминания о Китеж-граде» — о разрушении монастырей в 30-е годы; «Посев и жатва» — о коллективизации и др.). Более того, в его книгах «Святая простота» (1993 г.) и «Точка кипения» (1997 г.) есть не только сатирические, но и гротесковые стихи, появился и новый для Викулова жанр басни («У корыта»).

У Виктора Коротаева преобладали ораторские интонации (циклы стихотворений 90-х гг., в частности стихотворения «Пришельцы», «Внушили нам и, кажется, неплохо...» и др.). Для него нынешний мир был четко поделен на «наших» и «не наших» (прежде всего в идеологическом отношении).

О. Фокина опубликовала в 1993 году в журнале «Молодая гвардия» цикл стихотворений «Поднимайтесь в полный рост!», в котором еще раз, но уже на ином уровне, заявила о приверженности некрасовской традиции. Теперь она — в «стане погибающих За великое дело любви».

90-е годы оказались для поэтессы самыми сложными и в жизненном, и в творческом отношении. В ее журнальных публикациях палитра чувств порой ограничивалась только двумя эмоциональными красками: возмущением и растерянностью. Раскол в обществе О. Фокина сравнивает с ледоходом:

*На льдине, на льдинке  
Похвально — отдельно  
Плывем поодинке,  
Поврозь, неартельно.  
Несет нас, качает  
Под воплями чаек,  
Не чуем, не чаем,  
Куда мы причалим...*

В неизбежности и цикличности природных и социальных явлений Фокина видит положительное начало, но не снимает ни с других, ни с себя личной ответственности: «Не слышим, не внемлем: Мы любим — не землю». Очищение и преображение души даже в самые катастрофические и позорные годы — наиболее плодотворная лирическая тема поэтессы.

В одном из последних на сегодняшний день сборников «Разнобережье» (1998 г.), в небольшом предисловии к нему, О. Фокина отмечает:

«Эти стихи, подавляющее большинство которых написаны мною за последние десять «окаянных» лет, — попытка засвидетельствовать мгновение времени с верой в безоговорочное мудрое и утешительное: “Пройдет и это...”».

*Луг да поле. Роща да дубрава,  
Царь да Стенька. Церковь да кабак.  
Воля Волги. Крепость — твердь Урала.  
Умница — Иван-дурак!  
Радость — в песенной печали.  
Горечь — в пляске удалой...  
Как бы где ее ни величали —  
Русь останется собой!*

Поэты старшего поколения в 90-х годах пережили крах многих «народнических» иллюзий, хотя еще недавно некоторые представления казались незыблемыми: «В народ бы ринуться, но где народ?» (А. Романов). В. Кожин считал, что «деревенская» проза второй половины XX века — «проза конца русского крестьянства» (Москва. 1995. № 3). Но «уходит» не проза или поэзия — уходит и крестьянство, и значительная часть всего народа.

Даже те, кто полемизируют с «деревенщиками», уже понимают, что «дело тут не в деревне, вернее, не столько в деревне, сколько в «русской идее». Русская же идея (и это доказано нашими крупнейшими философами XIX—XX веков) в основе своей идея религиозная, православная. На рубеже 80-х—90-х годов «произошло воссоединение русского «почвенного» и русского ин-



Вот кто по-настоящему порадовал из «старших» лириков, так это Нина Груздева.

«Тропинка» — так называлась первая книжка Н. Груздевой, вышедшая в Архангельске в 1968 году. Тропинка эта сменилась вскоре пустынной дорогой длиною в целых 27 лет. Поэтессе говорили, что сейчас «не время» для любовной лирики. Только в наши дни состоялось ее поэтическое «Воскресение» — в 1995 году в Вологде вышел сборник с этим «говорящим» названием. В том же году Н. Груздева опубликовала поэтическую книгу «Твое имя».

Ее подлинное призвание — вести лирический диалог («Мне с тобой целый век говорить надо бы...») и уходить во внутреннюю глубину собственной мысли. Не предметностью, не вещностью, а переживанием и размышлением дышит ее лирика, медитативная по своей сути. Но все это одновременно и ее достоинство, и недостаток: в лирике Груздевой наблюдаются некоторая идейная и формальная однообразность, субъективизм, камерность. Еще один недостаток: малочисленность ее поэзии. «Надо писать не только хорошо, но и много», — говорил А. П. Чехов. Нет и подлинной поэтической мощи, включенности в знаковую систему русской и мировой литературы и культуры.

Впрочем, в любовной лирике Нины Груздевой есть то, что «выше Всех наших встреч и нас с тобой...». Есть небо, надмирность — при всей земной природе человеческого чувства:

*Синевой дышу, как вечностью,  
И, как в вечности, живу...*

Главное: в ее поэзии есть «звук», А. Блок определял уровень таланта по авторскому голосу, по «звуку» стиха. Некоторые поэтические миниатюры Н. Груздевой изумительны по силе и красоте этого звука: «Свет», «Все кончено. Ни звука, ни строки...», «Любовь», «Твое имя», «Мы и влюбляемся, и плачем...», «Я хотела тебя забыть...», «Звезда»:

*Ночь была очень звездной, когда  
Меня мама на печке рожала.  
За трубу зацепилась звезда  
И на крыше моей ночевала.  
Тут отец поспешил на прием,  
Он пупок завязал так умело!  
А звезда своим синим огнем  
Обожгла мою душу и тело.  
И с тех пор так любя мне земля  
И небесные манят чертоги.  
Но с тех пор постоянно болят  
Эти звездные злые ожоги.*

Среднее поколение представлено именами Александра Пошехонова, Юрия Максина, Владислава Кокорина, Натальи Сидоровой, Василия Мишенева. Особенно хорошие отзывы в местной и центральной печати получили лирико-философская книга А. Пошехонова «Причастность» (1993) и сборник В. Мишенева «Опавшие яблоки» (2000), высоко оцененный В. И. Беловым и В. П. Астафьевым. Однако в целом поэзия этого поколения слишком приросла к «почве», ей недостает подлинного размаха и того полета, от которого захватывало бы дух и у критиков, и у читателей. Может быть, что-то подобное ожидается впереди.

Из молодой генерации вологодских поэтов можно выделить Ингу Чурбанову и Татьяну Оманову. И. Чурбанова, не переставая учиться у классиков, идет по собственному пути. Ее удачи (сборники «У меня своя Тоскана», 1995) и («Блесны», 1995) чередуются с неудачами (венки сонетов «Дыханье далекой весны», 1999), но в отличие от более старших авторов, она не боится рисковать, экспериментировать, а это уже признак класса.

Т. Оманова (сб. «Перелет», 1996), вероятно, еще не осознала, что ее талант не лирический, а лиро-эпический. Отсутствие лирического сюжета приводит к тому, что ее стихотворения, не скрепленные логически выстроенной образной цепочкой, «рассыпаются». Отдельные удачи объясняются как раз тем, что в них есть сюжет, цементирующий аморфное лирическое начало.





просится в подобный текст в силу своей, увы, универсальной трагикомичности... В книге «Пропавшие без вести» (1997) В. Белов признается: «Мне стыдно что-либо сочинять, когда осуществляется предсказанная на острове Патмос земная трагедия...»; «...Я утверждаю, что нынешние гримасы ее [действительности.— В. Б.] страшней самых изощренных построений Кафки и Амадея Гофмана». Центральным в этой книге является, пожалуй, рассказ «Душа бессмертна», состоящий целиком из монологического повествования. Эта форма преобладает сейчас и у Распутина, Астафьева, Солженицына... Вероятно, им хочется высказаться, исповедаться, рассказать о самом главном. Есть в этом издании В. Белова и повесть в рассказах «Медовый месяц», «скрепленная» «сквозным» героем, живущим в деревне (Коч). В ней Белов возвращается к теме Великой Отечественной войны. Главным же трудом В. Белова в этом десятилетии стало, бесспорно, завершение трилогии «Кануны». Он опубликовал две последние ее части под названиями «Год великого перелома» и «Час шестый».

Рубеж веков отмечен расцветом мемуаристики. Воспоминания В. Белова о Шукшине («Тяжесть креста», ж-л «Наш современник», № 10 за 2000 год) выделяются особой проникновенностью, ведь Белов пишет о своем друге... Однако не в одной только фактической достоверности заключается ценность этих мемуаров, а в совершенно новом взгляде на все творчество В. Шукшина. В. Белов открывает завесу над реальным содержанием шукшинской прозы, и этот невиданный доселе ракурс неизменно меняет окаменевший во времени облик русского писателя... Василий Макарович все знал и понимал, он был далеко не рядовым в духовной брани, не прекращающейся и сейчас. От него до сих пор исходит живая и могучая сила интеллектуального напряжения, и та боль, которую оставил как завещание русской прозе максималист Шукшин. Смерть его загадочна, но до поры до времени. «Зная обстоятельства,— пишет В. Белов,— кои окружали моего друга в последние годы жизни, я склонен думать, что дыма без огня не бывает, что рано или поздно люди узнают истинную причину шукшинской кончины...»

В поисках ответа на животрепещущие вопросы нынешнего времени обращаются к русской истории и вологодские прозаики И. Полуянов, А. Грязев и Р. Балакшин. Иван Полуянов подготовил к печати роман о первой русской смуте, издал уникальную книгу «Деревенские святцы». Александр Грязев опубликовал в 1992 году в Москве сборник прозы «Грех игумена», включивший в себя исторические рассказы (лучший из которых дал название всей книге) и архивные записки. Можно отметить два рассказа: «По земному кругу» (о писателе С. Маркове) и «Тайна Соборной горки». Повесть Роберта Балакшина «И в жизнь вечную...» возвращает нас к началу XX века, к страшному времени «борьбы с контрреволюцией». Под именем «товарища Гедрова» в ней выведен известный всей Вологде палач Кедров. Сюжет повести зловещий: расстрел отца Панкратия во внутренней тюрьме губчека во время службы. За эту повесть Балакшин получил премию журнала «Наш современник» за 1996 год.

Роберт Балакшин пишет и о современности. Серия его рассказов и повестей опубликована в журналах «Москва» и «Наш современник». Повесть «Венчание» (1998) — настоящий гимн любви, не угаснувшей среди нынешних жестоких ветров.

В подлинном смысле оригинальной стала неожиданная (но только на первый взгляд!) творческая эволюция Сергея Алексеева: от традиционной «деревенской» прозы (романы «Слово», «Рой», «Крамола») до целой серии полуфантастических-полуреальных приключенческих «бестселлеров»: «Вулкан» (1996 г.) и «Извержение Вулкана» (1996 г.); «Сокровища Валькирии» (1997 г.) и «Сокровища Валькирии-2» (1997 г.), а также романов «Пришельцы» (1997 г.), «Утоли моя печали» (1998 г.) и др. Занимательные сюжеты, великолепное знание деталей из самых разных сфер жизни (разведка, авиация, живопись и т. д.), живые диалоги (правда, без речевой индивидуализации), головокружительные перемещения во времени и пространстве, сенсационные открытия, сильные характеры — все это держит читателя в постоянном напряжении. Эти книги читаются, как правило, «зал-

пом», но... не перечитываются. Даже в «Сокровищах Валькирии» (сокровище древних ариев — не золото, а накопленная тысячелетиями «соль земли» — знания, мудрость) секрет успеха (более 400 тысяч проданных экземпляров!) заключен только в сочетании «крутого» сюжета и уникальной информации. С. Алексеев сильно рискует: он может легко сойти с магистрального пути русской классической литературы, главный предмет исследования в которой — человеческая душа. Но С. Алексеев еще очень молод, и силы у него богатырские, он легко может вернуться (если пожелает) к подлинной эстетике. Сейчас, вероятно, этот писатель стремится как можно быстрее и полнее реализовать идущую еще от романа «Слово» языческую мифологию. Впрочем, он наверняка понимает, что миф — это реальность и что у каждого свой миф. Однако Дух выше мифа и выше души и разума. Любовь (а Дух исходит от любви, но только не в обыденном, а в божественном ее толковании) — вот тот свет, который и во тьме светит... «Света от Света, Бога истинна от Бога истинна...». «Имеющий уши да слышит».

Особняком в ряду популярных книг Алексеева стоит роман «Возвращение Каина» (другое, менее удачное его название — «Сердцевина», 1994 г.). Этот роман «переходный» и в идеологическом, и в структурном, и в эстетическом отношениях и, как все «переходные» произведения, страдает нарушениями стилевого ритма, излишней торопливостью, отсюда его эклектичность, сумбур, незавершенные сюжетные линии (например, «живописная») и литературность некоторых персонажей (Олег Ерашов — явный «троюродный» брат Алеши Карамазова, Аннушка — совсем уж дальняя, но родственница некоторых героинь Достоевского). Но все это меркнет перед главным событием в заключительной части романа: библейским грехом братоубийства и предательства главного героя Кирилла. Страницы, описывающие расстрел Белого дома в октябре 1993 года, самые сильные в романе, и не только из-за того, что автор был свидетелем этих судьбоносных событий, а прежде всего из-за потрясающей их пафосности, про-

зорливости, подлинной типичности как характеров, так и обстоятельств, в которых эти характеры раскрываются, и, естественно, деталей. Это именно тот классический случай настоящей художественности, на фоне которой любые исторические исследования меркнут, бытие опровергает быт, правда торжествует над истиной.

Виктор Плотников в своей книге «Когда мы будем вместе» (1993 г.) демонстрирует иной тип художественного мышления, сильная сторона которого — рефлексия, изображение различных душевных движений, «работа» на нюансах и полутонах. Сюжеты и диалоги здесь играют роль второстепенную и даже третьестепенную — на всем пространстве рассказа создается особая лирическая атмосфера. Голос автора в описаниях, монологах и воспоминаниях определяет эту атмосферу, работу над языком здесь можно сравнить с трепетным и упорным трудом ювелира. Повесть В. Плотникова «Татьянин крест» (ж-л «Слово». № 2—5 за 2000 г.) еще раз подтвердила, что произведения крупной формы ему противопоказаны: Плотникову надо писать миниатюры, стихотворения в прозе. Это его жанр.

Другой вологодский прозаик среднего поколения, Александр Цыганов, начинал как реалист (сборник рассказов и повестей «Ясны очи», 1991 г.), но уже в следующей книге («Мерцание. Вологодские рассказы», 1992 г.) стал «задавать загадки» читателям. Встречи с нечистой силой, всяческая «чертовщинка», беседы с привидением («Посланник»), мрачная фантастика — все это действовало на сознание читающего, сбивало его с толку: где тут сон, а где — явь? Сборник «Помяни мое слово» (1998 г.) подтвердил окончательно: перед нами необычное, незаурядное явление, резко отличающееся от других прежде всего естественным и органичным восприятием современных стилевых тенденций. А. Цыганов сегодня, пожалуй, наиболее перспективный из вологодских прозаиков. Его мистицизм — не мистицизм вовсе, просто автор, погружаясь в глубины реальной действительности, творчески познает ее. Если Рубцов слышал «печальные звуки, которых не слышит никто», то Цыганов оком художника видит печальные картины,

сокрытые от простого «житейского» взгляда. Достоевский называл такой художественный метод фантастическим реализмом. Главный герой цикла «колонийских» рассказов «Страсти Господни», «Вперед ногами», «Холод» Игорь Цыплаков перешел у прозаика и в повесть «Всякое дыхание» (1994 г.), где в ожесточенной борьбе добра и зла он возвращается к Свету. Язык этой повести по сравнению с рассказами отличается большей объемом и поэтичностью.

А вот о его «Таланихе» надо сказать отдельно. По языку он из тех рассказов, что читаются медленно. Колоритный словарь, густой, как мед, слог, неторопливое развитие сюжета, тягучая интонация — все неспроста: это накапливается горючее для взрыва. Кульминация — главное в этом тексте. «Таланиха» для Цыганова — программное произведение, а таких рассказов по определению не может быть много. В противном случае медовый слог может засахариться, а емкие эпитеты рискуют обернуться вязкой и липкой субстанцией. Нужна золотая середина, необходимо равновесие между живописностью деталей — лакомством для гурманов — и тем полетом фразы, который увлекает читателя все дальше и дальше.

В 1998 году был опубликован сборник повестей и рассказов умершего совсем молодым Михаила Жаравина («Сердечная рана»). Жаравин — прирожденный рассказчик, сумевший выработать свой неповторимый стиль, писавший в любой манере, в различных жанрах, великолепно передававший чужую речь, «игравший» сюжетом, смело ломавший художественные стереотипы — словом, он мог в прозе почти все (в поэзии его талант был значительно слабее). К всеобщему сожалению, мы потеряли человека, вполне способного стать выдающимся художником. Но и то, что он успел написать, требует тщательного изучения.

По-своему талантливы и другие относительно молодые вологодские писатели, например Станислав Мишнёв.

Первая большая книга С. Мишнёва вышла в Вологде в год 50-летия автора. Для прозаика этот срок вроде бы крайний, но далеко не последний. Мишнёв — писатель

самостоятельный, со своим опытом и стилем. Подкупают размеренность и основательность его слога, живой язык, умение строить диалоги. В его писательском портфеле есть и рассказы «из прошлого», и современные социальные зарисовки, сделанные неспешно, но с поэтанным волнением. Тут и житейские истории, и любовные треугольники... Хотя в большинстве своем они похожи на этюды к главной картине. Таковы «Годы-узелки», «Белый лужок», «Фаина Солод», «Колокольчики», «Корова», «Господа»... Они представляют собой сплетение изящных новелл о нашей нынешней деревне, о том, что в ней творится, точнее, о том, что происходит в крестьянской душе на вершине очередного великого перелома.

А вот рассказ «Последний мужик», хочется в это верить, начинается собой ряд произведений, способных вместить всю необъятность эпоса. Только в этом рассказе присутствует авторская рассуждающая и умиротворяющая речь, формирующая течение прозы иного уровня познания. Чистота и ясность стиля, глубина проникновения в тайну жизни нации, ее духа и ума связаны, быть может, с постижением медлительной образной русской речи, в которой каждое слово — на своем месте: «Горела утренняя заря, над зубчатым лесом медленно поднималось солнце, радостное, изумленное, как дитя малое. Воздух был спокойный, затаенный. Природа вчера, как в последний раз, вдохнула мороз, а под утро выдохнула изморось — шевельнулась под снежным тулупом мать-земля». Рассказ написан с любовью, сделан крепко, ладно, всем на загляденье, и главное — в нем есть душа.

Сюжет его предельно прост: накануне Великого поста умирает последний мужик занесенной снегом деревни, последний мужик беспутной эпохи, которая была милосердно дана нам в наказание за отступничество. Но в нем совсем нет похоронного настроения, нет ощущения конца. Во-первых, слова «конец» и «начало» в мудром русском языке выросли из одного древнего корня, а, во-вторых, — наша история движется по спирали. Вот почему Станислав Мишнёв завершает свое повествование удивительно светлым и радостным по настроению пейзажем.

Автор сборника прозы «Такой день» (1997 г.) Дмитрий Ермаков обладает достаточным запасом ярких жизненных впечатлений. Несомненно, есть у него и дар рассказчика, а это главное, необходимейшее условие для дальнейшего творческого роста. Не все рассказы Д. Ермакова равноценны, но их объединяет верно найденная доверительная интонация. Д. Ермаков умеет «держаться паузу», чувствует и определяет внутренний ритм повествования. Для него важен не текст сам по себе, не характеры и даже не сюжет, а то, что стоит за всем этим, та недоговоренность, которая дает пищу читательскому сердцу и разуму. Проза Д. Ермакова — серьезная проза, и недостатки ее тоже весьма серьезны: беден словарь, иногда автор неоправданно тратит силы на банально-сентиментальный сюжет («Каждый вечер танцы»), порой не может убрать из текста личные, дорогие только ему подробности. Жанр короткого рассказа для Д. Ермакова наиболее ограничен, но молодой прозаик вполне способен рискнуть и перейти от «камерности» исполнения к масштабности.

\* \* \*

На вологодской земле в 50-х—80-х годах появлялись, как грибы после дождя, не только поэты, но и критики: Валерий Дементьев, Виктор Гура, Феликс Кузнецов, Василий Оботуров, Игорь Шайтанов, Владимир Коробов, Вячеслав Кошелев, Вячеслав Белков. Из нынешних критиков и литературоведов такого многоцветного букета, увы, уже не составить. Поэтому нелегкую эту ношу взваливают на свои плечи наши поэты и прозаики. Александр Романов в 1995 году успел выпустить свои прощальные «Искры памяти», он собрал в единое целое публицистику, мемуаристику и критику. В результате получилась удивительная, подлинно поэтическая книга, которую хочется перечитывать вновь и вновь, настраиваясь на **верное** слово. Откровенность и правда — вот две ее опоры. Воспоминания о Н. Рубцове, Ф. Абрамове, строки о Дионисии, плач о рано умершем брате, мысли и наблюдения о сегодняшней жизни — все интересно, все подлинно, все завещано нам:

— Мера таланта — это мера выраженной им правды жизни.

— Великое искусство — великие цели. Ничтожное искусство — ничтожные цели.

— Поэтом прежде чем стать, надо им быть.

— Любой взгляд на русскую жизнь, если он глубок и озабочен, важен для раздумья и деятельного порыва. Любое суждение о русской жизни, если оно правдиво и сострадательно, необходимо нашему будущему.

В 90-х годах наша организация все чаще и чаще стала собираться по печальному зову: на похороны. Почти десяток литераторов обрел покой на кладбище. Писатели задыхаются от безденежья и бездомья... Причины известны: разрушенная система книгоиздания и книжной торговли, жалкие гонорары, микроскопические тиражи, безразличие власть имущих. Но самое страшное для нас — не физическая смерть, а творческая:

Смерть живая — не ужас,  
Ужас — мертвая жизнь.

(А. Прасолов)

Неспособность найти оригинальную художественную идею, яркое слово, современную форму и новое содержание — вот та смертельная болезнь, которая губит порой даже способных авторов.

Надо успеть сказать людям то, ради чего пришел на эту землю. Талант — явь неземного происхождения. Если получил свыше бесценный дар слышать океан многоголосья, то надо окунуться в него с головой. Если озарен вышним сиянием, то в небо и надо смотреть, сверяя свое сознание с его бесконечностью, и в то же время с дыханием земли. Самоотверженность и подвижничество — старинная и всегдашняя доблесть Руси. Слову предела нет, нет ему и покоя. Не должно быть и боязни всматриваться в скорбную и благословенную русскую жизнь до самой ее глубины. Богом нам заповедана вечность; память, ум и фантазия — ее посланники. Надо только помнить, что не ты властелин всего этого чуда. Ты всего лишь слушатель и одинокий певец долгой-долгой песни любви и печали...

## ВАСИЛИЙ ЕЛЕСИН

### «О РОДИНЕ ДУША МОЯ БОЛИТ»

Василий Белов. Встречи. Впечатления. Записи.

Майский ветренный полдень. С крыльца тотемской редакции районной газеты — приземистого купеческого дома с непробойными кирпичными стенами — спускаемся на узкую улочку. За ней овраг от самой центральной площади до берега Сухоны, а за оврагом, в длинном ряду таких же приземистых и толстых купеческих особняков, полуподвальная столовая, куда мы бегаем обедать. Впрочем, не все: литсотрудник Сергей Багров, коренной тотьмич, ходит обедать домой, но до столовой ему с нами по пути. Кроме Багрова идут Саша Королев и Игорь Попов, заведующие отделами «Ленинского знамени». У самого входа в столовую Сергей останавливается, здоровается с низеньким круглолицым человеком в просторном пальто. Волосы его зачесаны набок, жесткие, русоватые, они чуть прикрывают лоб. Ворот рубашки по-летнему расстегнут, костюм помят, в руках палочка.

Здоровуюсь и прохожу в столовую: у Багрова знакомых пол-Тотьмы, мало ли кто попался ему навстречу. После обеда все-таки спрашиваю:

— Что это за парень тебе встретился у столовой?  
Он удивился:

— А разве ты с ним незнаком? Это Белов.

— Неужели? А где он?

— Дома оставил, отдохнуть с дороги. Да не огорчайся, вечером встретимся!

Незадолго перед этим появилась в тотемском магазине книга прозы Василия Белова «Знойное лето», изданная в 1963 году в Северо-Западном издательстве, но все, что я знал к тому времени об авторе, укладывалось в короткие строчки аннотации:

«Василий Белов родился в 1933 году в деревне Тимониха Харовского района Вологодской области. После окончания школы ФЗО был столяром, мотористом, сотрудником грязовецкой районной газеты, секретарем Грязовецкого райкома ВЛКСМ.

Творческий путь Василий Белов начал со стихов. В 1961 году вышла первая книжка его стихотворений «Деревенька моя лесная». Будучи студентом Литературного института им. Горького, Белов впервые обратился к прозе. Первая его повесть «Деревня Бердяйка» была напечатана в журнале «Наш современник» и тепло встречена читателями. Стихи и рассказы молодого писателя публикуются в журналах «Нева», «Москва», «Звезда» и в других центральных и областных изданиях.

«Знойное лето» — первая книга прозы Василия Белова. Это книга о людях северного края, их радостях и горестях. Рассказы и повесть «Знойное лето» проникнуты жизнеутверждением, верой в прекрасное завтра тружеников колхозной деревни, любовью к ним, к их созидательному труду.»

В общем, аннотация как аннотация, писали и пишут их по шаблону. Но сама книга, помню, оставила впечатление светлое, чуточку грустное, и я написал небольшой отзыв на нее в «Ленинском знамени». Читал я и «Деревеньку», купленную все в том же тотемском книжном магазине. И вот вечером, прихватив с собой газету с отзывом, направился вместе с Сергеем Багровым к нему домой. Деталей того, первого разговора не помню, осталось в памяти, что Василий попросил у меня газету с отзывом на «Знойное лето» и сказал, улыбаясь:

— Это ведь первая рецензия на мои рассказы...

Вечер выдался солнечным, теплым, у меня был с собой фотоаппарат. Всей троицей отправились мы посмотреть Тотьму. Я снял Белова на мостике все через тот же овраг, но ближе к берегу Сухоны, у самого кинотеатра, устроенного в бывшей церкви с разобранной колокольней. Потом прихватили в магазине бутылку и на грузовом пароме переправились через Сухону в бор, когда-то большой и красивый, но к тому времени уже наполовину вырубленный. Там, сидя на пеньках, выпили, закусывая, вернее, запивая сырыми яйцами, которые Сергей прихватил из дома. Белов опустил на землю, прислонился спиной к пеньку и, держа в руке нанизанную на прутик яичную скорлупу, запел незнакомую мне песню:

*Миленький ты мой,  
Возьми меня с собой!  
Там, в краю далеком,  
Буду тебе женой.  
Милая моя,  
Взял бы я тебя,  
Но там, в краю далеком,  
Есть у меня жена.  
Миленький ты мой,  
Возьми меня с собой!  
Там, в краю далеком,  
Буду тебе сестрой.  
Милая моя,  
Взял бы я тебя,  
Но там, в краю далеком,  
Есть у меня сестра.  
Миленький ты мой,  
Возьми меня с собой!  
Там, в краю далеком,  
Буду тебе чужой.  
Милая моя,  
Взял бы я тебя,  
Но там, в краю далеком,  
Чужая ты мне не нужна...*

Позднее, через много лет, я как-то напомнил Василию Ивановичу об этом вечере и о песне. Он тепло, чуть смущенно улыбнулся и сказал:

— Эту песню очень любил Вася Шукшин. Вот и мне она полюбилась...

Поговорили, естественно, и о литературе. Белов, только что окончивший Литературный институт, сказал, что и в литературе, и в критике много подводных течений, от которых порой зависит, опубликуют автора или нет, несмотря на весь его талант.

Вернулись из бора и зашли к зятю Багрова, беловскому тезке Василию Ивановичу Баранову, который работал в то время собственным корреспондентом «Красного Севера». Плотненький, лысоватый, он был, бесспорно, человеком умным, но, что называется, «себе на уме». Чуть речь заходила о политике, он тотчас пытался увести разговор в сторону.

— Он вроде улитки,— сказал Белов, когда вышли от Баранова.— Чуть высунет рожки и тут же торопится спрятать.

Дорогой, а направлялись мы ко мне на квартиру, Вася рассказал, что едет он в командировку, надо добраться до Великого Устюга, но в дороге издержался да еще и в драку попал.

— Как так?

— Пацаны пьяные на палубе собрались с гитарой, орут какую-то дребедень. А я, тоже выпивши, подошел и давай уговаривать: ребята, мол, что вам русских песен мало? Поглядите, какая красота кругом, раздолье какое, тут в самый бы раз русское петь... Ну, они мне и накостьляли, ногу повредили, черти, ступать больно. Ребята рослые все, здоровые...

В Тотье я жил в то время с женой в двухкомнатной квартире на первом этаже двухэтажного деревянного дома близ бывшего Спасо-Суморина монастыря. Пришли уже затемно, попили чайку. Я показал свою маленькую библиотеку, в том числе и книгу «Житие протопопа Аввакума», изданную незадолго перед тем мизерным тиражом, кажется, пять тысяч, в Ленинграде. Было заметно, что Белову полюбилась эта книжка, и я попросил принять ее в подарок. Он отказался было и даже, когда я стал подписывать ее на память, переспросил:

— Не жалко? Мне бы жаль было такую книгу дарить...

В тот вечер он оставил свой автограф на «Знойном лете»:

«Тезке и земляку — Васе Елесину в память о встрече в Тотьме. С глубоким уважением В. Белов. 8 мая 1964 года».

Почему — «земляку»? Ведь он из Харовского, а я из Вожегодского района, и Белов знал об этом. Но дело в том, что я рассказал Васе о родине своих родителей — Потчеварах, что неподалеку от озера Воже. Оказалось, что и его Азла была в тех же местах.

— У нас, бывало, как кони потеряются, мужики говорили: «Ну, опять, наверно, в Потчевары ушли!». Так что, пожалуй, и впрямь земляки.

Я достал и его первую книжку — «Деревеньку»:

— Подпиши, заодно, и эту.

Белов подумал и махнул рукой:

«Ничего не приходит в голову! Напишу просто «Я»!

Так и хранится у меня до сих пор первая и единственная книжка стихов Василия Ивановича с его размашистым: «Я. Белов. 8-V-64.»

Хранилось еще у меня в ту пору неотправленное письмо одному учителю, в котором я с молодой горячностью высказывал все, что думал о современном обществе, о хрущевских порядках и нововведениях. Случилось так, что я прочел это письмо Белову и Багрову. Много в нем было спорного, о многом стоило и задуматься. Между прочим, приводились там строки Некрасова «Умрешь недаром, дело прочно, когда под ним струится кровь». Василий остро взглянул на меня, предупредил:

— Ты всем подряд это письмо не читай!

— Да ведь вы-то — не «все подряд»?

— Я — ладно, а другие не так понять могут. Неприятностей не оберешься...

Уехал утром следующего дня, переночевав у Сергея Багрова, который жил рядом с пристанью. Осталось у меня на память о том майском дне несколько пожелтевших любительских фотографий безбородого, молодого

еще Белова. К несчастью пленка, полностью отснятая в тот вечер, затерялась в 1967 году в Липином Бору.

Шестьдесят четвертый, шестьдесят пятый годы были для Василия Белова трудными. Печатался он еще редко, приходилось публиковаться в областных и районных газетах, чтобы получить хоть копеечный гонорар. За рассказ любого размера платили в «районках» не больше пятерки. Вот только некоторые из публикаций 1964 года: 29 июля в «Маяке» (газета Вологодского района, стихотворение «Крушина у берега, ива ли...»), 27 и 29 августа в «Призыве» (Харовский район) — рассказ «Речные излуки», 5 ноября там же сказка «Мышонок, бабушка и кот», в «Вологодском комсомольце» за 16 августа детские рассказы «Катюшин дождик» и «Как ворона воробья обидела», 23 сентября — рассказ «Страничка из Флобера», в «Красном Севере» за 5 сентября — рецензия на книгу Д. Хренкова о Сергее Орлове...

В сентябре 1964 года я получил от Василия письмо:

«Здравствуй, Вася! Сердечный тебе привет и Сергею, конечно. Прости, ради Христа, что молчал долго. Как вы там, в Тотьме? Я сегодня случайно получил снимки от Саши Сушинова, спасибо великое. Не вытерпел, решил написать. Не обижайтесь, что раньше молчал, все дело в расшейской нашей слоновости. Я наконец кончил наше заведение (Литинститут — В. Е.), теперь свободен. Свобода морить наших мышей. Не знаю, что дальше будет, однако пока держусь. Пишу сейчас очерк о русском многострадальном крестьянине для «Нового мира». Что выйдет, еще не знаю. (Речь идет о «Привычном деле» — В. Е.).

Как вы-то там? Неужели заглохнете? Держитесь, ребята! Выбирайтесь в люди. Я знаю, что вам туже, чем мне, но одновременно вы богаче меня, богаче в том смысле, что живете в народной гуще. Для тебя, Васюха, я бы желал одного: топай дальше в своих размышлениях, записывай все, что думаешь, — все понадобится, и верь в свою звезду. Надо бы тебе быть ближе к Вологде, ты бы запросто утер нос Гуре (литературный критик — В. Е.). Но как это сделать?

А Сереге я бы тоже одного пожелал: культуры, культуры, больших раздумий и больших взлетов.

Запомните, что Русь наша засасывает нас, душит и делает все, чтобы мы помалкивали. Надо преодолеть это. Преодолейте, первым делом, свою газету, потом преодолите областные рогатки, а потом можно выходить и на российский простор.

В Вологде тишина.

Сашка Романов, единственный потенциально даровитый человек, где-то в своей деревне, Тихонова не слышно, все остальные дремлют и ждать от них ничего не приходится.

Пишите оба. Я дня через четыре поеду в деревню, буду там с неделю, потом поеду в Москву и буду в Вологде.

За сим обнимаю вас и жду вестей от вас.

В. Белов, 28 июля 1964 г.»

Это письмо было отправлено лишь через месяц после того, как написано.

В 1964 году появились первые отклики на прозу Белова в центральной печати. Далеко не всегда были они доброжелательными. В апреле 1963 года журнал «Крестьянка» опубликовал рассказ Белова «Гудят провода». А в 1964 году в журнале «Советская печать» (предшественнике журнала «Журналист») появился обзор «О рассказах в журнале «Крестьянка». Рассказ Белова прямо-таки смешали с грязью. Автора обзора особенно покорило, что деревенские старухи в рассказе называют друг друга «девка». Заключение он решительно: «По всему видно, что у В. Белова самое дремучее представление о современной деревне». Не знаю, как отразилась эта статья в директивном журнале на дальнейшую публикацию Беловских вещей, явно, что не лучшим образом, да и ему доставила немало горьких минут.

Осенью этого же 1964 года, возвращаясь из отпуска в Тотьму, я на несколько дней задержался в Вологде, чтобы узнать о судьбе первой моей повести «Карьера Ивана Кузьмича», рецензию на которую писал Василий Белов. Зашел я к нему на квартиру уже под вечер, он

сидел один, писал. На столе — свежая книжка «Нового мира», раскрытая на очерке А. Побожия «Мертвая дорога», в котором шла речь о бессмысленном строительстве заполярной железной дороги Салехард — Игарка. Очерк я читал и помню, что произвел он на меня гнетущее впечатление.

— Читал? — кивнул Белов на журнал.

— Читал. Жуткая вещь.

— Вот так и вся наша дорога. Новая да мертвая...

Я извинился, что отрываю его от работы, собрался уходить. Он смущенно сказал:

— Да вот, очерк свой заканчиваю. На него все надежды. Знаю, что нигде не возьмут. А с другой стороны, если напечатают, так меня просто заключут и здесь, в Вологде, и в деревне моей... И печатать надо, жить не на что. Книжка в «Молодой гвардии» выйдет только в конце года...

«Очерком» Василий Иванович называл «Привычное дело», а книжка — «Речные излуки», она действительно вышла в «Молодой гвардии» в конце 1964 года.

Вскоре я получил рецензию Белова на свою повесть. Не буду приводить ее здесь — рецензия очень доброжелательная, даже с неоправданными авансами. Вот ее концовка:

«В заключение хочется пожелать автору большей творческой смелости, а также того, чтобы он как можно скорее освободился от скованности, так естественной для людей, которые лишены повседневного общения с более квалифицированной литературной средой».

Моя поездка в Вологду совпала с днем рождения Василия Белова, вернее с его кануном. Василий Иванович (тогда, естественно, просто Вася — ведь разница в возрасте была у нас небольшая) пригласил меня на следующий день в «Поплавок», пристанский плавучий ресторан, воспетый впоследствии Николаем Рубцовым. Характерно, что даже свой день рождения встретить ему было не на что: пришлось занять восемь рублей, чтобы посидеть в этом самом «Поплавке». Но была уже поставлена точка в «Привычном деле», в этой гениальной повести, которую он скромно именовал «очерком».

В начале 1965 года мы с Багровым снова получили «общее» письмо Белова, вернее, просто записку:

«Братцы! Вася и Сережа! С Новым годом вас обоих и да будет он вам трамплином к новому прыжку в делах. Что-то вы замолчали. Не обиделся ли Елесин на меня за рецензию? Или просто лень вам черкнуть открытку?»

Помнишь, Вась, я посылал штучку «И все про любовь»? Очень тебя прошу — вышли ее мне. Рукописи нужны, понимаешь. А Сергей пусть сообщит, получил ли он червонец, который я задолжал у него при таких мрачных обстоятельствах, не вешайте своих носов. Желаю вам удачей! В. Белов. 6.1.65 г.

А что слышно про Колю Рубцова?»

Рукопись рассказа «И все про любовь», которую Белов по моей просьбе присылал для «Ленинского знамени», была ему возвращена, а рассказ опубликован в нашей газете.

Почти в то же самое время я уехал сдавать зимнюю сессию в Ленинградский университет (учились мы там вместе с Сашей Рачковым заочно, были уже на четвертом курсе факультета журналистики). После сессии перед отъездом из Ленинграда зашли в Дом книги и к великой своей радости увидели там сборник рассказов Белова «Речные излуки». Вечером сели на поезд, а рано утром, где-то около пяти часов, прибыли в Вологду. До автобуса на Сокол, где жил в то время Рачков, времени оставалось много, а до тотемского автобуса и того больше. На вокзале сидеть — удовольствие маленькое.

— А поедем к Белову! — предложил я. — Рано, конечно, неудобно, да что делать?

Поехали. Разыскали дом за рекой Вологдой, поднялись по лестнице. Я позвонил, но никто не отозвался.

— Наверное, в деревне, — решили мы и собрались уже уходить, когда за дверью послышались шлепки босых ног. Белов заспанный, в одних трусах, взгляделся, узнал, пригласил:

— А, Вася! Заходи!

— Я не один.

— Заходи и не один.

Так познакомились Василий Белов и Александр Рачков, ставшие потом большими друзьями. Сели чаевничать на кухне, мы поставили на стол привезенную из Ленинграда бутылку водки.

— Закусить-то у меня, ребята, нечем,— сокрушался Белов.— Хлеба горбушка да луковица,— все харчи.

— Самая хорошая закуска! — одобрил Рачков.

Разговорились о новом, нашумевшем в ту пору фильме «Председатель». Нам удалось посмотреть этот фильм в Ленинграде. Потрясло правдивое, как нам тогда казалось, изображение послевоенной деревни. Тут и развалившиеся дома, и женщины, оборванные, изможденные, запряженные в плуги вместо лошадей, и жестковатый хозяин-председатель, его играл Ульянов. После фильмов, подобных «Кубанским казакам», все было внове. Но Белов неожиданно резко обрушился на «Председателя»:

— Вредная картина. Все стараются доказать, что русскому мужику кнут нужен. Без кнута так он вроде уж дурак-дураком!

Мы попросили оставить автографы на «Речных излуках», привезенных из Ленинграда. Сейчас он у меня перед глазами:

«Василию Елесину — на память, на дружбу. Белов. 5.2.65. Вологда».

«Речные излуки», пожалуй, первая книга Белова, получившая теплый отзыв критики. В рецензии Василия Рослякова, напечатанной 2 марта 1965 года в «Литературной газете» под заголовком «От излучины к излуцине», говорится:

«Для литературы имя Василия Белова еще не привычно. Но прочитав небольшую книжку его, я подумал — к имени этому привыкать придется. Талант молодого вологодского прозаика надежен, его голос чист, а сердце полно любви к людям и к родной земле».

Заканчивалась рецензия шуткой:

«Много в том, что пишет молодой прозаик, поэзии, подлинной и неповторимой, чистых мелодий, веселых,

грустных и даже горьких. Не так много мелодий, серьезно задевающих социальные стороны деревенской жизни. Их мало! Как бы не сказали про своего земляка что-нибудь в таком роде:

— А Белов наш хорошо поет, когда работать-то будет?

Но это тоже в шутку, хотя поделиться этой шуткой с Василием Беловым сейчас самое время».

Наверное, отпала бы у Рослякова охота шутить, знай он к тому времени о новой повести писателя, о «Привычном деле», которая уже странствовала по редакциям. Помню, как поразил меня в самое сердце отрывок из повести «Утро Ивана Африкановича», опубликованный весной 1965 года в областной газете «Красный Север». Опахнуло силой такой свежести, такого таланта, что я тут же сел за взволнованное, сумбурное письмо автору. Зная, что живет он в деревне, я отправил письмо другу своему Саше Погожеву, работавшему ответственным секретарем харовской районной газеты, с просьбой как-нибудь передать Василию Ивановичу. Да и само письмо начал я с необычного обращения по имени и отчеству, на что Белов даже немного обиделся в своем ответном письме:

«Вася, чего ж ты так меня? Официально величаешь? Спасибо за письмо. Его мне переслал великолепный Саша Погожев. Я в деревне живу, в Вологде бываю редко. Закончил вот Ивана Африкановича, буду в «Север» (это в Петрозаводске) посылать. Только мало надежды, что напечатают, а если и напечатают, то похерят самые дорогие для меня абзацы.

А ты зря откладываешь работу до окончания университета. Все это ерунда — учеба, работа в газете. Ты пиши сейчас, ничего не откладывай, время идет в одну сторону...

И еще. Не освободившись от внутренних, от собственных пут, нельзя освободиться и от внешних.

В Тотьму я собираюсь, но это, видимо, не скоро будет. Видел ли Сашу Романова? Он, кажется, приезжал туда недавно. Супруге твоей поклон. Пиши, не стесняйся. Белов».

«Привычное дело» вышло в первом номере журнала «Север» за 1966 год. О том, какой резонанс вызвала эта небольшая повесть в литературных и общественных кругах, вряд ли стоит говорить — всем людям старшего поколения памятли те дни. Скажу только как очевидец, что повесть далеко не все поняли и приняли сразу. Долго не было откликов на нее и в официальной критике. Больше того, даже в ближайшем литературном окружении писателя мнения высказывались самые разноречивые.

Летом 1966 года была организована поездка писателей на теплоходе по Сухоне. В Тотьме тогда побывали Сергей Викулов, Константин Коничев, Виктор Коротаев, Василий Белов, Дмитрий Голубков и другие. Не было Яшина и Орлова, впрочем, насколько мне известно, Орлов и Тендряков вообще не бывали в таких поездках.

В вестибюле тотемского Дома культуры, где проходил писательский вечер, я выбрал момент, чтобы поговорить с Беловым. Он спросил мое мнение о «Привычном деле». Возможно и путано, но я попытался выразить мысль, что подобной книги о деревне еще не было, что даже классики-дворяне, с каким бы сочувствием не относились они к мужику, показывали его **со стороны**, описывали как бы снаружи. Белов впервые выразил думы и чаяния крестьянина **изнутри**, с точки зрения самого мужика. В «Привычном деле» мужик впервые обрел свой, свойственный только ему, голос.

После литературного вечера состоялся банкет в одной из городских столовых. Много было различных тостов, получил слово для тоста и я. Сказав, что Вологодская писательская организация все увереннее заявляет о себе, привел в пример «Привычное дело», назвав его явлением в современной русской литературе. И сразу же вспыхнул спор.

— Ну уж загнул — явление!

— А что, неправда?

— Не явление, но, скажем так, — событие.

— Это еще разобраться надо...

В чиновничьих кругах автора упрекали за то, что он будто бы смешал события: послевоенные и «кукурузные»

времена слились в повести воедино. Однако народ, читатель принял повесть всем сердцем, полюбил ее. А немного времени спустя пришло и официальное признание. В «Правде» за 3 марта 1967 года Феликс Кузнецов назвал «Привычное дело» «наиболее значительным событием в деревенской литературе последних лет».

«Я давно не читал,— писал критик,— такой прозрачной и точной по языку, такой народной по духу, такой неторопливо могучей прозы.»

С этих дней и началось триумфальное восхождение Белова в литературе, его небывалый успех, когда каждую новую книгу писателя буквально рвали из рук. Сегодня имя Белова известно каждому, даже далекому от литературы человеку, знают его и за ближними рубежами, и за океанами.

После окончания университета летом 1966 года я был на распутье. В тотемской газете сменился редактор, а с новым общего языка у нас не нашлось. Я мечтал перебраться в Вологду, но жизнь, как говорится, внесла свои коррективы. В далеком Липином Бору, в Вашкинском районе, разбился на мотоцикле редактор районной газеты, мой близкий друг Александр Феодосьевич Погожев, «великолепный Саша Погожев», по выражению Белова. Приехав на похороны в Вологду (покойник был коренной вологжанин), я получил распоряжение явиться в обком партии, где В. Т. Невзоров, тогдашний зав. сектором печати, без долгих предисловий предложил мне поехать редактором в Липин Бор. Так в августе 1966 года расстался я с Тотьмой, где прожил четыре года, и переселился на берег Белого озера.

Вашкинский район был вновь восстановлен после разукрупнения за полгода до моего переезда. Все там возрождалось по новой. Газета тоже только-только становилась на ноги: вся редакция ютилась в одной комнате, в типографии за ручными наборными кассами сидели четыре пенсионерки да стояла одна старенькая печатная машина. Набор и правка номера затягивались за полночь, а газету отпечатывали, когда уже вставало солнце. Случалось уходить домой всего на пару часов, а то и самому становиться к наборным кассам. Немного

свободнее вздохнули лишь через год, когда установили линотип и обучили типографские кадры.

В это-то время, 28 августа 1967 года пришел в Липин Бор писательский теплоход, названный Н. Рубцовым в одноименном стихотворении «Последним парходом». На нем приехал и Василий Белов. Он попросил меня одолжить на вечер журнал «Север» с «Привычным делом». За журналом пришли ко мне на квартиру. Я угостил Василия белозерским сметком, показал новые фотографии. Среди них оказался снимок, где группа писателей находилась, как говорят, «под мухой».

— Отдай ее мне! — попросил Белов. — Я сегодня им покажу.

— Бери, ради Бога!

Лишь много позднее догадался я, что фотографию он никому не показывал, а просто разорвал — не терпел он вещей, которые давали повод ухмыльнуться над писателями.

После вечера, на котором выступили Яшин, Рубцов, а Белов прочел отрывок из повести, я познакомился с Александром Яшиным, который поставил свой автограф на книге «Сирота». Василий Иванович тоже подписал мне свою новую книжку «Тиша да Гриша»:

«Васе Елесину, с верой в его звезду. На память о встрече в Липином Бору. Белов. 28 августа 1967.»

Сфотографировались на память, а поздно вечером вместе зашли в каюту Яшина. Но там уже сидел вашкинский предрик Дмитрихин, сам Яшин выглядел разбитым и больным. Мы поспешили распрощаться.

Белова и Яшина связывала очень тесная дружба, хотя и между ними иной раз пробегала тень. Выступая на вечере, посвященном 75-летию Яшина, в июле 1987 года Белов сказал о нем: «Между совестью и мужеством была его доброта. Помню, как он обиделся, когда вышла первая моя книжка в «Молодой гвардии». Я тогда обратился к Ошанину, чтобы он написал предисловие. Яшин смертельно обиделся, что не его попросил написать».

В середине девяностых годов мне довелось прочесть дневник Яшина, в котором он делал записи о своей поездке в Тимонику к Белову весной 1966 года. Здесь

опять вспоминается история с предисловием Ошанина и проскальзывает яшинская обида. Вот строчки из дневника:

«Я вспомнил историю с ошанинским предисловием и покаянное письмо Белова на мое имя. И вдруг узнаю, что он все-таки послал Ошанину свою книгу. Почти поссорились». Кстати, в этой же записи от 19 марта 1966 года есть и другие нелестные для Белова строки: «Утром дочитал рукопись Белова (очерк) «В родных палестинах», которую у него не принял Твардовский. Понял, почему Ф. Абрамов, прочитав этот очерк, говорил мне, что Вася «не прост», «не так прост», ...«хитрый он мужик» и т. д. Прет тщеславие, которое в жизни он тщательно скрывает, рисуясь простачком».

Впрочем, в дневниках Яшина это одно из немногих мест, в которых сквозит обида. Чаще встречаются восхищение и восторг. Например, запись от 22 марта: «Перечитал «Привычное дело» (вторично). Ростом Вася с ноготок, а талант дай Боже!..» «Трогательно, как он приготовил мне комнату здесь, в этом доме, постелил овечьи шкуры на кровать и овчину под ноги у стола». И шутовское: «Тимониха, Тимониха. Восемь баб, один мужик да и тот начальник. Но зато здесь Вася родился».

Кстати, о Федоре Абрамове. Как-то Белов в одном из выступлений назвал его отцом, имея в виду влияние его произведений на свою творческую судьбу. Связывала их и тесная личная дружба. Смерть Федора Абрамова была для Василия Ивановича тяжелейшим ударом. Помню, как в один из дней после известия о смерти Абрамова мы с Борисом Лапиным встретили Белова на улице, мрачного и сгорбившегося, будто под ношей.

— Куда это такие веселые? — без улыбки спросил он.

— По делам. А ты-то чего такой мрачный, Василий Иванович? Ведь у тебя все, вроде, ладится?

— Федор Абрамов умер, разве этого мало? — жестко отрезал он.

Но вернемся к «последнему пароходу» Александра Яшина. Наутро теплоход ушел дальше, в Вытегру. В суматохе прощания Василий Иванович забыл вернуть мне журнал «Север» с «Привычным делом», о чем я

немало жалел: отдельного издания повести у меня еще не было. Примирила с потерей открытка, полученная от Белова в конце сентября:

«Василь! Обнимаю и каюсь: журнал не мог вернуть... Откажись, на кой он тебе? А я послал его «Ленфильму», они прокормят меня за это с полгода. Продай право на экранизацию. Не обижайся. Как дела? Не падай духом и будь поцелуеустремленной хоть немного. Передай привет жене и всем моим знакомым в вашем озерно-сосновом краю. Обнимаю еще. Белов. 19 сентября 1967 г.»

Минул и еще год. В эту зиму приезжали в Липин Бор Николай Рубцов и Виктор Коротаев, работал в нашей редакции молодой поэт Сергей Чухин, но с Беловым до весны встретиться не довелось. Лишь в апреле, приехав в командировку в Вологду, увидел я его в редакции «Вологодского комсомольца» и снова получил выговор за «несерьезное отношение к литературе». Я и сам в ту пору понимал, что пора, наконец, решиться: или остаться газетчиком и забыть о своих писательских мечтаниях, либо бросить все и заняться только литературной работой. Но легко сказать — «бросить все». Это семья и заработок, с одной стороны, несколько неудачных литературных опытов, с другой. А тут еще предложение из обкома: пойти на два года учиться в высшую партийную школу, после которой, это было понятно, меня ожидала работа в Вологде, рядом с друзьями-писателями. Да и за два спокойных, как мне думалось, года, может быть, сумею написать что-то дельное. Белов к моему решению идти учиться отнесся скептически. Более того, он, видимо, решил, что от литературы я отрываюсь навсегда.

— А может, это и правильно...— в раздумье сказал он.

Однако же на книге «За тремя волоками», которая только что вышла в издательстве «Советский писатель», оставил такую надпись:

«Васе Елесину с искренней дружбой и верой в его литературные удачи. Белов. 19.IV.68.»

И мы вновь расстались, теперь уже до лета, до того

самого дня, когда я поехал на собеседование в Москву. Помнится, день был пыльный, жаркий, хотелось пить. На горячей вологодской улице с размягченным асфальтом я нос к носу столкнулся с Беловым, который шел в сопровождении плотного широкоплечего человека с добродушным, слегка потным лицом. Поздоровались. Я сказал, что взял билет до Москвы на завтра.

— А сегодня ты не можешь уехать?

— Мне-то, собственно, все равно: днем раньше, днем позже...

— Понимаешь, Жене Носову, кстати, познакомься — это писатель Евгений Носов, — так вот, ему хочется задержаться на день в Вологде, а билет у него на сегодняшний вечерний поезд. Поменяйтесь билетами, и дело с концом!

Мы так и сделали. Обмен билетами принес неожиданный сюрприз. Когда вечером я подошел к вагону, там шло сумбурное провожанье: было много писателей-вологоджан, много и незнакомых людей. Все обнимали друг друга, какой-то человек со стеклянным глазом крепко облапил и меня. Но когда поезд тронулся, оказалось, что мы с одноглазым едем в одном купе. Незнакомец оказался Виктором Астафьевым, который тоже приезжал на писательский семинар в Вологду из Перми. Лежа на соседних верхних полках, проговорили до полуночи. Билеты для писателей заказывали оптом, вот почему места Носова и Астафьева оказались рядом.

В те два года, что я учился в Москве, была еще одна встреча с Василием Ивановичем, о которой не хотелось бы вспоминать, да из песни слова не выкинешь. В 1969 году, приехав в Вашки на зимние каникулы, я собрался отвезти мать из Липина Бора в Явенгу, к старшему брату. В Вологду прилетели самолетом, из аэропорта приехали на вокзал. До поезда оставалось часа четыре, и я отправился в город за гостинцами. Уже на обратном пути, в центре, встретил Белова. Поздоровались, поговорили и он затащил меня в кафе, где заказал бутылку шампанского. Потом проводил до вокзала, на котором произошла небольшая размолвка. Виноват, конечно, был я. Мать встретила меня упреком:

— Что уж ты больно и долго-то!

— Да вот, товарища встретил. Познакомься: известный русский писатель Василий Белов.

Сидящие возле оглянулись, а Белов, страдальчески сморщившись, сказал:

— Ну что ты...— повернулся и пошел прочь.

Ругая себя в душе — мне ли не знать, как ненавидел он всяческую рекламу! — я бросился следом. Выйдя из вокзала, Белов махнул рукой:

— Пока! Некогда мне. Тороплюсь.

Вернувшись после учебы и устроившись редактором «Последних известий» на областном радио, я почти полгода жил в отрыве от семьи в общежитии совпартшколы, так как дом, в котором мне обещали квартиру, был еще недостроен. Вечера проходили тоскливо и грустно, скрашивали их только встречи с Сергеем Багровым и Николаем Рубцовым. Очень хотелось повидаться и с Беловым, рассказать ему о многом, что услышал и передумал в Москве. Однажды решил позвонить. Белов ответил:

— Встретиться? Да некогда все мне! Ну заходи... Завтра я занят, в четверг... тоже занят, вот в пятницу заходи!

К Белову я не пошел. Позднее, при случайной встрече, он упрекнул:

— Чего же ты не зашел тогда?

— Да тоже некогда было.

Увидел я Василия Ивановича лишь у гроба Рубцова, на прощальной панихиде в Доме художников. Все мы были подавлены, если не сказать — раздавлены его внезапной и нелепой трагической гибелью. Белов молча протянул руку, сел на стул у стены. Я опустил рядом. Бросилось в глаза: по щеке Белова ползла светлая и неестественно крупная слеза...

Примерно через год я отдал в писательскую организацию сборник своих повестей и рассказов, нигде не публиковавшихся, не опубликованных, впрочем, и поныне. Попросил, чтобы отдали их на рецензию Василию Ивановичу, если он, конечно, согласится: ведь с 1964 по 1972 много воды утекло! Белов взял рукопись, но

как разительно отличалась эта рецензия от первой! Нет, не отношение писателя ко мне изменилось, изменился сам писатель: он вырос за эти годы настолько, что трудно было даже вообразить. Если тогда, при первых встречах, Белов и не мечтал публиковаться в «Новом мире», то теперь дорога туда была открыта настезь. Когда-то на мое предположение, что он может достичь художественного уровня Бунина, Василий Иванович просто рассмеялся: «Ну, ты хватил! До Бунина мне, как до неба!» В 1972 году он этого, может быть, уже не сказал бы. Ведь у него за плечами было уже множество великолепных рассказов, «Привычное дело», пьеса «Над светлой водой», а работал он над вещами еще более масштабными: над «Канунами», «Ладом». Он стал совершенно нетерпим к литературной инфантильности, робости, ему хотелось, чтобы все вокруг работали, как он сам,— с полной самоотдачей, чтобы выкладывались до конца. А что сделал я за эти годы? Практически ничего. Потому, наверно, вторая рецензия на мои вещи так отличалась от первой. Приведу для сравнения два отрывка из той и другой:

«Имя В. Елесина для литературной общественности Вологды почти неизвестно. И так получается, что беря в руки произведение нового автора, всегда начинаешь читать это произведение с некоторым предубеждением, дескать, вот, число литературных неудачников увеличилось еще на одного человека...

Но так бывает приятно ошибиться в своем предчувствии. С каждой прочитанной страницей рукописи В. Елесина все быстрее исчезает это предубеждение, все больше убеждаешься в незаурядных литературных способностях автора. Не надо бояться говорить об этом прямо. На мой взгляд, в лице В. Елесина вологодская литературная среда приобретает еще одного способного литератора: не беда, что его способности пока полностью не раскрылись в рецензируемой рукописи.»

А вот что напишет он через восемь лет:

«Литературные судьбы складываются очень разнообразно. Если, конечно, говорить о людях, рожденных с явной природной способностью к творчеству. Степень

этой способности может быть большой, средней или малой — тут мы все равно должны быть осторожны, бережливы и внимательны. В хозяйстве, как говорят, все пригодится...

И эти судьбы, конечно же, бывают удачными и неудачными, счастливыми и несчастливыми. Один набирает скорость и силу с первой же публикации, другой ступает неуверенно, мнетя, оглядывается, тыкается туда-сюда и, наконец-таки, находит сам себя. Третьи вообще бросают все раз и навсегда, не преодолев собственной и окружающей косности.

В. Елесин, как мне думается, принадлежит как раз ко второй разновидности. Его литературная судьба пока не очень удачлива. Дебют его состоялся давно, но был каким-то вялым, нерешительным, это затормозило елесинское развитие. Кажется, и он сам не очень расстраивался от этого. Он никуда не спешил, предоставив себя воле случая. Можно ли осуждать автора за это? Думается, что можно.»

В этой рецензии Белов решительно «зарубил» предложенный сборник и совершенно обоснованно: собран он был из разновременных и разноплановых вещей. И вновь встал передо мной горький вопрос: продолжать писать или «бросить все раз и навсегда»? Увы, бросить я был уже не в состоянии. И сел за новую повесть, которая увидела свет только через пять лет, в 1977 году. Это была детская книжка «Пятачок на берегу», вышедшая на сорок первом году моей жизни.

— Так вот ты где проклянулся! — сказал, по-доброму улыбаясь, Белов, когда я подарил ему эту книжечку.— Поздравляю!

Василий Иванович не раз говорил, в том числе и публично, что львиная доля его времени уходит на «проталкивание» своих произведений в печать. Это не следует понимать так, что Белова вообще не хотели издавать. Наоборот, охотно издавались его старые вещи, но с большой настороженностью относились к новым. И чем больше становилась слава писателя, тем придиричливее делались редакторы и те люди в партаппарате, которые ими командовали. Не забыть, как тогдашний

заведующий сектором печати Вологодского обкома КПСС В. Т. Невзоров, выступая на партийном собрании в редакции газеты «Красный Север», вещал:

— Конечно, Василий Белов — очень большой талант. Значит, тем более мы обязаны его направлять и воспитывать!

Когда вышел роман «Кануны», все мы знали, что его порядком «пощипали» в издательстве. Я спросил у Василия Ивановича:

— Много ли, в общей сложности, вырезали из «Канунов»?

— Если брать по тексту, вроде бы и не много,— ответил он.— Да ведь режут-то всегда яйца...

В 1973 году примерно полгода я исполнял обязанности заведующего Вологодским отделением Северо-Западного книжного издательства. В это время там выпускалась небольшая книга прозы Белова «Иду домой», и Василий Иванович часто заходил к нам. Однажды вышли из здания вместе. Василий Иванович был мрачен, неразговорчив. Я спросил, как у него идут дела в московских издательствах.

— Худо! — буркнул он.— Никому не нужна настоящая литература. А ерунду писать не могу...

В это время он считался и был довольно крупным писателем России, но всячески отмахивался от попыток как-то возвеличить его, выделить из писателей-вологоджан. На одном из писательских собраний зашла речь о каком-то деле, уже не помню каком. Один из литераторов вдруг сказал:

— Это надо поручить маститому писателю. Белову, например.

— Это я-то — маститый? — засмеялся Белов.— А какая у меня масть?

Но авторитет его в организации уже тогда был непререкаем. К тому времени в Вологду переехал Виктор Астафьев, жила и работала здесь О. А. Фокина, поэты Александр Романов и Виктор Коротаев. Имя Белова, слово его воздействовали на всех удивительным образом. Не раз приходилось слышать, как кто-нибудь обрывал ударившегося в запой собрата:

— Ты кончай это дело! Смотри, Белову скажу!

И действовало безотказно, хотя, конечно, никакой ни партийной, ни административной власти у Василия Ивановича не было. Просто все знали, что он уже давно не пьет и пьяных не терпит. Вот и побаивались его пронзительного взгляда, колючего слова. Однажды, уже в начале восьмидесятых годов, состоялся литературный вечер в областной библиотеке имени Бабушкина. Собрались писатели, пришел и поэт Сергей Чухин, слегка «под мухой».

— А ты чего пришел? — спросил у него Белов.

— Так я же поэт! — простодушно ответил тот.

— Вот если ты сейчас уйдешь домой, то поступишь как поэт, а если останешься, так, извини меня, никакой ты не поэт!

Сергей тихонько посидел еще в зале и незаметно ушел.

В августе 1976 года, через десять лет после памятного мне приезда писателей в Тотьму, была организована поездка писателей на теплоходе по рубцовским местам. Всего десять лет назад Рубцова почти не знали, а теперь на теплоходе были люди из самых разных уголков страны: Глеб Горбовский из Ленинграда, Валентин Устинов из Петрозаводска, Евгений Евтушенко из Москвы. Были гости из Днепропетровска, с Урала, из Минска... Большинство вологодских писателей, в том числе и Василий Белов, тоже ехали на агиттеплоходе «Буревестник». В качестве специального корреспондента «Красного Севера» довелось участвовать в этой поездке и мне. Причем «висело» на мне одно щекотливое поручение. Близкий друг еще по Липину Бору Леонид Каламаев попросил взять у Белова автографы для себя и для своего однокашника. Леонид работал судьей, а приятель его — начальником тюрьмы где-то на Волге. Зная отношение Белова к властям, в том числе и к судебным, я подошел к нему с книгами не без робости. Вопреки ожиданиям, Василий Иванович отнесся к моему поручению с юмором:

— Начальник тюрьмы? Интересно! Ну что ж, пора и такие знакомства заводить!

И подписал обе книги — это был роман «Кануны»,

только что вышедший в издательстве «Современник». Книгу эту ждали и расхватили мгновенно, но у меня ее еще не было, удалось «достать» лишь зимой, так что автограф Белова на этой книге я получил лишь в следующем году: «Василию Елесину с пожеланием большей житейской смелости и удачи. Белов. 25.1.77 г.». Есть у меня авторский автограф и на втором издании «Канунов» («Молодая гвардия», 1988 г.): «Васе Елесину, давнему товарищу. Желаю успехов и здоровья. Белов». Как видим, характер автографов изменился: о творчестве речи не идет, видимо Белов к тому времени уже махнул на меня рукой, хотя к 1988 году у меня вышли уже четыре книги.

В памятном 1977 году состоялась премьера пьесы Белова «По 206-й» в областном драматическом театре. Придинок и страхов и у театральных деятелей, и у работников обкома, управления культуры было много. Они добились-таки, чтобы Белов снял заключительную, финальную реплику пьесы: «И куда это они все едут?».

После сдачи спектакля в вестибюле Василий Иванович спросил: «Ну, как тебе?»

Я был потрясен. Сказал:

— Да... Вывернул ты наизнанку всю нашу бюрократию!

Белов нахмурился:

— Тебе так показалось? Вообще-то я не это хотел сказать...

Лично меня задел в спектакле один момент, когда журналист цитирует слова Некрасова «Умрешь не даром, дело прочно, когда под ним струится кровь». Сразу вспомнилась первая встреча с Василием Ивановичем, письмо, которое прочел ему тогда, — там ведь тоже цитировались эти слова, хотя и совершенно по другому поводу. Я тут же спросил, есть ли какая-то связь между тем письмом и сценой в спектакле.

— Да ты что, Вась! — искренне удивился Белов. — Экая у тебя манера — все к себе примеривать!

Работал я в то время заведующим отделом культуры в «Красном Севере». Как-то редактор упрекнул, что для

«Литературных страниц» я подбираю, в основном, молодых авторов, что редко появляются на страницах газеты Астафьев и Белов.

— Их же сокращать да править нельзя. Вы уверены, что не попадете впросак?

Цветков задумался.

— Так-то оно так, риск есть, что дадут отрывки, которые опубликовать нельзя, но тогда уж объясняться с ними придется тебе. В общем, гляди, чтобы не попасть газете в неудобное положение. А имена нам нужны.

Он меня попросту подставлял. Опубликуешь что-то острое, редактору сразу нагоняй, а то и партийный выговор, так что все, под чем стояла подпись Белова, редактор прочитывал чуть не с лупой в руках и нередко «заворачивал». С другой стороны, «гладить по шерстке» Белов никогда не умел, его статьи всегда были колючими для власть имущих. В любом случае я оказывался «стрелочником»: сдам острый материал, получу нагоняй от редактора и из обкома. А если его «зарубит» редактор, еще хуже, потому что Белов обидится и больше уже ничего для газеты не даст, да и ко мне станет относиться по-другому...

Белов в то время возвратился из Франции. Я позвонил, попросил для газеты отрывок из его новых рукописей.

— Да нет у меня сейчас ничего! — отнекивался Василий Иванович.

— Но я знаю, что у тебя не опубликована целая документальная повесть «Раздумья на родине». Дай отрывочек оттуда!

— Нет. Эту повесть из журнала пересылали Дрыгину (тогдашний первый секретарь обкома), а он вообще запретил ее печатать. Нет ничего.

— Тогда, может быть, дашь интервью о поездке за границу?

— Ну что ж... — неохотно согласился он. — Заходи.

Я пришел на квартиру Белова, захватив с собой магнитофон: надежнее, когда ответы на вопросы записаны на пленку, меньше риск ошибиться или извратить ход мысли автора.

— А это зачем? — спросил Василий Иванович, показывая на магнитофон.

— Для точности.

— Убери, а то я вообще говорить не буду.

— Хорошо.— Я достал блокнот и авторучку.

— И записывать ни к чему. Что ты, так не запомнишь, что ли?

Вернувшись в редакцию, я по памяти восстановил ход беседы, придав ей форму интервью. Когда все было написано, пришел показать Белову. Он внимательно прочел и вдруг начал черкать строчку за строчкой. Приведу для примера один отрывочек. У меня написано:

«Что было интересного в других поездках? Побывал на Алтае, на родине Василия Макаровича Шукшина, с которым мы довольно часто встречались при его жизни, дружили».

Василий Иванович поправил текст:

«Вспоминаются и другие поездки. Летом был на Алтае, на родине Василия Макаровича Шукшина». И все.

Многое он сократил, зато сам дописал большой кусок, в котором говорится об организации животноводческих комплексов в Молдавии. Сам предложил и последний вопрос, правда, несколько не по теме: о молодых литературных силах в области. Как говорится, сам спросил, сам и ответил:

«Вологодским читателям пока мало известно имя Александра Швецова, поэта из Сокола. Как мне кажется, стихи его достигли того художественного уровня, когда их можно и необходимо издать отдельной книгой. Глеб Текотев — тоже из Сокола — обладает, на мой взгляд, незаурядными способностями прозаика. Он хорошо знает наш северный быт, язык, многое видел и помнит. К сожалению, у Текотева еще не достает чисто литературного опыта, его художественный вкус еще формируется. Долг писателей постарше помочь таким людям, как Г. Текотев и А. Швецов, крепче и быстрее встать, как говорится, на свои ноги».

Это интервью с правкой Белова было опубликовано в «Красном Севере» 6 февраля 1977 года, а рукопись с

его поправками хранится в моем архиве. В ней, в частности, есть такой вопрос:

«Читатели ждут продолжения «Канунов»...

Ответ Белова (до правки):

«Продолжения не будет. «Кануны» — роман о годах, предшествовавших коллективизации на Севере и не требует продолжения, если вести речь именно об этих годах. Другое дело — роман о коллективизации, над которым я собираюсь работать. В нем сохранятся некоторые герои «Канунов», но, в сущности, он станет не их продолжением, а отдельной книгой.

— Как будет называться книга?

— Условное название «Судные дни».

Во время правки Василий Иванович перечеркнул пространный ответ на первый вопрос и заменил его двумя словами: «Нужно время».

Было и еще одно памятное в связи с этим вопросом. Когда Белов сказал, что намеревается назвать роман «Судные дни», я невольно заметил:

— Вряд ли опубликуют...

— Какое мое дело! — вспыхнул он. — Опубликуют, не опубликуют, а писать-то все равно надо. Никто за нас не напишет...

Это было у него часто: если автор неоконченной вещи сетовал на то, что ее трудно будет «протогнуть», Василий Иванович говорил:

— Это — не твое дело! Твое дело писать. А опубликуют, не опубликуют — какая разница? Потом опубликуют!

Конечно, подобные речи не очень-то утешали писателей, которые перебивались с хлеба на квас. Потратить несколько лет изнурительного труда, чтобы вслед за тем положить рукопись в стол, — такая перспектива не всех устраивала...

С годами Белов все неохотнее давал газете для публикации отрывки из своей прозы. Однажды, когда я особенно настойчиво просил рассказ или отрывок из повести, он вскипел:

— Да нету, русским языком тебе говорю! Ей-Богу, хоть садись да пиши чего-нибудь для «Красного Севера»!

В 1978 году появился в продаже сборник его рассказов «Гудят провода». О нем, а также о «Рассказах о всякой живности» написал я небольшой отзыв, опубликованный в газете 11 октября того же года. При встрече Белов крепко пожал руку:

— Спасибо тебе за рецензию.

Весна и лето семьдесят восьмого были для писателя беспокойными: шли съемки фильма по его киноповести «Целуются зори». Василий Иванович не раз жаловался, что работа над сценарием и съемки измотали ему все нервы. В середине ноября состоялась, наконец, премьера фильма в Вологде. Многие были недовольны тем, что режиссер Сергей Никоненко «приделал» к повести оптимистичный и вовсе несуразный конец, показав в качестве «новой деревни» какой-то леспромхозовский поселок. Белов, который в общем-то остался доволен и игрой актеров (особенно великолепен был Сабуров в роли Егоровича), и режиссурой, прямо указал на «пристегнутый» к фильму «хвост», как портящий картину.

— Прошу считать, что фильм кончается там, где герои садятся на пароход, чтобы ехать в деревню,— сказал он, выступая перед премьерой фильма в кинотеатре Ленинского комсомола.

Мне довелось писать рецензию на «Целуются зори». В ней, в частности, говорилось:

«В фильме нет противопоставления города деревне, но есть разница между ними — разница быта, психологии, привычек людей города и села. И всматриваясь в эту разницу, высвеченную, поданную, как говорится, «крупным планом», невольно задумываешься: а ведь в фильме не просто забавные приключения. Фильм взывает к лучшим чувствам людей. Доверие и доверчивость. Простота души и скромность. Желание добра тем, кто рядом с тобой. Не теряем ли мы эти качества в повседневной сутолоке городских будней?»

Буквально через несколько дней после выхода этой рецензии мне позвонил Саша Рачков и сказал, что Белов ищет магнитофон, чтобы послушать некоторые записи.

— Давай отнесем ему мой,— предложил я.

Пришли мы к Василию Ивановичу в недобрый час: он только что вернулся с похорон вологодского художника Шваркова, утонувшего на рыбалке, был угрюм и неразговорчив. Наладили магнитофон, поставили пленку, на которой была записана игра Николая Рубцова на гармошке. И постепенно лицо Белова светлело, прояснялось. Сам неплохой гармонист, он любил и умел ценить хорошую игру, тем более игру трагически погибшего друга. Очень нравилась ему также игра Саши Рачкова — она была виртуозной.

— Пленку с записью твоей игры я хочу послать композитору Гаврилину, — сказал он Саше. — А еще одну пленку с записями в деревнях, которые сделал областной дом народного творчества, надо бы переписать для себя. Мне для пьесы нужно.

Пленку для Белова мы переписали, магнитофон оставили у него.

Через два дня Василий Иванович позвонил мне в редакцию:

— Никуда не уйдешь? Занесу тебе магнитофон.

— Заходи. Кстати и Саша Рачков здесь.

Речь зашла о записях старинных песен, сказок, легенд.

— Не записано еще много! — посетовал Василий Иванович. — Мне недавно легенду рассказали, как Петр Первый с солдатом в кабаке встретился. Ну, сели за стол, стали пить. Деньги кончились. Солдат и говорит: «Давай саблю пропьем!» Он ведь не знал, что с царем сидит. «Давай!» — Петр отвечает. Пропили саблю. На другой день Петр назначает смотр, чтобы поймать солдата без сабли. А тот выстрогал себе деревянную и стоит.

— Вот что, друг, отруби-ка ты саблей голову своему полковнику! — приказывает Петр.

Солдат притворился, что неохота ему голову полковника рубить, и взмолился:

— О, Господи! Преврати ты мою саблю на сейчас в деревянную!

И вытаскивает из ножен деревянную саблю. Петр солдату за находчивость приказал выдать сто рублей и новую саблю.

— А слышали притчу, как правда с кривдой обедали? — улыбнулся Василий Иванович, прищуривая свои пронизательные глаза.

— Нет...

— Встретились правда с кривдой, пошли в ресторан. Попили, поели, надо рассчитываться, а у правды, как всегда, денег нет. Кривда и говорит: «Не расстраивайся, все сделаем!» Заметила, как рассчитываются за соседним столиком, номера купюр запомнила. Подошел официант, а кривда ему: «Мы уж рассчитались, могу сказать, какими и деньгами». И называет номера купюр. Официант — за милиционером. Приходит милиционер: «В чем дело?» «Да мы рассчитались, вот и номера купюр такие-то». Милиционер на официанта: «Ах ты, плут!» Официант за голову хватается: «Господи, да где же правда-то!» А правда глаза опустила и шепчет: «Я-то тут, да ведь я тоже вместе с ней ела...»

— Надо собирать такие вещи,— заключил Белов.— Собрать бы, да издать отдельной книгой!

Беседе, к несчастью, помешал невесть откуда взявшийся поэт Игорь Тихонов, вдрызг пьяный, шумный и не в меру фамильярный. Он сразу напустился на Белова:

— Вася, ты чего не берешь читать мою повесть?

— Да что толку-то, если я прочитаю? В лучшем случае могу позвонить в редакцию, чтобы там посмотрели без очереди.

— Ну, хоть бы сказал, получилось или нет.

— А это ты сам должен чувствовать. Я всегда чувствую, если вещь получилась.

Он встал, распрощался и ушел. Я знал, что в эти дни Белов работал над новой пьесой. А через несколько дней я снова встретил его в коридоре редакции.

— Рукопись вот принес машинисткам перепечатать.

— Пьеса?

— Пьеса,— неохотно ответил он.— Да это черновой вариант. Работать еще надо, работать! — махнул он рукой, спускаясь по лестнице. Принес он, как оказалось, рукопись сказки «Бессмертный Кощей».

Я смотрел ему вслед, маленькому тощему человеку с рыжеватой-седой бородкой и пронзительными серова-

то-голубыми глазами, который так много стал значить для России. Вспомнил, как он, уходя из моего кабинета, сказал Игорю Тихонову:

— Я бы запретил продавать для вас водку. Работать надо!

Сам он работал необычайно много, подозреваю, что и спал-то он не больше шести часов. Если во время сидения в архивах, в библиотеке попадалось ему что-то незаурядное, чем хотелось бы заняться, да времени не было, он просил взяться за это дело знакомых или друзей. Например, в декабре 1978 года я получил от него коротенькую записку: «Василий, займись сам этим делом или поручи кому-нибудь. Интересно же! Может, в Тотьме кто? Или Багров? У меня-то нету времени на это... Белов».

К записке была приколота крохотная заметка из пожелтевшей от времени газеты «Предания о Ермаке» преподавателя Вологодского пединститута Наумова. В заметке со ссылкой на «Вологодские епархиальные ведомости» за 1899 год высказывалась мысль, что Ермак мог быть тотьмичом. Я попросил заняться этой темой Александра Грязева, писателя, историка по образованию, и 29 декабря в «Красном Севере» появилась его статья «Ермак Тимофеевич — вологжанин?», в которой хотя и не доказывалась подлинность рождения Ермака в Тотьме, но было приведено немало любопытных фактов.

Второго января 1979 года в редакцию заглянул Саша Рачков.

— Сходим, проведем Белова? Говорят, болеет...

Предварительно позвонили.

— Давай, заходите! — пригласил Василий Иванович.

Встретил он нас с загипсованной рукой. Мы встретились:

— Что случилось?

— Шли тридцатого декабря, в самый-то мороз из театра (морозы тогда стояли под сорок) с главрежем Дроздовым. Я еще в театре апельсинов купил, несу под шубой, рукой придерживаю. И вздумалось зайти на почтамт, телеграмму подать. А ступеньки там скользкие.

Поскользнулся, упал прямо на руку — только хрустнуло! Боль адская. Гипс вот наложили, теперь шесть недель нельзя снимать. Все дело встало из-за этой руки. Надо бы расклейку детской книжки сделать для Архангельска, а не могу. Да и не все рассказы есть. Надо бы «Око дельфина», оно у меня только в «Холмах», а «Холмы» всего в одном экземпляре, придется перепечатывать...

И неожиданно обратился к Рачкову:

— Иди ко мне в секретари! 150 рублей каждый месяц буду платить. Очень много технической работы, прямо погряз в ней...

— Жил бы в Вологде, так с великим бы удовольствием!

В то время он жил еще в Соколе, хотя уже устроился работать уполномоченным агентства по охране авторских прав по Вологодской области.

— Давай мы сделаем тебе эту расклейку! — предложил он.

Я взялся перепечатать «Око дельфина».

Незадолго перед тем работал я в госархиве над дневниками и записными книжками своего земляка Александра Тарасова и рассказал несколько эпизодов из дневников Василию Белову.

— Незаслуженно забытый писатель, — сказал Василий Иванович. — И проза у него очень хорошая. Надо, чтобы кто-нибудь капитально занялся этим архивом. Сам все собираюсь посмотреть, да время жмет.

Он предложил нам остаться пообедать. Садясь за стол в кухне, где его мать Анфиса Ивановна разогревала суп, я обратил внимание на натюрморт над столом, где были изображены печенье, конфеты и открытая банка распространенного тогда хека.

— И хека увековечили! — улыбнулся я.

— А как же! — живо отозвался Белов. — Еда русского народа!

— Советского? Ведь до революции такой рыбы не знали!

— Нет, русского! Грузины хека не едят.

За обедом я напомнил Василию Ивановичу, как он угощал нас с Рачковым луком, когда мы возвращались из Ленинграда.

— А у меня тогда редко что и водилось, кроме лука. Сейчас вот прошу иной раз луку — допроситься не могу!

Буквально через день, четвертого января, Вологда отмечала 75-летие писателя В. С. Железняка. Принимали Железняки в своей двухкомнатной квартире по-старомодному: гости приходили с визитом, сидели минут десять-пятнадцать и откланивались. Однако мне удалось услышать тост, поднятый Беловым. Обращаясь к Железняка, он сказал:

— Мы, интеллигенты в первом поколении, всегда завидовали вам, носителям высокой культуры, впитанной, так сказать, с молоком матери. Вы, Владимир Степанович, очень многому учите нас, учите по-настоящему понимать и любить великое наследие русского дворянства,— говорил он.

Пятого января я дежурил по выпуску номера газеты. Василий Иванович позвонил прямо в комнату дежурного редактора:

— Вася, не надо перепечатывать «Око дельфина». Я нашел второй вариант. Чем там занимаешься?

— Газету читаю.

— Ладно, завтра прочитаю, что ты там написал.

— Ничего хорошего.

— Все равно. Погоду почитаю!

В начале февраля 1979 года состоялось общее собрание Вологодской писательской организации. Александр Романов, только что вернувшийся из поездки в Петрозаводск, где проходила редколлегия журнала «Север», рассказал о плане журнала на год, о том, что запланирована публикация пьесы Белова «Бессмертный Кощей». Пьеса, кстати сказать, в «Севере» так и не появилась, по слухам, против ее публикации восстал Карельский обком. Потом речь зашла о романе Глеба Текотева «Серафима».

Глеб Текотев — оригинальная фигура в тогдашнем литературном мире Вологодчины. Инвалид с детства, он работал в одном из Сокольских техникумов, а писал «для души», то есть — в стол. Возможно, мы никогда бы о нем не услышали, если бы Александр Рачков не попросил у него почитать некоторые рукописи. Они

произвели впечатление не только на Рачкова, но и на Белова. И началось прямо-таки триумфальное шествие: публикация рассказа в «Красном Севере», в журнале «Наш современник», читка по Всесоюзному радио, подготовка книжки в Архангельске, переговоры с издательством «Современник» о книге в Москве...

Это был взлет стремительный, но, к сожалению, недолгий. Текотев тяжело заболел, рак в полгода скрутил его. Мы с Сашей Рачковым и опускали его гроб в могилу,— было это незадолго до выхода в свет первой книги Глеба «Серафима».

Но тогда, в начале 1979, Глеб был еще здоров и деятелен. На собрании говорили о втором, переработанном варианте его романа. Романов предложил Белову прочесть этот вариант.

— Зачем? — поморщился тот. — Я ведь читал первый вариант. Глеб — серьезный человек, сам разберется, где хорошо, где плохо. Не надо воспитывать иждивенческие настроения у серьезных писателей!

Глеб пожаловался на невнимательность издательств, на то, что уйма денег уходит на перепечатку рукописей. Василий Иванович вспылил:

— А ты как думал? Ты знал, на что идешь! Не надо было соваться в литературу, раз денег на перепечатку жалеешь!

С годами Белов все непримиримее относился к литераторам, у которых замечал несерьезное отношение к литературе... Да это и понятно: сам он отдавался литературе без остатка, видя в ней одно из основных средств улучшения жизни крестьянства путем создания соответствующего общественного мнения. «Наше оружие — перо и бумага», — любил повторять он. Отсюда рождалось и его отношение к молодым литераторам. Вспоминается семинар молодых, который состоялся в конце сентября 1979 года в Вологодском пединституте. Секцией прозы на семинаре руководили Василий Белов и Виктор Астафьев. Приехали и москвичи, но не из-за семинара, а потому, что в эти же дни проводились дни поэзии Николая Рубцова.

Разбирая прозу молодого инженера из Тотьмы Посохова, Василий Иванович спросил:

— Почему вы написали рассказ об охоте?

— Я сам охотник,— ответил Посохов.

— Я — столяр, допустим,— улыбнулся Василий Иванович.— Что же мне все о деревообработке писать?

— Вот и написал «Плотницкие рассказы» — вмешался Иван Полуянов. Раздался смех.

— Я о чем говорю? Сейчас многие авторы, в том числе и молодые, пишут на ровном литературном уровне, почти профессионально. Но сколько авторов, идущих от литературщины, сколько штампов! Или вот у вас слово «будя». Да что это за «будя» такая? Неужели в Сибири сплошь и рядом так говорят? А хоть и говорят, все равно часто употреблять нельзя, ведь штамп и в прямой речи — все равно штамп. И вообще писателю надо вырабатывать свой стиль, не поддаваться влияниям. Годами, упорно вырабатывать, посмотрите: ведь у Бунина нет штампов. И у Булгакова нет, и у Платонова. Литература — она вся из новизны: и в мыслях, и в словах, и в ситуациях.

Дальше. Повесть называется «Русский медведь». Название претенциозное. Но продолжу свою мысль о штампах. Опасность повторения существует и у профессионала: повторяешь то ли своего собрата, то ли классика, а то и самого себя. Можно повториться не только в разных вещах, а и в одном рассказе. Тут говорили об этюдности, о Пришвине. Из-под Пришвина тоже надо вылезать. Писатель должен вырваться из-под любого влияния, выработать свой стиль. Без своего стиля нет писателя. Он должен вылезать и из-под самого себя, если чувствует, что начал повторяться.

И еще хочу сказать: писателю нужна смелость, мужество, риск. Без этого нельзя найти стиль, даже тему нельзя найти.

Смелость нужна и в самом творчестве,— говорил Белов.— Я считаю, что каждый большой художник был смелым — прежде всего. Надо добиться раскованности, внутренней свободы (помните: «надо освободиться от пут внутренних, чтобы освободиться от внешних»? — В. Е.). И еще — нужна настроенность на работу. Вот говорят, что Андрей Рублев, прежде чем начать что-то,

сорок дней постился, и только тогда приходила свобода, раскованность, независимость внутренняя.

Об отношении к литературе. Некоторые относятся к ней, как к забаве, развлечению, наслаждению. Но без мужества, труда и терпения это наслаждение мелкое. Я призываю к серьезному, а не развлекательному отношению к литературе. Сам выбор пути уже накладывает на литератора серьезную ответственность.

Литературный вечер памяти Николая Рубцова состоялся в тот же день. И там разговор шел не только о поэте, но и о литературе, и о судьбе людей, делающих литературу. Как всегда, выступления Белова ждали. Оно было коротким, но впечатляющим.

— Меня всегда поражает одно обстоятельство, — сказал Василий Иванович. — Вот были мы на пятидесятилетия Шукшина. Взглянул я на толпу и ужаснулся: сколько людей, оказывается, любит мертвого Шукшина! Почему же живого-то не замечали, а иногда еще и гадости ему делали? И с Рубцовым то же. Многие его просто не замечали. Один из высокопоставленных областных деятелей однажды так выразился:

— А может быть это и к счастью, что он погиб!

Странно все это...

Летом я был в Англии, так поразился, что там Ганина и Рубцова знают лучше, чем у нас в стране. Недавно один из литературных критиков, с которым я в Англии познакомился, прислал письмо с просьбой выслать кое-какие материалы о Рубцове — собирается писать о нем книгу. Надо бы и у нас как-то шире пропагандировать и жизнь его, и творчество.

На следующий день продолжался семинар молодых. Я опоздал, пришел, когда Белов уже заканчивал свой обзор, а потом начал отвечать на вопросы.

— Скажи, как ты вошел в литературу? — спросил его Олег Коротаев (брат поэта Виктора Коротаева).

— Ну что это за слово — «вошел»? Войти можно в комнату. В кухню можно войти... Я начинал со стихов. Стихи стал писать со скуки. Сидел в колхозной конторе счетоводом и от скуки писал. В ФЗО пошел со скуки... А образования настоящего не получил. До сих пор не читал, например, историю западную.

Единственное, в чем я убежден, так это в том, что только человек нравственный может что-то сделать в литературе. Кто не помучается своими вольными или невольными грехами,— тот не писатель. Ну, хватит об этом. Помог вам хоть чем-нибудь наш семинар?

— Еще бы! — отозвался Глеб Текотев.— Вообще помощь нам нужна постоянно. Я вот, когда роман начал писать, не знал даже, где абзацы ставить...

— А теперь-то хоть знаешь? — засмеялся Белов.

— Теперь — другое дело!

— Не скажи! — Василий Иванович снова нахмурил широкие брови.— Учиться надо постоянно. Вот, например, как ставить знаки препинания, если в прямой речи передается диалог? То есть, диалог передает рассказчик?

Заспорили. Вскоре спор ушел далеко в сторону, коснулся соответствия личности писателя его произведениям. Белов вмешался:

— Я расскажу об одной встрече с Колей Рубцовым. Как-то в Литинституте, поздно ночью, после двенадцати, я шел по коридору и встретил Рубцова. Был он в валенках, в замызганном пиджачишке, пригласил: «Пойдем, чаем напою». Пришли к нему, стали пить чай. «Хочешь, я стихи читаю?» — спросил Рубцов и начал читать. «Кто это? Пушкин?» — спросил я. Он ничего не ответил, как-то ушел в себя. А стихи-то были рубцовские, помните, там есть строчки:

*«Горел печальный наш костер,  
Как мимолетный сон природы...»*

Наверное, он обиделся, что я его с Пушкиным спутал... Но что я хочу сказать: Рубцов не совпадал внешне со своими стихами. Вот Евтушенко совпадает, а Рубцов не совпадал...

После семинара я подошел к Василию Ивановичу, напомнил, что он обещал что-нибудь для газеты.

— Да нет у меня ничего! Ты вот их печатай, молодых: Фирсова, Драчева...

— Их мы постоянно печатаем, а тебя очень давно не было.

— Ладно, может отрывок из очерка найду. Позвони в первых числах октября.

До октября еще состоялась писательская поездка в Тотьму, в которой принял участие и Белов, хотя чувствовал себя неважно. После возвращения я позвонил ему и снова — отказ:

— Нет ничего. Печатай других.

Перед октябрьскими праздниками Саша Рачков занес мне верстку очерковой повести Белова «Раздумья на родине», которую долго мариновали в журнале «Дружба народов», но опубликовать так и не решились. Я прочел верстку. Горько, но честно, как все у Белова. В полном смысле слова — раздумья на родине и о Родине. Выбрал отрывок для газеты, перепечатал даже, но не будешь же публиковать без согласия автора? Решил позвонить.

— Тут мне Саша Рачков верстку твою отдал, просил тебе переправить.

— Что уж он, сам-то не может занести?

— В командировку уехал. А у меня мысль — перепечатать кусочек.

— Нет. Не надо.

— Не надо, так не надо... Занесу завтра.

Пришел я к Белову на второй день, позвонил. Дверь открыл сам Василий Иванович.

— Давай, проходи.

— Я на минутку. Раздеваться неохота.

— Прходи так! Чего раздеваться-разуваться! Кто это придумал: никогда в русских избах не разувались. Вот скажи: для чего?

— Чтобы хозяйке меньше работы. Грязно же на улице!

— А! Ерунда все это! Какой ты отрывок-то хотел?

— Где о председателе речь.

— Ни к чему. Как книга-то?

— Хорошая книга. Честная.

— Я ее три раза переделывал по требованию редакции. Вставлял даже куски хвалебные, думал, пройдет. Ко мне ведь дважды приезжали: Баруздин и этот зам его, армянин... Тер-Акопян. Надоело, забрал обратно. Из Харовска меня вытащили тогда.

— Да почему не печатают-то? — удивился я. — Что тут криминального? Ведь все — правда!

— Они, может, и напечатали бы, если бы не наши. Из обкома звонили в журнал. Надзоров, Жуков (секретарь обкома) тоже руку приложили. Это все ладно, не печатают и не надо, пусть лежит. Уберу все вставки, восстановлю в прежнем виде. У меня ведь тут были еще факты, цифры, взятые из нашей же печати: как после войны, в сорок пятом году отправляли из России продовольствие в Германию. Не успело оружие остыть, из которого они по нам стреляли, а мы им — мясо, масло, хотя свой народ с голоду пухнул...

— Пусть лежит, — продолжал он спокойно. («Раздумья на родине» вышли в журнале «Наш современник» в 1985 году, а в 1986 издана книга под одноименным названием. — В. Е.)

— Вот сказку не опубликовали — жаль!

Да, «Бессмертному Кощею», прежде чем стать широко известным, тоже пришлось пройти долгие мытарства. Сказка увидела свет в журнале «Театральная жизнь» лишь несколько лет спустя. Первым поставил ее на сцене самодеятельного театра в Череповце Равик Смирнов.

— Куда Рачков-то уехал? — спросил Василий Иванович.

— В Ленинград.

— Я скоро в Финляндию поеду, тоже через Ленинград. А ты на меня не обижайся, просто нечего дать в газету.

— А я и не обижаюсь. Работа у меня такая, цыганская.

— Молодых надо больше печатать.

— Что и делаем.

— Кстати, у меня сейчас рассказы Драчева — возьми один. Свяжись только с ним.

Он сам написал адрес Драчева, пристально взглядываясь в бумажку на письменном столе, потом взял очки:

— Вот дожил: без очков уж и писать не могу. Только ты сообщи Саше Драчеву, если будешь сокращать или публиковать. Так положено. Да врезку напиши.

— Может, сам напишешь?

— Некогда мне! — поморщился Белов. — Я вот его

рассказы повезу в «Молодую гвардию», там врезку сделаю.

Я взял рассказ и попрощался.

— Ты извини меня,— сказал Василий Иванович, провожая меня в прихожую.— Я сегодня в таких расстроенных чувствах, что... И надоело все, и семейные всякие неурядицы...

Глубокий беловский взгляд, глаза почти из одних зрачков, а в них — страшная усталость...

Через некоторое время после моего возвращения в редакцию раздался телефонный звонок:

— Вася, это Белов. Саша Драчев как раз пришел ко мне. Ты можешь его принять?

— Конечно.

— Зайдет, обо всем и договоритесь. Ну, пока.

Вскоре пришел Драчев — молодой, коренастый, крепкий. Жил он в Северодвинске. Вместе выбрали отрывок из рассказа, распрощались. А через несколько дней я получил письмо от Василия Ивановича с врезкой к рассказу:

«Прошедший недавно областной семинар молодых литераторов порадовал вологжан появлением новых имен, еще не известных широкой общественности. Особенно приятно то, что большинство участников семинара люди действительно молодые, не перешагнувшие тридцатилетний рубеж. Среди них выделяются такие прозаики, как Олег Ларионов (вологжанин) и Александр Драчев (уроженец Великоустюгского района). Молодость в литературе, как и везде, предоставляет человеку свои преимущества и свои опасности. Преимуществ не так уж и много, а вот опасностям, как говорится, несть числа. Сегодня хочется пожелать Александру Драчеву удачи на литературном пути, чтобы он не надорвался раньше времени, укрепил свое мужество и развил талант, данный ему природой. В. Белов. 16.XI.79.»

Василий Иванович никогда не чурался публицистики, и не очень его волновало, где опубликована та или иная его статья: в «Правде» или в областной молодежной газете — была бы польза. Он мог решительно отказать в интервью солидному столичному изданию, если

не видел в том пользы для народа, и тут же написать свои соображения по поводу какой-то проблемы, скажем, для «Вологодского комсомольца». Так появилась, например, его заметка «Без стыда» по поводу фильма «Странная женщина», опубликованная в молодежной газете и написанная специально для нее. Знать бы ему тогда, что припасает жизнь на будущее, до какого бесстыдства дойдут кинематографисты к началу девяностых годов!

Зимой, в начале 1980 года на писательском собрании принимали в члены Союза писателей тотьмича Сергея Багрова, который перебрался в Вологду намного раньше меня и выпустил несколько сборников хороших рассказов. На собрание приехали редакторши Северо-Западного книжного издательства Урушева и Лиханова. После собрания, где за Багрова проголосовали единогласно, он раскрыл свой портфель. На столе появилась водка, коньяк (напомню, что строгости со спиртным начались позднее, где-то в 1985 году, а в то время на банкеты в учреждениях смотрели сквозь пальцы). Выпили, посидели, но совсем недолго. Речь зашла о мастерстве писателя в разных жанрах.

— Писатель должен уметь все,— сказал Василий Иванович.— Должен владеть всеми жанрами, если он настоящий писатель.

Я возразил, что жанр — не главное, было бы что писателю сказать.

— Ну, это само собой разумеется!

Вскоре Белов поднялся, надел шубу, стараясь не привлекать внимания, тронул за плечо Сергея Чухина:

— Сережа, проводи меня.

Кивнул мне:

— И ты тоже.

В коридоре к нам присоединился поэт из Грязовца Николай Дружининский, впоследствии, как и Чухин, рано ушедший из жизни.

— Надо бы еще посидеть,— сказал Василий Иванович, когда мы вчетвером вышли на улицу.— Да не могу я видеть этих архангельских баб, тошно с ними и разговаривать. Пошли в ресторан.

«Нептун» работал почему-то до девяти вечера, мы подошли в половине девятого, однако же нас пустили. Сели за столик. Заговорили, как всегда, о наших неурядицах, о том, что накипело на душе.

— Нет, надо что-то менять,— вырвалось у меня.

— Менять надо самих себя. В этом главное,— заметил Белов.

— Об этом «главном» говорят с сотворения мира. Но даже Лев Николаевич с его теорией самоусовершенствования ничего не смог сделать. Все враз люди никогда не изменятся.

— Да зачем людей-то переделывать? — удивился он.— Давайте переделаем хотя бы самих себя. Вот начни с сегодняшнего дня, а через десять лет встретимся и скажешь, прав я был или нет. Ты Ганди читал? — неожиданно спросил он.

— «Моя жизнь»? Читал. Так ведь и у него все то же: не пей вина, не ешь мяса, берегись женщин...

— Ну, значит, давно читал или ничего не понял!

В тот вечер я упомянул в разговоре Салтыкова-Щедрина, вернее, его рассказ «Совесть».

— Не говори ты мне об этом подонке! — неожиданно вспыхнул Белов.

Мы вышли из ресторана, проводили Чухина и Дружининского до такси, сами пошли пешком, благо недалеко. Василий Иванович упрекнул меня, что в газете иногда пишу, не вдумываясь в смысл написанного:

— Материал об открытии ТЮЗа ты давал?

— Я...

— Чего же ты написал, что здание Пушкинского дома в Вологде было в 1906 году разрушено черносотенцами? Ты что, в самом деле так думаешь?

Чувствуя, что краснею, я пробормотал:

— Да ведь во всей литературе по истории Вологды так написано...

— Мало ли что напишут! Думай! Меня тоже черносотенцем звать станут, так ты и этому поверишь? Еслиставишь свою подпись в газете, так надо ее уважать...

Вот и получил я очередной беловский урок...

Начало восьмидесятых годов было триумфом для авторов печально известного проекта переброски северных рек, «проекта века», по словам Алексанкина, возглавлявшего в ту пору «Главнечерноземводстрой». Белов сразу и безоговорочно выступил против проекта: писал письма с протестом, статьи, которые оседали в архивах редакций, добивался аудиенций у самых высокопоставленных деятелей. А меж тем, хотя проект не был еще утвержден госпланом и совмином, министерство мелиорации и водного хозяйства создало в Вологде управление по переброске части стока северных рек, а также два производственных участка: в Никольском Торжке и в Каргополе. После того как участки начали работу, у многих противников переброски опустились руки: что можно сделать, коли переброска, по сути дела, уже началась? Но не у Белова.

Весной 1981 года состоялась областная отчетно-выборная партийная конференция. В числе других работников газеты я тоже должен был освещать работу конференции. Белов был делегатом конференции и, кроме того, членом обкома партии.

После доклада Дрыгина Василий Иванович перебрался на самый верхний ряд конференц-зала, где разместили прессу, сел рядом со мной. В руках — пачка газет. Развернув одну, углубился в чтение какой-то статьи. Потом толкнул меня локтем:

— Смотри, генерал хвастает, как здорово он воевал. У него в армии мой отец служил. Убили. Я потом разбирался в архивах — бездарно воевал генерал-то. Людей у него в армии не жалели.

На конференции присутствовал уже упоминавшийся заместитель министра мелиорации и водного хозяйства СССР Алексанкин.

— Давай пошлем ему записки, спросим, когда планируют они перебросить первую воду и какой урон принесет области это дело? Надо всеми силами восставливать общество против этого безобразия.

— Работы уже ведутся, каналы копают, чего теперь сделаешь?

— До конца надо воевать. Ты что, хочешь, чтобы всю область залили?

— Я-то не хочу, но какой толк от записок?

— Все возможности использовать надо!

Записки в президиум конференции на имя Александина мы послали, но ответил на них первый секретарь обкома Дрыгин, на обе сразу:

— Тут вот спрашивают, как дальше пойдет дело с переброской воды с севера на юг. Двух мнений быть не может: юг задыхается без воды, а у нас ее избыток. Поделемся...

Здесь все было неправдой. Как показали позднее опубликованные данные, уровень Каспия уже повышался, а черноземы уже засолялись от переувлажнения. Несмотря на это авантюра с переброской продолжала набирать силу и приостановить ее удалось лишь через пять лет не без активнейшего участия В. И. Белова.

Несколько слов о сути проекта. Предполагалось, что переброска девяти кубических километров северной воды на юг поможет обводнить усыхающий Каспий, вдохнуть новую жизнь в каскад волжских электростанций, увеличить площади орошаемых земель на юге.

Референт вице-президента Академии наук СССР Яншина, руководитель лаборатории биосферных явлений доктор наук Ф. Я. Шипунов, выступая в нашей писательской организации, назвал проект «экологической бомбой замедленного действия». Он лично возглавлял экспедиции на юг и на север страны, изучавшие обоснованность проекта. Писатели-вологоджане были буквально потрясены результатами работы экспедиций. Проект, стоимость которого превышала сто миллионов рублей, по сути дела не приносил стране ничего, кроме колоссального вреда. Уровень Каспия к началу восьмидесятых годов начал повышаться без участия человека. Увеличение бесконтрольного полива черноземов вызывало подъем сильно соленых подпочвенных вод, что вело к перенасыщению черноземов солью и к полной непригодности их для сельского хозяйства уже через семь-десять лет. На севере, в Архангельской и Вологодской областях, предусматривалось затопить тысячи гектаров сельхозугодий, лесов, предстоял снос деревень и

поселков. Изменялся весь гидрологический, природообразующий, климатический комплекс. Наша область, вероятно, оказалась бы в условиях круглогодичного паводка, то есть на полях не стали бы созревать даже скороспелые культуры. А отдача? В 107 томах технико-экономического обоснования проекта не было даже мало-мальски внятного расчета, какую прибавку урожайности на юге страны можно ждать от реализации «проекта века». Более того, Ф. Я. Шипунов доказал, что вложение всего семи миллиардов рублей в лесопосадки на юге может обеспечить более высокие и стабильные урожаи, чем избыточный полив.

Искать логику в настырной настойчивости авторов проекта казалось бессмысленным. Но логика была. Осуществление проекта обещало многие выгоды министерству мелиорации и водного хозяйства, прежде всего от резкого увеличения финансирования. Шкурные, личные интересы перечеркивали интересы общенародные. Понятно, что Белов не мог остаться равнодушным, понятна и его неутомимая деятельность по предотвращению беды, грозящей Северу. Он писал статьи, которые не публиковались, но какими-то странными путями просачивались на Запад. Выступая в редакции газеты, тогдашний шеф Вологодского отделения КГБ Чурсинов показал нам парижскую эмигрантскую газетку «Посев», где была опубликована статья Белова «Спасут ли Каспий Воже и Лача?», хотя автор ни сном, ни духом не ведал об этой публикации.

Не имея возможности выступить в открытой печати, Василий Иванович клеймил проект с трибун писательских съездов, призывал к борьбе ведущих писателей страны. И правда восторжествовала. В 1986 году специальным постановлением Политбюро работы по переброске были прекращены.

Незадолго до пятидесятилетия Белову была присуждена Государственная премия. По этому поводу он устроил небольшой банкет в отделении Союза писателей, которое располагалось тогда на улице Ленина, на четвертом этаже объединения «Вологдалеспром». Звучали речи, здравницы, как и водится в таких случаях. К тому времени у меня появилась возможность на некоторое

время уйти «на вольные хлеба», заняться только литературной работой. Но прежде чем решиться на это, я решил посоветоваться с Беловым. Улучив минутку, спросил его мнение.

— По-моему, не надо тебе уходить с работы. И не только из-за оклада. Ты же умный человек. Вспомни, как у меня в «Кощее»:

*Нахальство, как весенняя вода,  
Пустые норы прежде заполняет  
И лишь потом их пробует размыть.*

Нельзя оставлять такие места, как твое, кому попало.

Пятидесятилетие Белова в октябре 1982 года отмечали в Вологде пышно. На торжественный вечер в областной драматический театр были приглашены многие крупные писатели: Валентин Распутин, Владимир Солоухин, Феликс Кузнецов, Вадим Кожин и другие. Незадолго перед юбилеем я столкнулся с Беловым на улице. Перебросились несколькими фразами. Потом он вдруг спросил:

— Тебе посылать приглашение на банкет? Пойдешь?

Признаться, меня задело: о таких вещах не спрашивают — либо приглашают, либо нет.

— Не пойду, — сказал я резковато.

— Смотри! У меня желающих много! — засмеялся он.

Примерно через месяц после беловского юбилея я начал собирать документы для вступления в Союз писателей, имея за плечами уже три книги. Решил попросить одну рекомендацию у Белова. Позвонил ему уже вечером, попросил разрешения зайти.

— Заходи, конечно! — приветливо сказал Василий Иванович.

Пришли мы к нему вдвоем, вместе с критиком Василием Оботуровым. Белов же, видимо, ждал меня одного, я заметил, как он помрачнел, увидев нас вдвоем. Разговор не клеился, и когда я заикнулся о рекомендации, Белов недовольно уронил:

— Не очень-то смотрят в Москве на мои рекомендации. Кого порекомендую, того и зарубят. Ладно, напишу, в Союзе оставляю...

11 июня 1983 года Василий Иванович позвонил мне сам, причем где-то в девятом часу вечера:

— Надо бы встретиться, поговорить. Ты знаешь, где Рачков живет?

— Конечно.

— Приходи к нему и скажи, что я тоже сейчас приду.

Я быстро собрался и отправился к Рачкову, который жил в трех кварталах от меня на улице Ветошкина. Василий Иванович пришел какой-то взъерошенный, взвинченный.

— Пошли в «Поплавок»! — неожиданно предложил он. — Лина, одевайся!

— Да ведь поздно уже, скоро десять... — робко пыталась протестовать жена Рачкова Ангелина Александровна.

— Ничего не поздно, самое время!

— Одевайся, Лина! — скомандовал Саша, который, как никто, умел понимать Белова. — Не пустят в ресторан — по улице прогуляемся!

Погода мало располагала к прогулкам: накрапывал затяжной дождь, однако мы все же направились в речной ресторанчик «Поплавок», воспетый Рубцовым, где «на столе стоят цветы герани, и редко там бывает голос брани, и подают кадуйское вино...» У входа, как всегда в позднюю пору, стояла толпа подвыпившего народа. Белов протолкался к запертой двери, постучал. Открыла сердитая гардеробщица:

— Ну? Чего ломитесь, чего надо?!

— Пропустите меня на минутку. Я — Белов.

— А для меня — хоть Чернов! — и снова захлопнула дверь. Зашумевшая было публика притихла, некоторые узнали писателя. Мы стояли позади Василия Ивановича, как в воду опущенные. Он постучал снова, и когда разъяренная гардеробщица снова открыла дверь, строго сказал:

— Мне надо поговорить с Алефтиной Николаевной.

— Так бы сразу и говорили! — буркнула она, пропуская.

Алефтина Николаевна была то ли директором, то ли метрдотелем, и через несколько минут дверь растворилась перед нами. Так как все места в зале были заняты, нам поставили столик на палубе (ресторан был переоборудован из какого-то судна.)

Дул сырой пронизывающий ветер, из открытой двери на кухне тянуло душной струей спертого воздуха. Меня начала колотить какая-то, то ли ознобная, то ли нервная дрожь.

— Ты что, совсем замерз? — заботливо спросил Василий Иванович.— Садись на мое место!

— Какая разница! — засмеялся я.— Ты ведь тоже на ветру.

— Сейчас согреемся! — утешил он и заказал бутылку водки и бутылку шампанского.— Здесь хоть поговорить можно, никто не мешает.

Поговорить, однако, не удалось. Какой-то вдрызг пьяный поклонник литературы буквально прилип к нашему столику и довел Белова до белого каления. Пришлось звать на помощь ту же Алефтину. Пьяного увели, но настроение было уже испорчено. Наскоро закончив свою трапезу, мы снова поднялись на набережную. Дождь лил уже не переставая. Обходя в темноте лужи, снова пришли к Рачкову и только там вздохнули свободно.

Саша взял гармонь, а играл он виртуозно, игра его всегда завораживала Белова.

— Надо что-то делать с засильем «рока», — задумчиво сказал он во время паузы.— Ведь это ужас — все эти дискотеки, танцевальные вечера, этот стриптиз на сцене... Вы видели балетную труппу «Сирин» во Дворце железнодорожников? Сходите обязательно! Сплошная порнография! Хоть бы написать куда-нибудь об этом безобразии. Жаль, у меня времени нет...

— Так ведь и мы можем написать! — ответил Рачков.— Сходим, посмотрим...

— Сходите! А то он вот смотрит на нас своими ясными глазами, а нам в ответ и сказать нечего! — Василий Иванович показал на портрет Николая Рубцова, подаренный Рачкову одним из вологодских художников.

— Скажем! — обнадежил Рачков.— Хочешь его стихи послушать? — И он включил магнитофон с записью голоса Рубцова.— Это Елесин собрал старые записи...

Прослушали, в том числе и стихотворение о «Поплавке», которое Рубцов читал бесподобно.

— Господи, как много надо сделать, и как мало еще сделано! — вздохнул Белов.

— Тебе-то, Василий Иванович, грех жаловаться, сделал ты столько, что дай Бог каждому! — возразил я.

— А-а, что там! Я благодарю судьбу за то, что позволила мне написать четыре вещи: «Привычное дело», «Кануны», «Лад» и «Кошечка». Ну, еще пара рассказов. А остальное...

И снова завел речь о бездуховности людской, о податливости молодежи на всякое развращающее, особенно сионистское, влияние.

— Нужен Бог! — с присущей ему категоричностью сказал Рачков.

— Бог и так есть, — ответил Василий Иванович. — Думаешь, мы все знаем?

— Я в Бога поверить не могу, — признался я.

— Потому это, что одностороннее воспитание. Мало читаешь, наверное. Ты Платона почитай, неоплатоников. наших: протопопы Аввакума, например, Нила Сорского...

Кстати, путь Белова от атеизма к глубокой, почти фанатичной вере, которая стала проявляться у него к старости, был, видимо, нелегко и тернист. На одной из встреч с читателями Василия Ивановича спросили, почему большинство писателей вдруг ударились в религию?

— Что значит — религия? — ответил он. — Религия была всегда. Она началась много веков назад, так почему я должен отказываться от духовности моих предков? А вообще — это глубоко личное дело каждого.

Тут я целиком согласен с Василием Ивановичем: религия — глубоко личное дело каждого, паршиво только, если показную религиозность используют в шкурных интересах, что нередко наблюдалось в девяностые годы.

Несмотря на то, что я пытался преодолеть свое «одностороннее» воспитание, читая вороха духовной литературы, я остался атеистом, потому что нигде не нашел ответа на вопрос, что такое Бог? Этого, по моему, не знает никто, а верить в нечто неведомое я просто не в состоянии. В этой связи вспоминается и довольно крутой спор с Беловым в конце восьмидесятых годов. Тогда он позвонил мне и спросил, где может передать мне статью, которую я заказывал для газеты:

— Я тут погулять собрался, так выходи навстречу, заодно и заберешь.

Был второй день майских праздников. На встречу я отправился слегка навеселе. Василий Иванович, который к тому времени уже не пил и не курил, сразу уловил запах спиртного.

— Ты когда пить бросишь? — полушутливо, полу-серьезно спросил он.

— Когда ты начнешь, — отшутился я.

Шутка ему не понравилась, он перевел разговор на другую тему. Мы прошли по улице Мира до установленного по постаменте танка, присели на скамейку. Уже не помню, как разговор коснулся веры, но отчетливо помню вопрос:

— Как можно не верить в Бога? Кто же, по-твоему, все создал? Землю, небо, звезды?

— Для меня это ясно. Вселенная бесконечна и вечна, материя развивается и видоизменяется по своим собственным законам. А что такое Бог? Его же никто никогда не видел!

— Мыслей тоже никто никогда не видел, даже доктора. Так что, их тоже нет? Что такое мысль?

— Мысль тоже материальна. Если брать чисто физически, то это — движение электронов по нейронам головного мозга. Мысль можно даже материализовать, в компьютере, например.

— Эк тебя настропалили, — возмутился Белов. — Почему ты мало читаешь?

— Читаю я много. Но, видимо, мы с тобой читаем разные вещи. Я ведь не упрекаю тебя за то, что ты не читаешь научную литературу. Ну, хотя бы «Очерки о Вселенной» Воронцова-Вельяминова, французских энциклопедистов. И еще насчет мыслей. Электрический ток тоже не виден, но он-то уж насквозь материален, верно?

Убедить друг друга нам так и не удалось, думаю, что это и невозможно. Воистину: религия — глубоко личное дело каждого.

Вернемся на квартиру Рачкова. Уже под утро я провожал Василия Ивановича домой. Шли под дождем, огибая лужи на асфальте, а он все говорил о Боге, о нравственном стержне, который обязательно должен

быть в душе каждого человека. И почему-то накрепко запомнилась, прямо-таки врезалась в память его фраза:

— Наш удел — страдать и бороться...

Белов откровенен всегда: в выступлении с трибуны, в газетной статье, в личной беседе, в романе или пьесе. Мне рассказывали, что в Соколе инструкторша горкома партии как-то кокетливо спросила Василия Ивановича:

— Как вы относитесь к публичным выступлениям?

— Как ко всему публичному,— отрезал он.— Как к публичным женщинам, например.

Инструкторша покраснела и смолкла.

Как искренняя и горячая была его речь на отчетном собрании Вологодской писательской организации в 1984 году! Он критиковал писателей-вологжан за то, что снизили требовательность к художественному уровню своих произведений:

— Учтите: нам нужен уровень не вологодский, а общесоюзный. И за счет притока новых сил, и за счет повышения требовательности к себе.

Осенью 1985 года состоялась писательская поездка по рубцовским местам. Выступая в Николе, Василий Иванович упомянул об эпизоде, случившемся в Харовском районе, когда два первоклассника не захотели жить в интернате и отправились пешком домой за 60 километров. А уже у самого дома их схватили и, не дав повидаться с родителями, увезли в интернат. Я попросил Василия Ивановича уступить мне этот сюжет для детской повести.

— Ну что ж,— ответил он, подумав.— Только ударь посильнее по школьным интернатам,— безобразие, что там творится! А сюжет... Бери, у меня сюжетов хватит!

Этот сюжет и лег позднее в основу моей детской повести «Беглецы», которая была опубликована в альманахе «Сполохи» в 1992 году.

В середине восьмидесятых годов Белов начисто отказался от спиртного и даже вступил в общество трезвости. Впрочем, непримиримым врагом пьянства стал он гораздо раньше: писал письма в различные высокие инстанции, вплоть до академии медицинских наук, добиваясь, чтобы алкоголь был официально признан наркотиком и чтобы запретили его продажу. Но напрасно убеждал он общественность цифрами и фактами,

напрасно метал громы и молнии со страниц газет и журналов. Спаивание народа продолжалось. Вот что писал Василий Иванович в статье «Акциз», опубликованной в газете «Сельская жизнь» 17 января 1995 года:

«Если в девяностом году только одной своей водки было произведено 137,5, то в девяносто первом уже 154 миллиона декалитров. Не думайте, что всю эту бездну сивухи демократы хранят на государственных складах. Нет, все выпито. И это примерно десять литров на человека, включая младенцев.

Почему же Госдума не ткнула носом в эти зловещие цифры ни самого Черномырдина, ни всех его финансистов? Или задача такая — двигаться к гибели?»

Чем старше становился В. И. Белов, тем большее место в его жизни занимала общественная деятельность. В июле 1987 года я пришел в писательскую организацию, где сидели В. Шириков, В. Оботуров, А. Петухов и В. Белов. Не помню детально, с чего начался разговор, вызвавший у Василия Ивановича прямо-таки вспышку гнева и возмущения:

— Не хочу я больше ничего писать! Не хочу и не буду! Зачем мне быть писателем? Я лучше плотником пойду работать! Еще хоть бы писать то, что хочется, а я вместо литературы двадцать лет занимаюсь голой политикой! Кому это нужно? Теперь вон все о демократии говорят, о свободе слова. А публиковать по-прежнему ничего нельзя. Дописал я ко второй части «Канунов» восемь глав, отправил в «Новый мир». Четыре раза уже звонили — то убери, это исправь. Самовольно убрали абзацы об О. Ю. Шмидте. Ведь прежде чем стать полярником, он аграрными делами занимался, громил крестьянские кооперативы, созданные еще до революции...

— Какие кооперативы? — спросил Петухов.

— Те самые, что на паях объединялись земельным банком. Шмидт, возглавляя комиссию, отнял у банка и у крестьян их паевые деньги. Мне говорят: там, где дело касается исторических личностей, мы обязаны консультироваться в институте марксизма-ленинизма. И послали главы на рецензию к Данилову — я его знаю — старый и очень умный еврей. Тот дал заключение, что Шмидт крестьянскими делами не занимался. Я потребовал

личной встречи, ведь у меня неопровержимые документы есть.

И кроме... Требуют убрать сцену, где крестьяне читают библию, сравнивают апостолов с Лениным, Сталиным. Вот тебе и свобода слова. Свобода есть для таких, как Вознесенский, Евтушенко и прочие, а к нам придираются по-прежнему...

Из-за этой политики даже читать не успеваю,— продолжал он.— Много интересного появилось в журналах: Можаяева надо бы прочесть «Мужики и бабы», Акулова, Дудинцева, много чего, да руки не доходят. Приедешь в Москву, спрашивают: то-то читал? А это? Нет? Темный ты человек!

В этот день он собирался на очередное совещание в Горький. Общественная деятельность и в самом деле поглощала у Василия Ивановича колоссальное время, много нервной энергии и жизненных сил. Даже на похороны Александра Рачкова 31 марта 1987 года он не приехал — был в Москве, ждал приема в ЦК. Накануне похорон я дежурил в писательской организации. Василий Иванович позвонил из Москвы, расспросил о последних днях Рачкова.

— Где прощанье-то будет?

— В доме художников.

— А почему там?

— По традиции. И Железняк там лежал, и Рубцов...

— Ладно, если уж так решили. Я, конечно, недоволен, да что делать? Если деньги нужны на похороны, позвоните моей жене.

Я сказал, что его жена уже была в писательской организации, принесла деньги.

— Жаль Сашу...— даже по телефону угадывалась глубокая горечь в его голосе.

Рачкова было жаль всем. Человек, не успевший издать при жизни ни одной книги, он, тем не менее, был подлинной душой Вологодской писательской организации почти два десятилетия и эти десятилетия были самыми славными в ее истории. Он себя не жалел для того, чтобы хоть в какой-то малости помочь тому же Белову, Рубцову, Чухину, Оботурову, Ширикову, Романову... К нему шли с горем и радостью самые разные люди: художники, актеры, писатели.

В годы изломов и перестроек, в годы ельцинской «капиталистической революции» Белов занимался общественной деятельностью с еще большей интенсивностью: часто выступал перед публикой, в том числе и в Верховном Совете, написал множество публицистических статей, опубликованных в периодической печати.

Приближалось время его 60-летия — октябрь 1992 года. Мы в «Красном Севере» тоже готовились к этому юбилею. Я заказал большую статью о Белове поэту Александру Романову, разыскал около десятка фотографий, в том числе снимки Белова с Гагариным и Шолоховым. Подготовил выдержки из выступлений и статей Ю. Селезнева, С. Залыгина, В. Кожина, В. Распутина. Из вологжан, кроме Романова, написал статью прозаик В. Шириков. В номер не хватало «малости» — публицистической статьи самого юбиляра. Правда, Василий Иванович сказал мне, что оставил статью для «Красного Севера» в редакции харовской райгазеты по пути в Тимонику, с просьбой переслать ее нам. Каково же было мое разочарование, когда за несколько дней до юбилея я увидел эту статью в конкурирующей с нами газете «Русский Север»! Снова позвонил Белову. Он тоже был озадачен:

— Да не хотел я печататься в «Русском Севере»! Это, наверно, редактор харовский перепутал, не в ту газету послал. Ладно, у меня тут есть стихи разных лет. Напишу вступку и сегодня же занесу тебе. Устроит?

Поразмыслив, я остался даже доволен — стихами Белова не могло похвалиться в ту пору ни одно издание. Так и появилась в «Красном Севере» за 23 октября 1992 года большая подборка его стихотворений. Из рукописи, которую принес Белов, не вошло в подборку лишь одно маленькое стихотворение. Вот оно:

*Ходил бы я на врага  
И были бы мы с ним квиты —  
В песчаные берега  
Мои друзья зарыты...  
И стало мне тяжело вдруг.  
Оружием враг бряцает,  
Хотя стремится Юг  
И Пинега мерцает.*

1985 г.

Суть стихов понятна — горечь об ушедших друзьях — Яшине и Абрамове — и острое чувство одиночества на пронизывающем ветру истории...

Кстати сказать, названием этого очерка послужила строка из стихотворения В. И. Белова, вошедшего в эту газетную подборку. Стихотворение называется «Надпись на книге для Станислава Куняева»:

*О Родине душа моя болит.  
Она скорбит по вырубленным сечам,  
По выкачанным недрам и названьям  
Засохших рек и выморочных сел.  
Болит душа...*

*И странен отголосок  
Душевной боли — мой веселый смех  
Среди друзей, среди живых и навших,  
Сплоченных снова вражеским кольцом.*

1982 г.

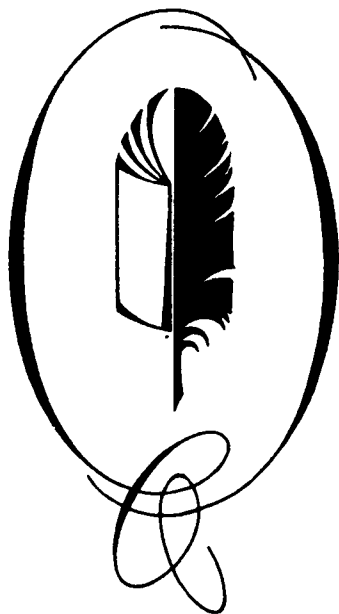
Во второй половине девяностых годов я редко встречался с Беловым. Он почти не появлялся на писательских собраниях, а я в середине 1996 года ушел на пенсию, так что и в редакции газеты столкнуться мы уже не могли. Но остались у меня многочисленные блокноты из командировок, поездок, записи встреч. Я не стенографирую, но пытался по мере сил подробно записывать выступления Белова, которые удавалось услышать.

Жизнь подарила мне 35-летнее знакомство с одним из интереснейших и талантливейших людей двадцатого столетия, и за этот подарок я бесконечно благодарен судьбе.

# *Литературное наследие*

---

---



---

## ВИКТОР КОРОТАЕВ

*Виктор Вениаминович Коротаев родился в 1939 году в Вологде. После школы закончил педагогический институт. Первую книгу стихов выпустил будучи студентом. После службы в армии работал в газете «Вологодский комсомолец». В 1961 году, после выхода сборника стихов «Мир, который люблю», был принят в члены Союза писателей. С тех пор у В. В. Коротаева вышло более двадцати книг стихов и прозы, им была написана пьеса «Женская логика», поставленная на сцене областного драмтеатра. Пять лет В. Коротаев возглавлял Вологодскую писательскую организацию. Двенадцать лет вел литературное объединение при газете «Вологодский комсомолец». Был лауреатом премии А. Яшина, А. Фадеева, Н. Островского. Ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».*

*В своем творчестве поэт бесконечно любит жизнь, он добр, отзывчив, и все эти качества сполна воплощены в стихах и поэмах, прозе. Тема любви к Родине, к людям — главная тема поэзии В. Коротаева.*

### ПЕСНЯ О ТЕБЕ

Не поет за лесом гармошка,  
Не шуршит камыш у ручья.  
Лишь прошелестит под окошком  
Легкая походка твоя.  
Поверну дверное колечко.  
Ночь на удивленье светла.  
Только никого у крылечка,—  
Это просто осень пришла.

Помни же, моя золотая,  
Я в своем далеком краю  
С именем твоим засыпаю,  
С именем — твоим же — встаю.

Дождик поколотится в крышу,  
Ветер постучится в нее.  
Ясно на рассвете услышу  
Чистое дыханье твое.  
Подхвачу рубашку со стула,  
Только зря дойду до ручья.  
Это у калитки вздохнула  
Тонкая березка моя.

Помни же, моя золотая,  
Я в своем далеком краю  
С именем твоим засыпаю,  
С именем — твоим же — встаю.

Падает на светлые росы  
Тихая листва сентября.  
Слышно, вновь у ближнего плеса  
Кто-то окликает тебя.  
Встану и замру под сосною  
И с трудом стряхну забытье.  
Это осень вместе со мною  
Имя повторяет твое.

Помни же, моя золотая,  
Я в своем далеком краю  
С именем твоим засыпаю,  
С именем — твоим же — встаю.

\* \* \*

Пришла пора замаливать грехи.  
Не так уж много времени осталось.  
Не зря,  
Не зря предзимняя усталость  
Диктует  
Покаянные стихи.  
Пора,  
Пора замаливать грехи.

В каких я только водах  
Не тонул,  
В каких лесах и поймах  
Не блудился.  
И бился  
О гнилые сваи пирса,  
И слушал  
Вечных недр  
Утробный гул...  
Но линию свою,  
Однако, гнул.

Нет, я не отпеваю  
Сам себя.  
Я просто мыслю  
Трезво и бесстрашно,  
Что пожил вволю,  
Плача и любя...  
И только жаль  
Осиротить тебя

Все остальное — в принципе —  
Не важно.

*20.09.96 г. Ночь.*

\* \* \*

Никуда не уйдут поезда,  
Никуда самолеты  
Не денутся.  
Поплывем-ка, родная,  
Туда,  
Где блистает в лесах  
Воскресеньце.  
Посидим  
На березовом пне,  
Поглядим

На дрозда черноглазого,  
Чтобы завтра  
О нынешнем дне  
Было что вспоминать  
И рассказывать.  
Как не выкроить  
Лишний часок  
Для такой человеческой  
Прихоти,  
Если годы уходят  
В песок,  
И вовек их оттуда  
Не выхватить.  
Вся судьба наша —  
Замкнутый круг,  
За него мы ни разу  
Не вылезли.  
Самый лучший правительству  
Друг —  
Это все же  
Собачка на привязи.  
Неужели ни разу  
«За жисть» —  
Записных бунтарей  
Соплеменники —  
Не сумеем  
Ни цепь перегрызть,  
Ни ременные сбросить  
Ошейники?  
Все сегодня  
Способствует нам:  
В магазине селедка  
И водочка,  
И плывет  
По веселым волнам  
К нам навстречу  
Свободная лодочка...

\* \* \*

Дунул в окна полуночный ветер —  
И с полей васильковых  
Принес  
Горьковатые сумерки  
Веток,  
Золотистые полдни  
Берез.

Холодок  
Родниковых ромашек,  
Бражный дух  
Молодых клеверов  
И медовую солнечность  
Кашек,  
Что сомлели  
Во мгле вечеров.

Сколько сразу —  
Цветенья,  
Кипенья,  
И волнения  
Трав и ветвей...  
А всего-то —  
Одно дуновенья  
От родимых  
Российских полей.

\* \* \*

Еще не уставший от жизни,  
Но вдоволь хлебнувший ее,  
Брожу по родимой Отчизне,  
Вторгаюсь в житье да бытѣ.  
Хотя от такого  
Вторженья,  
Коль честно  
Оценивать жизнь,

Не ubyло в мире  
Движенья,  
Не прибыло тоже,  
Кажись...  
Зачем же присваивать  
Право  
Судьбу поворачивать  
Вспять?  
Губительна  
Эта отрава —  
Господство свое  
Утверждать.  
Не лучше ли встать  
Под навесом  
Едва уцелевших  
Ветвей,  
Прощенья  
У речки и леса  
Просить за себя  
И детей.  
Чтоб в этом  
Примолкшем просторе,  
Где трепетна каждая нить,  
Пуcкай в неудобстве  
И горе,  
Но все-таки... Все-таки жить...

---

## НИКОЛАЙ ДРУЖИНИНСКИЙ

*Николай Васильевич Дружининский родился в 1948 году в д. Неклюдово Грязовецкого р-на Вологодской области. После окончания Грязовецкой школы служил матросом на Черноморском флоте, затем закончил юридический институт. Работал учителем в школе, на стройке, юрисконсультom на заводе, в районных и областных газетах.*

*В 1980 году у Н. Дружининского вышли сборники стихов «Вокзальные березы» («Молодая гвардия») и «Пастушьи напевки» (стихи для детей. Сев.-Зап. кн. изд-во, Архангельск). В 1989 году увидел свет наиболее полный сборник стихов поэта «Каемка времени» (Сев.-Зап. кн. изд-во). Лауреат всесоюзных литературных конкурсов имени М. Горького и Н. Островского. Стихи Николая Дружининского отличает своеобразная интонация, образность, любовь к русскому слову, фольклорная насыщенность.*

### ЖИЛ ЦЫГАН НА СЕВЕРЕ

*Цыганскому поэту  
Николаю Саткевичу*

Жил цыган на Севере,  
Жил средь бела снега.  
Бросил парень смолоду  
Табор кочевой...  
Часто ездил в Вологду  
На лошадке пегой.  
Часто возвращался  
С песнями домой.  
Жил цыган на Севере,  
Стыл на злом морозе.  
Было у цыгана —

восемь цыганят.

А жена цыгана



Пусть встреча моя запоздала.  
Мне прежней тебя не вернуть.  
Уеду, уеду с вокзала —  
В запретный отчаянный путь!

И стисну я зубы до боли,  
И, чтобы не высказать слез,—  
Я старую песню про волю  
Спою у вокзальных берез.

В кармане затасканный адрес.  
Кругом незнакомый народ.  
Опасная резкая радость  
Вовеки во мне не умрет!

\* \* \*

Город Тотьма. Тополя, угоры  
Да церквушки крестик вдалеке.  
Я приеду, может, очень скоро —  
На «Заре» по Сухоне-реке.  
Разбредутся тучи на рассвете  
И растают на исходе дня.  
Здесь меня по-доброму приветят,  
Встретят здесь по-доброму меня.  
Мы уедем с песнями, с баяном  
К речке Еденьге на бережок,  
Где над бором в мареве туманном  
Ястреб молча что-то стережет.  
Он кружит пообочь, не над нами.  
Он молчит, он что-то бережет...  
И под звуки вальса «Над волнами»  
Сядем мы в траву, на бережок.  
И пойдут старинные рассказы  
Про поездки тотемских купцов.  
А потом мы все замолкнем разом,  
Не найдя каких-то верных слов.  
Может быть, единственного слова,  
Чтоб душа вдруг вспыхнула — чиста.  
Тотьма — это молодость Рубцова.

Больше, чем понятие «места...»  
Мы опять поднимемся с баяном,  
Всколыхнем ромашковый лужок.  
Может, ястреб в мареве туманном  
Чье-то счастье молча стережет.

\* \* \*

Закатилось солнышко за стога...  
За леса за синие, а там — тайга.  
Не дрожи над полюшком, пустельга.  
Ты, соколик маленький, пустельга!

Не дрожи над полюшком, пустельга.  
За дождями серыми придут снега.  
Стынь-волной прокатится по земле пурга.  
Ты, соколик маленький, пустельга!

Полыхает зарево брошенных рябин.  
Не любить мне заново тех, кого любил.  
На ветрах колышется журавлиный клин.  
И зарос крапивой бабушкин овин...

\* \* \*

Над застылым болотом в ту осеннюю пору  
Все кричал одичало белогрудый кулик.  
Умерла моя милая бабушка скоро.  
Не успела последний доткать половик.

В пожелтевшем углу, помню, тихо лежала,  
Под большою иконой. В еловом гробу.  
Что дала она миру? Детей нарожала.  
Да внучат воспитала, не бранясь на судьбу.

Что дала она миру? Нелегко мне ответить...  
Я губами к платку ее молча приник.  
Умерла моя бабушка. Нету на свете!  
...Не успела последний доткать половик.

## ОКНА ДЕТСТВА

Ах, волос темно-русых волокна...  
Мама встала. Ушла на работу.  
А седые морозные окна  
Принимали зари позолоту.  
Резкий ветер завалины рушил,  
Налетел на застылые ивы.  
Я сидел у окошка и слушал,  
Жутковатые слушал мотивы...  
Но потом приходила старушка  
С чугуном. И варила картошку.  
И шутила: «Ну, Колька-Колюшка,  
Собирайся? Пойдем по морошку!»  
Помнил лето я, помнил морошку.  
Солнце тускло мерцало над бором.  
Брал я в руки малютку-гармошку  
И упрямо играл переборы.

Ах, волос темно-русых волокна!  
Мамы нет. И безмолвна квартира.  
Спит жена... А морозные окна  
Светят мне — из далекого мира.

## КТО-ТО ВСПОМНИТ ПОТОМ

*(Песня)*

Я вот завтра проснусь,  
Шевельнутся деревья...  
Будет сизый туман  
Обнимать берега.  
И со мною проснется,  
Скрипнет дверью деревня.  
И покажется мне,  
Что я прожил века.

Я пойду по траве,  
След оставив неровный.  
Будет стадо пастись  
И гудеть пароход.  
И в заречном лесу  
Запах хвои здоровый  
Будет звать меня вдаль,  
Где вскипает восход.

Будет ветер шептать  
Древнерусские были...  
Опустелый амбар,  
Серый старенький дом.  
Ничего мы с тобой,  
Ничего не забыли!  
Все, что было у нас,—  
Кто-то вспомнит потом.

Помню праздник большой:  
Мать вернулась из города,  
Из котомки достала  
Белый в крапинках хлеб.  
Этот хлеб городской  
Стоил матери дорого.  
Я на черном ломте  
Возмужал и окреп.

Я окреп не затем,  
Чтоб собой любоваться,  
Чтобы силу и удаль свою —

напоказ.

Я окреп для людей.  
Чтобы с ними остаться,  
Боль и радость делить  
В свой отмеренный час.

Я тревожно иду,  
След оставив неровный.  
И на запад гляжу,

И гляжу на восток.  
Русь — равнина моя! —  
Запах хвои здоровый...  
Никогда, никогда  
Я не стану жесток.

Настоящие люди  
Очень часто встречаются.  
И всегда предо мной —  
Серый старенький дом.  
Есть любовь, есть и нежность.  
И путь не кончается.  
Все, что было у нас,—  
Кто-то вспомнит потом.

---

## ВЛАДИМИР ХАЗОВ

*Владимир Павлович Хазов родился 7 сентября 1936 года в гор. Кадникове Вологодской области. В 1959 году закончил Пермский горный институт. Работал в угольной шахте города Кизел Пермской области. Трудился в «Агропромэнерго». Впервые стихи были опубликованы в областной газете «Красный Север». В 1993 г. вышла книга стихотворений «Серебряный конек».*

\* \* \*

Шубой черного енота  
Ночь июльская над нами.  
От прогретого болота  
Пахнет сеном и грибами.

Пахнет теплой простоквашей  
Котелок, бушлат и кепка.  
Кнут не щелкает, не машет —  
В сапоге уснул он крепко.

Под еловыми шатрами  
Шорох падающих ягод.  
Это тихими шагами  
Вновь уходит лето на год.

Спят счастливые коровы.  
Разлеглось привольно стадо.  
Знают — лето будет снова.  
Больше счастья им не надо.

Запищит во сне зайчиха.  
Куропач залает дико.  
Замолчат. И снова тихо  
Осыпается черника.

\* \* \*

Как только снег растает на болоте  
И утечет коричневой водой,  
Чуть обогнав гусей на перелете,  
На землю сядет вечер золотой.

Сам золотой, а крылья — сумрак синий  
Со звездочкой в холодной глубине.  
Как хорошо весной у нас, в России,  
И как светло об этом думать мне.

Как хорошо, что я не изменился,  
Не постарел от прожитых годов.  
Иначе край, в котором я родился,  
Мне б не дарил таких вот вечеров.

Как прежде, мы друг друга понимаем...  
Он любит жить на стрежне, на виду,  
А я люблю вечерним синим маем  
Найти над лесом первую звезду.

Темнеют дали. Меркнет позолота.  
У звездочки подруг не перечесать.  
Конечно, блажь — мечтать среди болота,  
Но, согласитесь, что-то в этом есть.

\* \* \*

Во сне машу, машу лопатой,  
А двор очистить не могу.  
И вот уже лечу куда-то  
В пушистом бешеном снегу.

Несут меня седые вихри.  
Струится сумеречный свет.  
Земные голоса затихли,  
Как будто там и жизни нет.

Все гуще ночь, все ближе звезды,  
Все больше хочется домой.  
Туда, где в облаке морозном  
Едва синее шар земной.

Где спит мое земное тело  
И сладко чмокает во сне.  
А за окошком в платье белом  
Метель уснула на сосне.

Началом старости зовется  
Тот миг, когда ночной порой  
Душа болит о производстве,  
А ноги просятся домой.

\* \* \*

Багровые перья заката  
Запутались в черных кустах.  
Чуть светится снег ноздреватый,  
Стога заблудились впотьмах.

Бывает, что надо до боли,  
Забыв об уюте и сне,  
Остаться в заснеженном поле,  
В холодном, закатном огне.

Услышать негромкие звуки  
Готовой проснуться земли.  
Понять, что печалью разлуки  
Напрасно метели мели. ¶

Осмыслить дневные заботы.  
Почувствовать пройденный путь.  
На сущность привычной работы  
По-новому как-то взглянуть.

Увидеть во тьме полусонной,  
Как, путаясь в мерзлых кустах,

Уходят угрюмой колонной  
Тоска, недоверие, страх.

Вокруг только ветер да воля,  
Да звезды в небесном окне...  
Вокруг только снежное поле  
Сгорает в холодном огне.

\* \* \*

Когда произносится слово Россия,  
Я вижу умытый дождем городок...  
Средина войны. Одногодки босые.  
Мельканье украшенных цыпками ног.

Бежим собирать у столовой окурки.  
Там летчики. Может, и хлеба дадут.  
И тут нам кричит «вакуируемый» Юрка:  
«Глядите-ка, пленных фашистов ведут».

Карболкой несет от акаций больничных,  
Где серо-зеленое стадо бредет.  
И вдруг я подумал — да так необычно:  
«А мы ведь не дети. Мы — русский народ».

И бабка моя, будто черная птица,  
(Полгода не пишет единственный сын)  
Калач подала полудохлomu фрицу,  
Который хромал без конвоя, один.

Потом принесли на отца похоронку.  
Седой почтальон, чтоб в глаза не смотреть,  
Меня обошел потихоньку стороной  
И подал листок годовалой сестре.

Когда произносится слово Россия,  
Я вижу, как пленное войско бредет,  
И машет сестра похоронкою синей,  
И бабка стоит с калачом у ворот.

---

## ЛЕОНИД БЕЛЯЕВ

*Леонид Александрович Беляев родился 17 июля 1939 года в древнем городе Белозерске на Вологодчине. Служил в армии в Заполярье, работал на судах заграничного судоходства первым помощником капитана, трудился в районной газете, на областном радио. С 1968 по 1997 годы, почти непрерывно, Леонид Беляев работал на областном телевидении в городе Череповце. Окончил филфак Вологодского педагогического института, Высшие литературные курсы в Москве. В 1979 году поэт был принят в Союз писателей, в 1996 году присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Леонид Беляев автор книг, вышедших в Вологде, Архангельске, Москве.*

*Будучи в жизни на удивление душевным и открытым, чутким человеком, Леонид Александрович перенес свой талант и в поэзию. Он был из тех редких поэтов, кто сумел в поэтической строке дослушаться, почувствовать до вечного: его стихи стали заметным явлением в литературной жизни.*

\* \* \*

Мы поедем в Чагоду  
Брать грибы да ягоду.  
Далеко от Чагоды,  
А доехать надо бы,  
Потому что ближе-то  
Все давно прочесано.  
Трудно встретить рыжичек —  
Все теперь с колесами.  
Вот и бор. Свернуть спешим,  
Тут грибы должны расти.  
Но уже полно машин  
Из соседней области.  
Вот тебе и Чагода!..  
Подошли не те года,

Когда возле города  
Были гриб и ягода.  
Не видать успеха нам:  
По родной сторонущке  
Триста верст проехано,  
А грибков — на донышке.

\* \* \*

Деревня летом ожила,  
Как в достопамятные годы.  
Со всей страны детей свела  
В дома под дедовские своды.  
Шумит ведерный самовар,  
И нет конца воспоминаньям.  
«А что, вернись, пока не стар» —  
Маячит в глубине сознания.  
Но столько тут переплелось  
Больших проблем в одном вопросе —  
Как разных трав, что вкривь и вкось  
Перемешались на покосе.

\* \* \*

Тополя роняют пух.  
Белоснежных, невесомых  
Ветерок гоняет сонный  
Крупных мух.  
Тополя роняют пух.  
Он лежит, скопляясь в лужах  
Белой вязью легких кружев,  
Мягко, сух  
Тополиный белый пух.  
Шла девчонка вдоль вокзала,  
Улыбнувшись, вдруг сказала  
Ясно, вслух:  
— Тополя роняют пух.

## СТРАНИЧКА ДЕТСТВА

Бывало так: на спящий город  
Гроза ночная упадет —  
И небосвод, огнями вспорот,  
Вдруг в темных окнах оживет.  
Я помню, бабушка вставала,  
Крестила трижды сеновал  
И чем-то белым накрывала,  
Меня пугая, самовар.  
Отца вопросами я мучил,  
За ним таскаясь по пятам:  
Кто их полощет, тряпки-тучи,  
Кто их выкручивает там?  
Его ответам я не верил.  
И весь в неверии таком,  
Бесшумно отворяя двери,  
Я пробирался на балкон.  
И в мир туманных многоточий  
Колумбом маленьким войдя,  
Я открывал тетрадку ночи  
В косую линию дождя.

\* \* \*

Заплутал. Разглядывал пни  
И стрелял, и кричал.  
Наконец набрел на огни,  
В крайний дом постучал.  
Как и всюду на Севере,  
Тут широкая печь,  
На которой хоть семеро  
Могут рядышком лечь,  
И скамья деревянная,  
И кадушка с водой.  
А особо желанная  
Встреча — дед с бородой.  
Он толкует про давние,  
Молодые года:

Как ценилось приданое,  
Как служилось тогда,  
Как бежала вся улица  
За полком егерей...  
И доверчиво жмурится  
Рыжий кот у дверей.

\* \* \*

Древний видится вал,  
Брежу озером Белым:  
Месяц там не бывал —  
Годом кажется целым.  
Чтоб совсем не зачах,  
Мне хоть изредка надо  
Согреться в лучах  
Материнского взгляда,  
Под сиянием звезд  
Побродить по бульвару  
Между лип и берез  
С легкой грустью на пару.  
Я приеду опять  
В тихий час листопада.  
Буду яблоки рвать  
Из отцовского сада  
И ловить пескарей  
В нашем старом канале.  
Лишь бы только скорей  
Эти дни наставляли.  
Здесь я сын, а не гость,  
Я не за день, не за год  
Пропитался насквозь  
Соком северных ягод.

\* \* \*

Выходит в море пароход,  
Выходит в море.  
Привычно думает народ

О разном вздоре:  
Валюта, ужин... Боже мой!  
Уже качает,  
А след мерцает за кормой,  
Наш путь венчает.  
Завинчивается вода  
И пузырится,  
Потом отстанет навсегда  
И усмирится.  
И я и все, как этот след:  
Дни скоротечны.  
А берегам износа нет,  
А волны вечны.

---

## ВЛАДИМИР ШИРИКОВ

*Владимир Леонидович Шириков родился 21 сентября 1944 года в Вологде, в семье железнодорожников.*

*После окончания средней школы служил на Северном флоте, затем работал слесарем, грузчиком.*

*В середине семидесятых годов редактировал молодежную газету «Вологодский комсомолец». Три года работал на архипелаге Шпицберген, откуда вынес богатые жизненные впечатления. С декабря 1989 года редактировал широко известную газету «Эхо».*

*Автор сборников прозы: «Пятое время года», «Хлеб детей твоих», «Кто-то помнит...», а также семейного романа-хроники «Бремя надежд».*

### У РЯБИН, ВДОЛЬ ПРОСЕЛКА...

Ночь была тревожной. Старик заснул только под утро, забывшись тяжелым беспокойным сном, и снился ему день, солнечный, ясный, совсем не похожий на осенний. В полумраке церкви тихо горели свечи и дрожащие огоньки отблескивали на старых потемневших иконах. Снилось, что стоит он рядом с Натальей, а седенький приходский священник торжественно читает о них, оставляющих отца-мать и соединяющихся друг с другом связью, которую не волен разорвать человек. И с величавой уверенностью ведут свадебную певчие.

Потом снилось, как опахнула прохладная свежесть воли, в которую, рванув с места, понесли их легкую, украшенную цветами и лентами бричку застоявшиеся вороны. Летел навстречу зардевшийся лес, а он, остановив вдруг коней, рвал для жены увесистые, сочные рябиновые гроздья. Но сзади уже нетерпеливо напирали подоспевшие тройки, и будущие сыновья торопили родителя, чтобы тот посторонился, дал дорогу гостям.

Алексей проснулся и еще несколько мгновений лежал неподвижно, озадаченный и потрясенный живостью сна, напомнившего явь. Неужели это было когда-то? И неужели ее — молодую, дорогую, милую — должен он сегодня взять туда, откуда нет возврата?

Он хотел полежать еще, но кашель — старческий, сухой — забил грудь, и, разбуженные его кашлем, поднялись зять, дочь, внуки. Поочередно прошли умыться. Затем с привычным коротким разговором сели завтракать.

Наталья умерла два дня назад на рассвете, и тогда же Алексей отвез ее в мертвецкую, чтобы проснувшись внуки-малолетки не забоялись ее, мертвую.

Вчера вечером пришли ответы на телеграммы: сыновья приехать к сроку не успевали. И сегодня был хлопотный день.

Сразу после чая зять уехал за венками, дочь ушла на кладбище проверить, все ли там готово. Сам Алексей остался с внуками. Вскоре пришли старушки, знакомые усопшей, с искренним желанием оказать подружке последнюю услугу — помочь сготовить для поминок.

Две из них остались хлопотать, а с тремя другими Алексей пошел к моргу по старенькой разбитой мостовой и дорогой все говорил о жене. Вспоминал, как они венчались, как плыли огошки по желтым тоненьким свечам и, одновременно погаснув, закружились к куполу прозрачными дымчато-сизыми струйками, и как кто-то прошептал из темноты: «Вместе помрут, друг за дружкой...» Старушки слушали сострадательно, с умилением.

У морга уже собирались люди. Пришли сослуживцы дочери, сосед Николай и еще кто-то. Принесли гроб, из приличия недолго послушали печальные причитания старушек и заспешили. Подъехал автобус. И пока провожающие, тесно сгрудившись у стены с развешенными на гвоздиках венками, фотографировались, шофер автобуса, угрюмый не то от природы, не то из сочувствия к человеческому горю, сосредоточенно рассматривал грязные колесные скаты.

Расселись без шума и ехали молча, пока не затрясло на ухабах за городом. Тогда всхлипнула дочь, и на глазах женщин выступили припасенные слезы.

Алексей сидел в изголовье — маленький, сухонький, спокойный. Услышав всхлипывания женщин, он приподнял голову. «Нет, не то,— вздохнул про себя.— Не поняли еще».

Кладбище было новое, пустынное, без привычного шума деревьев. Автобус остановился в дальнем углу возле забора. На полотенцах вынесли гроб и, дойдя до вырытой могилы, поставили на осыпающийся взгорок.

Могильщики сидели на черенках лопат, перекуривали. Увидев Алексея, один, что постарше, поднялся, подошел поближе.

— Все ладно, папаша. Не подвели. Как договорились...

Алексей кивнул, спросил, выступала ли вода, согласился, что вода в песке не держится, и неловко сунул в руку собеседника трешницу. Потом опустил на колени, поцеловал жену в застывшие незнакомые губы.

Вместе с зятем они установили крышку. Алексей бережно приладил к месту оторвавшийся бумажный вензель и, достав из кармана небольшой молоток, стал аккуратно забивать гвозди, заранее вживленные в мягкое, податливое дерево.

Над гробом зарыдала дочь. Ее взяли под руки, а гроб поставили на бруски, положенные поперек могилы, натянули на веревках и плавно опустили вниз.

Дочери подали кусок земли — она бросила его на крышку. Тотчас полетели другие комки, и размашисто задвигали лопатами мужчины.

Холмик получился высокий, грузный, и его пришлось раздвинуть вширь, чтобы не завалить табличку. Алексей еще раз обстукал землю с боков и потрогал, крепко ли стоит тумбочка.

Люди уже разбрелись по кладбищу, выискивая грудки неокрепшего снега, чтобы вытереть вымазанные глиной подошвы, шепотом передавая друг другу, что нельзя в дом приносить землю с могил.

У автобуса стоял сосед Николай и показывал желающим лопату могильщиков.

— Гвардейская... Как покойник — так зарубка.

В автобусе стало просторнее, и домой доехали быстро. Помыв еще обувь в леденеющей луже, все гуськом

потянулись в квартиру к накрытому столу. Переговариваясь, расселись: женщины потеснее на диван, мужчины поближе к водке.

Из кухни принесли кутю, и каждый взял в рот по щепотке сваренного с изюмом риса. Тем временем наполнили стопки.

Алексей поднялся, и за ним встали остальные, внимательно ожидая, что он скажет.

— Помянем Наталью Федоровну. Помолчим немного, почтим ее светлую память и помянем.

Выпили стоя, не чокаясь, и потянулись к закуске. Вторую уже пили кто как мог и, согревшись вином, оживленно заговорили между собой, вспоминая покойницу. Говорили, что умерла она скоростижно, легко, сама не намучилась и родных не намучила.

Выпив, Алексей отмяк. Водка отогрела зазябшие ноги и слегка развеяла утомленную пережитым голову, и на какое-то мгновение забылось, где он и что. Подцепив в блюдце упругий сизоватый гриб, он привычно повернулся вправо.

— Спробуй-ка, Наталья...

За столом замолчали, недоуменно и со страхом переглянувшись между собой, а он, осекшись, мелко задрожал вилкой.

— Как же это? — спросил он непонятно кого. — Я теперь как буду?

Люди вздрогнули и придвинулись друг к другу. Свояченица и дочь припали к его плечу, стали утешать, говоря то, что принято говорить в таких случаях, произнося слова, в которых важен не сам смысл, а их мерное, успокаивающее звучание. Алексей удрученно молчал и так просидел до самого конца.

Гости ушли быстро: неудобно было засиживаться среди чужого горя. Расходились в смущении, чувствуя, что должны сказать нечто нужное остающимся, но это нужное никак не приходило на ум.

Вместе со всеми засобирался и Алексей. Дочь хотела удержать его, но зять отсоветовал — пусть старик пройдет, развеется немного.

Алексей вышел и заспешил к большой дороге. Па-

мать гнала его в Марьино — село в тридцати верстах от города, где они когда-то венчались с Натальей и где вдоль проселка еще должны расти те стройные узорчатые рябины с тяжелеющими кистями, которые он видел сегодня во сне.

Вокруг догорал октябрь. Свежий, еще не схваченный морозом снег хлюпал под ногами. Воздух был талый, тихий, и шагалось легко. Алексей чувствовал, что он обязательно дойдет до Марьино, но на обратный путь сил не хватит. Но обратно идти не надо. Там, у рябин должна ждать его молодая Наталья, с которой он когда-то лихо мчался навстречу будущему счастью. Она ждала — нужно было спешить...

---

## ЮРИЙ ЛЕДНЕВ

*Юрий Макарович Леднев родился 25 ноября 1929 года в Макарьеве-на-Унже. В 1952 году, после службы в армии, с рекомендацией поэта Михаила Спирова он поступает в Литературный институт, где под руководством писателя-вологжанина Валерия Дементьева и при горячем участии поэта Александра Коваленкова успешно защитил в 1957 году диплом. Стихи, вошедшие в дипломную работу, с благословения поэта Сергея Городецкого появились сначала в коллективном сборнике, а позднее оформились в первую собственную книгу.*

*С 1972 года жизнь Ю. М. Леднева была связана с Вологдой. Он автор многих книг стихов и прозы, нескольких пьес и более чем тридцати песен.*

### НАШ ДОМ

Наш дом стоит на косогоре  
тремя окошками на юг,  
весною — в радужном уборе,  
зимой — серебряный от вьюг.  
И пусть у нас не много злата,  
не густо снеси про запас, —  
весь день с восхода до заката —  
свет солнца в горнице у нас.  
И видно счастье нам и горе,  
и кто там недруг, кто нам друг.  
Стоит наш дом на косогоре  
тремя окошками на юг.

## ОСЕНЬ

В природе — редкое смиренье.  
Сочатся частые дожди.  
В избушках сварено варенье.  
Галдят про выборы вожди.  
Обманутые «бабьим летом»  
Проклюнулись круги маслят.  
Но стали холодной рассветы,  
И листья по ветру летят.  
Легла на травы паутина.  
Теперь недолго до зимы.  
Четыре журавлиных клина  
Сегодня проводили мы.

## У РОДНИКА

У родника стояли двое.  
К руке притронулась рука.  
И стало донце золотое  
У родника, у родника.  
Над ними ивушки качались.  
Им пели птицы в вышине.  
Они впервые повстречались  
наедине, наедине.  
Они впервые целовались  
у родниковой ворожбы.  
Две тропки в узел завязались  
и две судьбы, и две судьбы...

\* \* \*

Колышутся заросли тихие,  
Купаются в травах цветы.  
И ходят тут лошади дикие,  
и чешет им ветер хвосты.

А что же, а что же в них дикого?  
Подков не прибито к ногам.  
Да в поступи — тяга великая  
к некошеным вольным лугам.

А где-то на выбитой площади,  
где воздух бензиново-пьян,  
тоскуют недикие лошади  
по дальним бескрайним степям.

И дико им в ночи морозные  
в конюшнях глухих взаперти  
И снится им: лошади звездные  
по Млечному мчатся пути.

## СОН НА ЗАРЕ

На заре мне приснился восставший из мертвых боец.  
В серой шапке. И в валенках серых. И в серой шинели.  
Тот боец был убитый под Лодзью мой бедный отец.  
Я спросил у него: — Папа? Ты? Это ты? Неужели...  
Отвечал глуховато негромкий простуженный бас:  
— Вот и свиделись мы. Не пугайся, сынок, ради Бога.  
Увольнение коротко... Срок истекает сейчас.  
Мне обратно туда... Невеселая это дорога...  
— Папа, милый... Зачем, почему оказался ты тут?  
Что тебя потревожило в дальнем краю на рассвете?  
— Я пришел посмотреть... посмотреть, как живые  
живут...  
как живые живут на оставленной нами планете...  
— Ну, и как? — Плохо, сын. Вновь война наточила  
ножи.  
— Мы ее не допустим... не пустим...— Возможно,  
возможно...  
Ты вот пишешь стихи. Ты, пожалуйста, людям скажи:  
на Земле надо жить... надо все-таки жить осторожно...  
Разменяли на медную ржавчину рек серебро...  
Порешили леса, что росли, хорошея, от веку...

В человеке заложено рядом и зло, и добро.  
И никто не придет, чтобы вынуть худое ребро.  
Переделывать надо себя самому человеку...  
Так скажи, не забудь...— Ты куда же?..

Я маму сейчас разбужу.

С ней ведь хочешь увидеться?..

Он побледнел как-то странно:

— Нет, не надо... Не надо, сынок... Ей нельзя... Ухожу...

И ушел, прикрывая рукой огнестрельную рану.

---

## НИКОЛАЙ ФОКИН

*Николай Васильевич Фокин родился 31 мая 1953 года в деревне Котельниково (ныне с. Можайское) Вологодского района Вологодской области. После школы работал слесарем в г. Соколе, затем лесорубом в Архангельской области, откуда и был призван в армию. После армии жил и трудился в Краснодарском крае. По приезду на Вологодчину работал газетчиком, в строительных бригадах и в других организациях.*

*Н. Фокин в 1983 году переехал в с. Нюксеницу Вологодской области. Здесь и вышла его первая книга «Посошок», куда вошли стихи разных лет. В 1994 году Н. В. Фокин был принят в Союз писателей России.*

\* \* \*

Не провожай скупым поклоном  
Меня, негаданный ночлег:  
В избушке этой незнакомой  
Я не случайный человек.  
Спасибо, бабушка, за сочни,  
За миску крепких русских шей...  
Я много думал этой ночью  
О древней родине моей.  
И за сердце меня задела  
Ее нелегкая пора.  
Не от тоски душа болела —  
Душа болела от добра.

### БАБЬЕ ЛЕТО

Гляжу с утра на голые луга,  
Где стынут, словно рыжики в сметане,  
В тумане озаренные стога,

Храня страды последнее дыханье.  
Пошла на убыль светлая пора,  
И на прощанье праздни разодело,  
Стреножив в поле борзые ветра,  
Свое лицо открыло Бабье лето.  
Еще один свершился в мире круг  
И повернулся к северу сурово!  
Еще тепло и радостно вокруг,  
Но все смешаться с бурей готово!  
И я смотрю на родину с мольбой  
И не могу осенним надышаться...  
Останься дольше, белый свет, со мной!  
Во мгле еще успеем налегаться!

### КАРТОШКА

Запалю костер на огороде.  
Выше бани пламя разведу  
На ночную белую звезду,  
Деревенской радуясь свободе.  
Ах, вы, искры — золотые мошки!  
Хорошо, когда земляца есть.  
Напеку разваристой картошки,  
Обжигаясь, буду ее есть.  
В дни нужды! В бедовую порошу,  
Вдруг судьба закусит удила,—  
Ах, картошка, милая картошка,  
Лишь бы ты меня не подвела!

\* \* \*

Я любил в нашей старой избе  
Песню зимнего ветра послушать,  
Как умел он, свернувшись в трубе,  
Изводить свою бедную душу.  
Под углей остывающий жар  
Кот зевает на жесткой лежанке.  
На столе пироги, самовар.  
Сладкий запах индийской заварки.

Мать проведать решила меня:  
Хорошо поживаю ли, худо?  
Только голову к бабке склоня,  
Я твержу: «Не уеду отсюда...»  
Дорогая, смешная мечта!  
Мы с тобой были резвые дети,  
Потому нас ждала суета  
И скитанья по белому свету.  
Что искали мы? Что обрели?  
В стороне от родимого дома?  
Может, что и сулилось вдали,  
Да досталось кому-то другому.  
Обескрылило время избу,  
Схоронили без музыки бабку.  
Больше ветер не плачет в трубу  
Разве всхлипнет в подъезде украдкой.  
Мы вернулись. Но в этом ли суть?  
Почему так тревожится память?  
И село, странно выпятив грудь,  
Смотрит каменно в снежную замять.

\* \* \*

Мы долго пили мед хмельной  
Из прокаженного сосуда  
И с охмеленной головой  
От жизни требовали чуда.  
Что чудо в нас, забыли мы  
И налегали на веселье,  
Пока заразное похмелье —  
Не отрезвило нам умы.  
Мы раскололи свой сосуд,  
И отказались от чуда,  
Но жизни неизбежный суд  
За нами следует повсюду.  
Не будет счастья долго нам,  
Пока с бесовским настроеньем  
По нашим выбитым следам  
Идет другое поколение.

\* \* \*

Дорогу так переметало,  
Что свету белому не рад.  
К огням завьюженным вокзала  
Я пробивался наугад.  
Вдруг голубое озаренье  
Среди пугающей ночи:  
Пронзили белое смятенье  
Фар ослепительных лучи.  
Я вскинул руку: друг любезный,  
Откуда ты? И в самый раз!  
Прогрохотал в ответ железно  
Ширококузовый КамАЗ.  
Прогрохотал и двинул дальше,  
Сильнее холодом обдал.  
И я, с досады изругавшись,  
Ему кювета пожелал.  
И снова шел, подставив ветру  
Лицо для крепких оплеух,  
Браня холодную планету,  
Ее зимы недобрый дух.  
И вот, когда в продрогшем теле  
Тепло едва я ощущал,  
Увидел вдруг: на самом деле  
КамАЗ в кювете буксовал.  
И стало так смешно и грустно  
От слов пророческих своих,  
Что я подумал: «Правда, чувства  
Сильней моторов громовых».  
Шофер совковою лопатой  
Копался в адовом снегу.  
И я сказал ему: «Понятно,  
Дозволь, братишка, помогу».

*1977 г.*

\* \* \*

Родимый край, пускай умру  
Перед судом молвы недоброй.  
Тебя в свидетели беру:  
Я не хитрил в своей дороге.

---

## АЛЕКСАНДР ШВЕЦОВ

*Александр Сергеевич Швецов родился в 1951 году в дер. Поповское Сокольского района Вологодской области. Закончил естественно-географический факультет ВГПИ. Работал на заводах, стройке, в сельской школе. Служил в Советской армии — в Нагорном Бадахшане и Молдавии.*

*В 1973 году Александр Швецов познакомился с известным русским поэтом-фронтовиком Николаем Старшиновым, сыгравшим в жизни вологодского поэта огромную роль и как наставник, и как человек. А. Швецов — лауреат областных поэтических конкурсов и первой премии за лучшую книгу года в серии «Молодые голоса» — издательства «Молодая гвардия» (1980 г.). Публиковался во многих всероссийских изданиях. Стихи Александра Швецова включены в «Антологию русской поэзии XX века» (гл. ред. В. Костров, Г. Красников). Член Союза писателей с 1983 года.*

### БАЛЛАДА О СТРЕЛАХ

*Художнику Михаилу Брагину*

Показалась с востока луна  
Желтолицым ордынцем. А Вася  
После песен и после вина  
С ненаглядной своей миловался.

Выпил квасу  
— Гляди веселей!  
За меня, дорогая, не бойся! —  
Подмигнул ненаглядной своей,  
Боевой рукавицей утерся...

Отмахнись-ка в бою от кола!  
Повяжи-ка Москву поясами!  
Рвутся с привязи колокола  
Разъяренными рыжими псами.

Высока городская стена,  
На замках крепостные ворота.  
Но ударила в сердце стрела —  
И утратила чудо полета...

Одолев и глубокие рвы,  
И замки на воротах, и стены,  
По просторным музеям Москвы  
Разлетелись ордынские стрелы.

## ДОРОГА

*Плотниковскому Женьке*

Дороженька моя...  
Шумит трава над нею.  
Да ведь и я, и я,  
Увы, не молодею.  
Все тяжелей, увы,  
По ней взбираться в гору.  
Но сколь на ней травы! —  
Пройти с косою впору.  
Но сколь цветов над ней!  
Сюда б детей! — жалею.  
Но лишь не косарей...  
Цветов-то сколь над нею!  
И нету смерти! Пусть!  
На все цветы живые  
В последний раз взглянуть —  
Как будто бы впервые.

## КРУГОВОРОТ

*Россия, Русь...*

*Рубцов*

Еще рождался древний лик Земли...  
Не бороздили воды корабли.  
Не бороздили небо самолеты.  
Не бороздили сушу поезда...  
Да и сама пока что Борозда  
Не знала ни ухода, ни заботы —  
Намеченная в каменной пыли  
Метеоритным росчерком вдали...

Но и Она одним безвестным Днем  
Освящена неведомым Зерном...  
И вот — взошло!  
И вот — заколосилось!  
Над бездной вод!  
В груди заколотилось —  
Горячим Хлебом,  
Молодым Вином!..

Россия, Русь... Голодная страна.  
А из вина не вырастишь зерна...  
Все реже в рейс уходят самолеты.  
Все реже в рейс уходят поезда.  
И зарастает в поле борозда —  
Без нашей с вами ласки и заботы.

Все реже в рейс уходят корабли...  
Еще рождался древний лик Земли...

## ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЧУХИНА

Мне сегодня не спать,  
Перечитывать книги твои,  
И опять и опять  
Перечитывать давние письма...

Не мешай мне, пожалуйста, матушка,  
Дверь затвори,  
Много лет  
На свидание с ним  
Торопился.  
Полежи на диване,  
Не стой надо мной.  
Посижу, помолчу,  
Погляжу на последнее фото.  
...Только ветер гудел,  
Да еще за спиной  
На диване скрипучем  
Ворочался кто-то.

## РУБЕЖ

*Отечество нам Царское Село...  
Пушкин*

Старый тополь. Старая скамья —  
Вся Россия, Родина моя.  
И стоять мне до конца уже  
На своем последнем рубеже...

Ничего, возьму пилу свою —  
Распилю и тополь и скамью,—  
Все, что так храню и берегу!  
И — огня не одолеть врагу!  
Лишь бы охранить без мандража  
Неприкосновенность Рубежа...

Пусть и так: ни дерева, ни скамьи —  
Голо все! — ни друга, ни семьи.  
Но уж такова она — душа:  
Не дано ей жить без Рубежа!

Голо все... И все же, через год —  
Ничего! — Все снова прорастет!  
Ничего! Возьму пилу свою —

И поставлю новую скамью!  
Надо будет — снова все пожгу:  
Ждать и верить тыщу лет могу.

## НА РЕКЕ

*Балакшинскому Человеку-реке*

Шумит река!  
Под берегом качается.  
Вторую ночь!  
И сила не кончается.  
И эхо откликается в дали!  
И кажется,  
Сейчас из русла вынырнет,  
И словно корни, над землею вывернет  
Глубокое спокойствие земли!..  
И страшно мне,  
И, да, признаюсь, весело  
Глядеть в ее грохочущее месиво.  
С покорностью,  
С восторгом,  
Не дыша...  
И кажется,  
И все яснее кажется,  
Что и на мне  
Такое чудо скажется —  
Перевернется  
И моя душа!

\* \* \*

Не надо, божатка, не якай  
и зло на меня не гляди  
за ярко наколотый якорь  
на в общем-то штатской груди...

Не надо, божатка, пустое...  
Ты в душу мою посмотри.

Уж если и есть что святое,  
оно не снаружи — внутри...

Как странники в старой  
России, пытая себя за грехи,  
тяжелые цепи носили,  
ношу по дорогам стихи...

\* \* \*

Живем на родине добром.  
Но поначалу мало верю:  
без грубых слов не строим дом,  
кота приравниваем к зверю...

И лишь потом,  
украсив дом  
и молока купив для «зверя»,  
я успокаиваюсь, веря:  
живем на родине добром.

\* \* \*

Вторые сутки в мире  
Снует крылатый снег...  
Живу в чужой квартире,  
Занятный человек.

Над химией колдую,  
Потею, словно тут  
Пишу не курсовую,  
А свой научный труд!

Хоть бойким рос на воле,  
Но все же иногда  
Сидел девчонкой в поле,  
Мечтал, как никогда.

И плыли волны плавно  
От ветра по траве,  
И планерами планы  
Парили в голове...

Качаются деревья,  
Метелям нет конца...  
Уехать бы в деревню —  
На родину отца.

Над веселой речкой  
Домик наш парил...  
Крылышко крылечка,  
Перышки перил...

И сдавит душу давнее:  
Все та же или нет  
Столица деревянная  
Моих ребячьих лет,

С бревенчатым дворцом,  
Построенным отцом?

Поведайте, рябинки,  
Приснившись нынче мне...  
Перебирал пробирки,  
А родина — в уме...

## ВЕСЕННЕЕ

Сошли сугробы, обнажая  
канавы, рытвины, поля...  
До безобразия живая  
прекрасно выглядит Земля...  
Иной, глядишь, и телом гибок  
и ростом — вешай фонари,  
но без сомнений и ошибок,  
застывший словно изнутри...  
Не слышит: птицы прилетели,  
касаясь песнями земли...  
Какие вьюги и метели  
живую душу замели?

---

## МИХАИЛ ЖАРАВИН

*Михаил Геннадьевич Жаравин родился в 1959 году в дер. Еловино Кичм.-Городецкого района Вологодской области. По окончании десятилетки работал в колхозе, леспромхозе, служил в армии. С 1980 года М. Жаравин жил в Вологде. Закончил машиностроительный техникум, работал на подшипниковом заводе токарем, заточником, наладчиком. Заочно закончил Литературный институт им. М. Горького в Москве. На Всероссийском совещании молодых писателей 1994 года Михаил Жаравин был принят в Союз писателей России. Публиковался в «Литературной России» (предисловие В. И. Белова); журналах: «Север», «Поле Куликово», «Воин России», «Наш Современник».*

### ЛЁСИНА ПРАВДА

*Александр Цыганову*

Онисья, отправляя мужа в Вологду, наказывала:

— Кланяйся дитям да выпенничай им,— носу домой не кажут! Рази дорогу забыли? Да не загостись там, смотри...

Натузил Леся в вещмешок картошки, в сумку — луку, грибочков сушеных, в ящик — варенья, мяска, пряжеников. Ноша-а! И покатил. Телеграмму загодя отправил: встречайте такого-то числа.

Дальше райцентра в свои шестьдесят Леся не бывал. Мог бы по молодости, да признали какую-то плоскость в пятах. Из-за нее и в солдаты не попал, прожил в деревне безвыездно. Потому и женился рано. И, наверно, из-за плоскости этой худо жилось с бабой. Характерная была Настюха! Сбежал от нее к Ониске, вдове. По-первости, в каждом доме обсуждали: «Чеканулся Олеха! От крали экой да на двоих роят... Ладно бы

Ониска хоть пригожая была, а то... Поди-ко вот, разужнай, чем она берет...»

Однако Алексей не шибко прислушивался: языки они языки и есть, посудачат и забудут. А к сынкам Онискиным душой прикипел с первых дней — ласковитые росли. По милости младшенького, Юрки, и Лесей заделался: не умел ребенок выговорить Лёша — Леся да Леся, а какой-то деревенский балагур подхватил. Ровню-то давно вон полным имечком величают, а он до седины так Лесей и остался...

В вагон насилу забрался, ладно люди добрые пособили.

А когда за окошком стемнело, и соседи вповалку уснули, Леся не удержался, остановил проводницу:

— Дочка, ты уж обскажи мне чередом скоро ли Вологда?

— Отдыхайте, дедушка,— заулыбалась проводница,— рано утром Вологда. Я разбужу вас, не забуду...

«Интересно, какова же столица-матушка,— размышлял Леся,— ежли в Вологде эвон сколь людей, и все бежат куда-то, друг дружку не замечают, не здороваются...»

Не встретили сыновья, и Леся топтался на перроне, на людей подходящих и уходящих глаза: куда теперь?

«Э, да язык и до Киева доведет!» — опомнился дед и, приметив военного, без стеснения остановил его, потряхивая бумажкой с адресом:

— Мил человек, укажи старику дорогу, в какую хоть сторону мне идти?

— Идем, дедусь,— рассмеялся военный и подхватил сумку.

Они обогнули угол бело-красной каменной домины, и Леся увидел много разных легковушек.

— Земляк! — окликнул Лесин поводырь зевающего шофера,— отбрось деда по адресу...

Уложив повоз в багажник, усадив Лесю, таксист спросил:

— Куда едем?

— К Юрику! — устраиваясь удобнее, важно ответил Леся.

— Адрес какой? — повысил голос водитель.

«И куда я бумажку поклат?» — растерянно зашарил Леся по карманам стеганки: — А, вот, Возрождения...

Ему хотелось поговорить с шофером, но тот слишком сосредоточенно крутил руль, и Леся засмотрелся по сторонам, он видывал городские хоромы в телевизоре, но наяву они были гораздо внушительней: «Поди в одном доме народу напехано боле, чем во всей Смольянке...»

Водитель остановил, выложил поклажу и запросил пять рублей.

— Чаво? — изумился Леся. — Да я за пятерку-ту тебя вместе с колымагой до Смольянки уволокчи могу...

Но шофер застрашал милицией, и Лесе пришлось заплатить. Дверь открыла заспанная невестка.

— Ой! Юрий! Отец приехал!

— Молодец какой, а! — обнимал Юрий отчима. — Ну, батя, учудил! Мы тебя вчера на каждом проходящем искали! А в фуфайке-то зачем? Еще бы штаны ватные...

— Ну вы и спать, — отговаривался Леся. — Не робите штоль? Светка где? Я варенья ей привез, — и, скинув сапоги, ступил осторожно босыми ногами на ковер. — Погли-ко — светопреставленье! Юрик, ты часом не министр? — Леся долго дивился, глядя на шкаф со стеклянными дверцами, за которыми на полках стояли хрустальные безделушки. — Богатей да и только! Теперь я понимаю, вас в деревню жить и на ужище не затащить! Так и матери передам.

— Надо бы к Виташе сходить, — когда Валентина усадила за стол, приговорился Леся. — А внучка где? Сказывай...

— У моей мамы. Не беспокойтесь, отец, — смутилась невестка. — Маме одной... боится она. Вот и ночуем: то Света, то я.

— Ночуем?.. — удивился Леся. — Нет бы сватью-то к себе взять!

— Ты, батя, это... Тесно у нас, — покраснел Юрий. — Квартиру к тому же беречь положено, а вдруг Светка годиков через пять-шесть замуж выскочит?

Подниматься к старшему брату Юрий отказался наотрез:

— Здесь подожду тебя, батя. Не засиживайся, нам ведь «симени огурешнова» купить надо — вдруг да не хватит на всю-то Смольянку. Иди, иди, я курну...

«И какие болести они тут делят? — огорченно поднимался дед по лестнице, — родные братья, а совету нет...»

Виктор встретил радушно — забыл в комнату пригласить. Тискал отца в прихожей:

— Батя, а бороду зачем отрастил? Седая же вся. Лезвий нет? Я дам, у меня есть! А хочешь, механическую купим? Ольга, правда, отец с бородой на лешака смахивает?

— Не говори глупостей! — строго одернула мужа Ольга. — Проходите, отец...

Сказать честно, Витина Олена Лесе не глянулась. Правильная через меру. Не скажи ничего, не пошути. Когда и в деревне бывали, за каждое слово Виташку оговаривала. И Леся замялся:

— Юрик меня ждет на улочке, мы за симём собрались на базар.

Ольга надулась, будто ее оса ожгла, а Витя потемнел лицом, но тут же встряхнулся:

— Я с вами...

— Если ты... — недовольно отреагировала супруга, но муж отмахнулся.

Когда Виташка, с опростанной отцовской сумкой, спустился, Леся, увидев на нем очки, заговорил совсем не то, что хотел.

— Витюха, седла-ти зачем оболук? Худо видишь? А мне вот семьей десяток, а глаз как шило...

— Ну, батя, — вроде как обиделся Виктор, — ты всю жизнь коровам хвосты крутил да на вольном воздухе, а у меня детальки мелче иголки перед глазами каждый день, вот и попортил...

— Тебе-то кто помешал хвосты крутить? Приезжай, уступлю, а то ведь скоро некому будет.

Виктор сердился, Юрий посмеивался, меж собой братья не говорили.

В автобусе, сев на сиденье напротив сыновей, Леся коснулся темы, которая его волновала:

— Не по правде живёте, сынки. Вот мы с мамкой — чем владеем? Деревянная койка, печь да икона над столом, а заходи любой сосед, примем, не опосредуем, не охаем... А вы? Руки друг дружке не подали...

Виктор хмурился и молчал, а Юрка оправдывался:

— Да мы ничего... Ольга у него больно крута: не уйди никуда, не выпей, а на меня у нее вообще — аллергия.

— Как та Настюха, — вздохнул Леся, — робят не несёт, то и злится. А насмельтесь, Виташа, возьмите робенка в детдоме. Тогда вся ее правильность на пользу пойдет...

— Ты что, батя, как — неродного-то? — неловко отвел глаза сын.

— Так я-то вам тоже неродной, — спокойно отозвался Леся.

— Что ты, отец! — в один голос, громко зашептали братья.

— Ты родной! Самый родной! Ты и мама...

— А говоришь, неродной, — удовлетворенный горячностью сыновей добавил отец. — Эт-то, сынки, зависит от того, как поведешь...

Семян братья накупили всяких и заспорили с торговцем яблоками о цене, собираясь, видно, в обратную дорогу нагрузить отца не меньше. Лесе было неудобно, он отказывался от гостинцев: ведь Онисья-то выкорит, скажет, ободрал робят, охачил, — но сыновья не слушали возражений. И Леся потихоньку-потихоньку и учесал от них на улицу.

Потолкался немного в толпе, удивляясь обилию народа, но вспомнил, что в городе суббота — день красный и простил всех праздношатающихся. И увидел очередь к газетному киоску.

«Умное прописано, раз очередь», — решил дед и встал в «хвост».

Перед ним стоял молодой парень в кожаной куртке. «Знать и тут в Вологде с лезвиями натужно, — отметил Леся, обратив внимание на аккуратно подстриженную, темную бородку парня, — вот молодь и та бороды растить почала...»

— «Вологда» свежая? — спросил бородатый молодой в окошко, — дайте десять номеров.

— И мне десять,— неожиданно для себя запросил Леся. Бородатый незнакомец, что стоял впереди, не отходя далеко, устроился на лавочке и углубился в чтение. Присел рядом и Леся. И по примеру незнакомца развернул газету: «Правда. Рассказ».

«Стоящий, стало быть, раскас, раз он к нему прилип, не оторвешь»,— подумал Леся и начал читать.

Читал он, не как бородач, а очень быстро. Прочел, вернулся к началу и побежал по тексту снова, снабжая каждый абзац комментариями. И так увлекся, что, не заметив, придвинулся к соседу вплотную, и начал подтыкать его локтем, высказывая соображения:

— Слышь-кось, тут про Феклу, соседку мою, писано! Ты понял? От эть — в самой Вологде пишут! Помню я, приезжал к нам один, вычепуристый такой. Ружье будто старинное искал, а сам, гли — описал! Токо напутал — видно не шибко памятливы!

Парень оторвался от газеты, улыбнулся виновато, а Леся продолжал:

— Всем сельсоветом Феклушу мы маялись, искали, а уж сын ейный приехал,— не поверишь,— голосом ревел! А тут Верке Луковой возьми да приснись,— мельник-покойничек, по избам ходючи, Феколкин платок предлагает. Знамо, кинулись мы на мельню — нету там никого, а дымом-дымом так и наносит. Запыхал Крутихинский завал, чаша там страшная... Прилетели на вертолете пожарники, они бабку и нашли, бегала она осерёд поल्या, полоумная... Никомушеньки не говаривала, а моей Ониске — у бабки баньки своей нет, так она в нашей моется — вот в бане-то Ониске и призналась: на мельне жила будто бы...

Леся не замечал, что собеседник, отложив газету, внимательно слушает.

— Вишь ты, не зря, выходит, мельня Верке снилась... А этот вычепуристый по-другому все перекрестил, а так-то ведь — правда! У нас во Смольянке и было. Я эту газету всей деревне покажу...

— Вам понравилось? — по-доброму, но как-то виновато улыбаясь, спросил парень.

— А то? — уверенным вопросом ответил Леся.

— Так деревня Смольянка? А район? А вас как величать?

— Лес... Монаков я, Алексей Петрович,— не сообразив, зачем собеседник записывает на газете фамилию, ответил дед.

— Батя! Ешь-карны! Мы там весь базар взрыли, а он сидит, газетки читает да лясы точит! — зашумели сыновья...

...Братья устроились на кухне за бутылкой, а Леся с внучкой, невесткой и сватьей смотрели телевизор. Потом, не обращая внимания на уговоры сыновей — выпить, Леся занялся рассказывать женщинам бывальщины, а ближе к вечеру засобирался на вокзал.

— Бать, да как же... хоть ночку одну...

— Нет уж,— совсем необидно отказался дед.— У тя, Юрка, тесно, а у Витахи скушно... Давайте вы к нам! Сватья, внученька, летом жду. Рыбой свежей, ушицей — закормлю, ну, молочко там и — все прочее... Счастливо!

Через месяц Виктор прислал письмо: «Мама, не бранись, а надумали мы с Ольгой ребеночка взять в детдоме. Охота мальчика смугленького, лохматого, как наш Леся. Живем мы теперь в квартире Юркиной тещи, а она — у Юрки. Ольга на седьмом небе...»

Онисья разрыдалась, потом помолилась:

— Дай им, Господи, добра и здоровья...

Еще через неделю почтальон принес бандероль. Онисья, обиженная, что гостинец адресован мужу — дети-то обычно писали на нее — забранилась:

— Плутень бесстыжий! Выманил у робят, охачил...

Развернули — книжка. И надписано: Манакову Алексею Петровичу за правду. С уважением автор...

Все соседи переходили к Манаковым. Дивовались.

Никола Корюкин, который раньше кроме как Лесей соседа не величал, заговорил удивленно и уважительно:

— Ты, Петрович, обскажи уж, как это за два дня дружбу с писателем завел?

И в довершение — пожаловала к Манаковым учителька:

— Алексей Петрович, мы ждем вас на классный час. Расскажите ребятам о писателе, и за что он книжку вам подарил...

---

## АЛЕКСЕЙ ШАДРИНОВ

*Творчество Алексея Юрьевича Шадринова — исключительное явление в русской поэзии рубежа веков. Первая книга поэта из Белозерска «Далекий плач» увидела свет спустя два года после его трагической гибели во время прохождения службы в армии, но большая часть стихов и удивительные поэмы так и остались в семейном архиве Шадринových. И хотя отдельные тексты были опубликованы в журналах «Наш современник», «Москва», «Север», в альманахе «Белозерье-2», поэтическое наследие Шадринова ожидало лучших времен.*

*В этом году в Москве, в издательстве «Наш современник» вышла книга его избранных стихотворений и стихов. Его загадочные стихотворения, полные мистики и философских откровений, находятся вне времени, но в едином потоке сознания, пытающегося найти ответы на вечные вопросы бытия. Поразительно объемная и богатая смысловыми оттенками лексика, удивительные сравнения, рождающие множество ассоциаций, выразительные эпитеты, неожиданные рифмы, смелые ударения — все свидетельствует о подлинном и редком поэтическом даре.*

\* \* \*

Там, где все кончается однажды,  
И глаза безжизненно грустны,  
Все проходит с утоленьем жажды,  
С претвореньем радостной весны.

За чертой порога голубого  
Будет все несбывшееся здесь.  
Хриплый звук охотничьего рога  
Разнесет отчалившую весть.

Если б знать нам, сколько нужно силы,  
Чтоб шагнуть за голубой порог,  
Бросить край, приевшийся, но милый  
В желтизне дымящихся дорог.

Чтоб за жизнь устало не цепляться,  
Как вцеплялась в дерево лоза,  
Не гадать: к чему же это снятся  
По ночам желанные глаза.

## ВОЗГЛАС

Я увидел сегодня  
Безумно красивый восход!..  
Говорят, на востоке  
Все небо ножами распорото.  
И небесная кровь  
С убиенного неба течет.  
И с печальных березок  
Стекает осеннее золото.

\* \* \*

Назрело солнце, обещая лето,  
Тревожный май взобрался на помост.  
И сеет ветер в решете душистых веток  
Холодный дождь на мировой нарост.

Просили кисти слезные черемух  
Запечатлеть их невесомый след,  
Но белый плач осыпался у дома,  
И никому не выполнить обет.

Просили птицы, пели и просили,  
Просили днем и в полночной тени...  
Просило все, и наполнилась Россия  
Стенаньем просьб воспеть и сохранить.

Просил меня оставить и не думать  
Один закат, сошедший вдаль и вниз.  
Заволокло и, свесившись угрюмо,  
Весенний дождь разбился о карниз.

\* \* \*

Я очень даже весело живу,  
Со мной всегда безмолвный собеседник,  
Копчу ли небо, мну ль в лесу траву,  
Иль слушаю церковную обедню.

Ну что с того, что так я одинок,  
Зато никто устоев не нарушит.  
Уже в июне скошен мой цветок,  
И шмель напрасно над поляной кружит.

Взойдет ли стон, и вырвется ли крик —  
Не будет внят никем из шумной стаи.  
О, плоть моя, сгори и растворишься —  
Я не виновен в том, что неприкаян!

Я не обижен в тиxости своей  
И, оупев от взглядов равнодушных,  
Я с каждым днем грустней и тяжелей  
От праздно́й силы, больно рвущей душу...

\* \* \*

Когда в трудах бессмысленных горю  
Я, ежечасно исторгая стоны,  
Себе ли в утешенье говорю:  
Минует день, печалью населенный!

Хоть для меня слова мои — не бронь,  
Пощада их ко мне не удержи́ма.  
Но боли несмолкающий огонь  
Горит в моей душе неистребимой.

И этой скорби слипшейся покров,  
И, поневоле, ночь моя бессонна —  
От них я лью бальзам заветных слов:  
Минует год, печалью населенный.

Когда и день погаснет, как свеча,  
На ложе отпускающие руки  
Отнимут все и заберут печаль,  
Беззубый плач смирившейся разлуки.

Лишь потому я смерти не зову,  
Что как фитиль, не мною подоженный,  
Истлеет весь, быть может, наяву...  
Минует срок, печалью населенный.

*(Публикация В. Баракова)*

---

## ВАЛЕНТИН ФЕДОТОВ

*Валентин Ильич Федотов (1937—1981) родился в деревне под Череповцом. Работал шофером во Всесоюзном объединении «Череповецметаллургхимстрой». Заочно закончил Литературный институт имени М. Горького. Поэтические публикации его неоднократно появлялись на страницах журнала «Север». Автор книги «Жизнь прожить...».*

\* \* \*

Березы, березы, березы!  
Средь вас так светло и легко,  
Как будто все беды и грозы  
Ушли далеко-далеко,  
А жизнь стала легче и проще,  
Раздумья ясны и светлы,  
Как в полдень в березовой роще  
Облитые солнцем стволы.  
Листвы ниспадающей ливни  
Омыты слезинками рос.  
И чище, добрей и наивней  
Я сам становлюсь средь берез.  
Исчезло с души утомленье.  
Иду и листа не сорву  
С березок, что прячут колени  
Стыдливо в густую траву.  
Впервые на будни иначе  
Взглянул из прохладной тиши.  
Ах, много как все-таки значат  
Березы для русской души!

## НА РОДИНЕ

Ветер смял воробьиную стаю  
И рассыпал по веткам берез.  
Здравствуй, родина! — кепку снимаю,—  
Здравствуй, дом, где родился и рос!..

Покосился, осел, постарел он.  
Видно, время настало стареть.  
Но любовь к нему сердце согрела,  
Видно, некому больше согреть...

Я немало шатался по свету,  
Может, многих теперь удивлю,  
Что огромную нашу планету  
За родную деревню люблю.

Только стыдно мне стало — откроюсь,  
Снова встретиться с давней виной —  
Дом родительский я не достроил,  
А отец не успел пред войной.

Передать я сумею ли сыну  
Эту святость к родимым краям,  
Эту тихую нежность к осинам,  
Даже к старым ненужным овинам,  
И спующим вокруг воробьям?

## ЗИМНЕЕ

Горизонт отодвинуло светом.  
Землю мягко укрыли снега.  
Спит природа, все запахи лета  
От морозов припрятав в стога.

Синий воздух, бодрящий и гулкий:  
Каждый звук отдается вдали.  
А на ветках нам белые булки  
Снегопады в лесу напекли.

Так чиста и опрятна окрестность,  
Что едва ветерок налетит —  
Каждый куст мелодичным оркестром,  
Словно в праздник, опять зазвенит.

И хоть тусклое солнце, но снизу  
Свет от снега струится сквозной,  
И стоишь, словно весь им пронизан,  
Ослепленный такой белизной.

Глубже чувства, и видится дальше —  
Ведь такая кругом чистота!  
И стерпеть даже капельку фальши  
Не позволят родные места.

## ТЕБЕ

С тобой хоть изредка встречаться,  
К тебе издалека бежать  
Таким огромным было б счастьем,  
Что и в руках не удержать...

Иль на случайной встрече краткой,  
Каких нельзя предусмотреть,  
Волос любуясь каждой прядкой,  
В лицо любимое смотреть...

Ты так в ответ умеешь глянуть,  
Что щеки загорят огнем,  
И как из чаши на поляну  
Я выбегаю вешним днем.

И мир весь кажется мне чище,  
Повсюду — свежесть и весна.  
Такого дела сердце ищет,  
Чтоб ты была поражена.

## СТАРЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Деревья старые могучи  
И высоки.  
Со всех сторон  
Видны взметнувшиеся к тучам  
Их кущи потемневших крон.

Окрепшие стволом и нравом,  
Они за многие века  
Святое заслужили право  
Смотреть на молодь свысока.

Когда от страха перед бурей  
На землю падает трава,  
В суровом сдержанном нахмуре  
Лишь побелеет их листва.

Привычно, видно, не впервые  
Им отражать за долгий век  
Удары молний грозовые  
И ветра бешеный разбег.

Родных небес высокой сини  
Впитался в них такой запас,  
Что долго им хватает силы  
И после смерти  
Не упасть.

## СНЕГА РОССИИ

Ах, как светится снег — бело-розово-сине!  
Можно долго глядеть на него не дыша.  
Как чиста в одеянии зимнем Россия,  
Как светла у России под снегом душа!

Далеко-далеко каждый кустик заметно,  
А снега так белы, что и ночь не темна.  
Больше, чем дальнобойною мощью ракетной,  
Чистотою своею Россия сильна.

От волнения в горле становится сухо,  
И прозреньем приходит открытье ко мне:  
Да, какое же нужно величие духа,  
Чтобы с Родиной встать хоть на миг наравне!

Ослепила меня бело-розово-сине  
Эта снежная гладь. Я иду не спеша.  
Первозданно чиста среди мира Россия,  
Первозданно светла у России душа.

\* \* \*

Успокоились в речках прогретые воды.  
Дремлет август под ласковый шум камыша.  
Ненадолго покой обретает природа.  
Постоянность моя обретает душа.  
Добротою и летним теплом переполнен,  
Не жалею того, что навечно ушло.  
А в груди, словно в поле  
Безоблачным полднем,  
Удивительно так высоко и светло.  
В отдаленьи ворчат утомленные грозы.  
И глядятся в небесную синь васильки.  
Догорели обиды мои.  
Даже слезы  
Нынче редки и стали почти не горьки.  
Скоро, скоро листва задрожит от прохлады,  
Будет солнце из дымки туманной всплывать.  
Значит, время такое настало, что надо  
После праздников вешних долги отдавать  
И не тратить душевные силы без толку,  
И нельзя отдаваться покою в тиши.  
Перед Родиной чувство сыновнего долга,  
Видно, зреет со зрелостью нашей души.

---

## СЕРГЕЙ ЧУХИН

*Сергей Валентинович Чухин родился 12 октября 1945 года в дер. Бабцино Вологодского района Вологодской области в семье сельских учителей. По окончании Погореловской средней школы Сергей Чухин учился в Вологодском государственном пединституте, а в 1965 году поступил на вновь открывшееся очное отделение Литературного института им. Горького. В 1968 году Северо-Западное книжное издательство выпустило первую книгу молодого автора «Горница». После окончания института С. Чухин три года работал корреспондентом районной газеты в г. Грязовце Вологодской области. С 1973 года переехал в Вологду, был сотрудником областной газеты «Вологодский комсомолец». В те годы вышли сборники стихотворений талантливого поэта в разных издательствах страны. Поэзии Сергея Чухина были свойственны мягкая лирическая интонация, удивительная искренность и классическая простота.*

### ВЕЧЕРНИЕ СТИХИ

Перехожу к печальному итогу:  
Не позабыть мне родины своей,  
Не позабыть разбитую дорогу,  
Где скачет одинокий воробей.  
Не позабыть деревни никогда,  
На целый метр осевшие избушки,  
Откуда смотрят кроткие старушки,  
Припоминая прежние года.

Сошлись у магазина мужики  
Обмыть удачно проданную телку.  
Они кричат без разума и толку  
И делают огромные глотки.

Тут ни одна не меряна верста.  
Мороз и ветер выжимают слезы,  
Трещат ночами черные березы —  
И это все родимые места!

Согреюсь у домашнего огня,  
Когда дела закончены дневные,  
Потом засну неслышно — и меня  
Сон унесет в края совсем иные,  
Где луг цветами пышными цветет,  
Где удивляет певчих птиц раскраска...  
Но и во сне я отдаю отчет,  
Что это все неправда, это сказка.

Перехожу к печальному итогу.  
Мне и во сне никак не позабыть  
Кривых берез, разбитую дорогу,  
И, слава Богу... право, слава Богу,  
Мне не дано другое полюбить.

\* \* \*

По тихим тропам родины моей,  
Где вызвездило чистые ромашки,  
Пойду бродить в сатиновой рубашке  
По тихим тропам родины моей.

Пока нигде не затопили печь,  
Пока в заре созреет день погожий,  
Поговорю с прохожим, как прохожий,  
Пока нигде не затопили печь.

Приду домой, присяду у дверей,  
Возьму перо и книжку записную...  
Но только мама знает, что ищу я  
На тихих тропах родины моей.

\* \* \*

Тропа раздвинула деревья.  
Невольно ускоряю шаг.  
И вот она, моя деревня! —  
Часовня, домики, овраг.

На крыши темные, косые  
Гляжу, волнуясь, не дыша...  
Деревня — не лицо России,—  
Душа.

\* \* \*

Работай, друг мой,  
Душою чист,  
Один проходи  
Науку.  
По праву руку —  
Бумаги лист,  
И сердце —  
По леву руку.  
Но легче будет писать  
Вдвоем,  
Если,  
Навек условясь,  
Рядом с тобою —  
Поводырем  
Незамутненная  
Совесьть.  
А трудно станет  
В пургу и свист,  
Поделят поровну  
Мúку:  
По праву руку —  
Бумаги лист  
И сердце —  
По леву руку.

\* \* \*

*А. Грязеву*

Во мглу и дождь погружена округа.  
Прекраснее погоды не найдешь!  
Такой порою не дождешься друга,  
Не тянут ни река,  
Ни зелень луга...  
Шуршит, шуршит по низкой крыше дождь  
И размывает времени границы.  
Мне снова мил осточертевший труд —  
Листать и править желтые страницы;  
И годы мои прежние, как птицы,  
Издаю мне голос подают.  
Хочу поймать мгновенье в сети строчек,  
Хочу его подольше удержать!  
Так мотылька — трепещущий комочек —  
Дитя поймает в жаркий кулачок  
И пальцы так сожмет, что не разжать.

\* \* \*

До свиданья, родная сторонка!  
Чемоданчик в руке и билет.  
Откровенно, слезами ребенка,  
Мне заплакала девушка вслед.  
Отвалил пароходишко ветхий  
От знакомых домов и берез,  
И, веселый, по палубе верхней  
Я шатался, не слишком тверез.  
И поехала жизнь, завертелась!  
Чемоданчик потерялся, ну что ж...  
Не скрываю, порою хотелось,  
Чтобы времечко, глупое сплошь,  
Воротилось!.. Но разве вернется!  
А не верить нельзя — потому,  
Может, счастье еще улыбнется,  
Да и сам улыбнешься ему.  
Так прости же, родная сторонка!

Лишь одно не отмолится, нет,  
Как открыто, слезами ребенка,  
Мне заплакала девушка вслед.

\* \* \*

Пришли на память милые грехи.  
Со мною полусшепотом болтая,  
Сидишь темноволосая, босая.  
Горланят по деревне петухи.  
Мой легкий плащ тебе великоват,  
А ты никак его надеть не хочешь,  
Но все же надеваешь и хохочешь,  
Взглянув на новоявленный наряд.  
От этой ночи долго до любви!  
Но я не в силах справиться с волненьем...  
А между тем, захлебываясь пеньем,  
Деревню атакуют соловьи.  
За перелеском от незримых струй  
Туман летит и, подымаясь, тает.  
И наша ночь от окон отступает,  
Короткая, как первый поцелуй.

\* \* \*

Друзей потянет кочевать,  
А ты у осени попросишь  
Бумаги лист, оконца просишь  
И деревянную кровать.

Листва засыплет водоем,  
Придет спокойная погода.  
Пройдет скрипучая подвода —  
И день потянется за днем.

Настроив душу на добро,  
На чистоту лесной берёсты,  
Понять природу так же просто,  
Как птице обронить перо...

---

## АЛЕКСАНДР РОМАНОВ

*Александр Александрович Романов родился в 1930 году в дер. Петряево Сокольского района Вологодской области. Окончил местную школу, затем Вологодский педагогический институт, позднее Высшие литературные курсы в Москве. Автор более двадцати книг стихов и прозы, из которых особо следует отметить книги «Русь уходит в нас», а также том «Избранного», составленный из лучших стихов поэта. Член Союза писателей с 1959 года, А. Романов стоял у истоков создания Вологодской писательской организации. Одиннадцать лет он был ответственным секретарем организации, долгое время входил в приемную комиссию Союза писателей. Именно при Александре Александровиче Романове Вологодская писательская организация приобрела тот авторитет, который и сегодня позволяет ее считать одной из ведущих писательских организаций России.*

\* \* \*

*Василию Белову*

С Ярославского вокзала,  
С Ленинградского вокзала  
В ночь уходят поезда...  
Ты чего лицо туманишь,  
Ты чего грустишь, товарищ?  
Семь рублей — и мы на полке  
И опять — туда, туда,  
Где висит на каждой елке  
Синим филином звезда.  
У курносой, белолицей  
Нашей местной проводницы  
Чаю крепкого завара  
Мы попросим, а потом,

Прислонясь к ветрам спиною,  
На полтыщи верст длиною  
Мы беседу завернем...  
Нас в дорогах покачало,  
Дружбы нашей там начало.  
Отчего же зародилась —  
Как сказать наверняка?  
Может, жаркая частушка  
Озорно и простодушно  
Огоньком сердца задела —  
И пошло от огонька.  
Разговаривают рельсы:  
«Разгорелся, разгорелся...»  
И уносятся, струясь.  
А колеса подпевают:  
«Жарче, жарче не бывает,  
Чем на Севере у нас...»  
Утро медленно краснеет.  
Здравствуй, батюшка наш Север!  
Ты гостей, конечно, ждал.  
Он шагает нам навстречу,  
Развернув огромно плечи  
От железного Урала  
До гранитных финских скал.  
Он в зеленой телогрейке,  
Строгий, жилистый и крепкий,  
Весь от инея седой,  
Шапку низко нахлобучив  
Из мехов из самых лучших  
И с Полярною звездой!  
Звездный свет нам в лица сеет  
Милый Север, добрый Север...  
Мы выходим в знобкий тамбур,  
В свет застенчивой зари,  
И курносой, белолицей  
Нашей местной проводнице  
Мы стаканы возвращаем  
И за чай благодарим.

\* \* \*

Как услышу я знакомый говорок:  
«Наша Вологда — хороший городок!» —  
Словно ветерком обдует сердце,  
Теплым, чистым, хвойным ветерком,  
И от грусти никуда не деться:  
Жалко расставаться с земляком.  
Как да что там? — на ходу вопросы,  
А перед глазами — все одно:  
Улочка, снега, рассвет морозный  
И твое кудрявое окно.  
Будто бы деревья, над домами  
Стынет дым, белес и недвижим.  
А деревья вдоль посадов сами  
Цепенеют, словно дым.  
Ты проходишь в этот час под ними,  
Задеваешь ветки невзначай,  
И пушится, как бывало, иней  
Горностаем на плечах...  
Почему-то вижу только это,  
Слушая рассказы земляка  
О кварталах, выросших за лето,  
О домах, глядящих свысока.  
Видно, так порой бывает с нами:  
Спрашиваем мы про города,  
Слушаем дивясь, а вспоминаем  
В них кого-то близкого всегда.  
Так и я — вот задаю вопросы,  
Ну, а сам — в далеком далеке...  
Вологда моя светловолосая  
С искоркой-снежинкой на щеке!

### КУСТ ИВАН-ЧАЯ

Он отраженьем с берега возник.  
Река текла, на облаке качая,  
Как будто рыбий розовый плавник,  
Куст иван-чая.

Нам приглянулось место. Мы легко  
Втащили лодку на мысок песчаный,  
И встретил нас веселым костерком  
Куст иван-чая.

Палатка зеленела. Дым синел.  
За лугом птица странная кричала.  
И нам тянул пучок лиловых стрел  
Куст иван-чая.

Я лесом, рыбой и травой пропах.  
С тобою был как прежде, как вначале,  
И трепетал жар-птицею в кустах  
Куст иван-чая.

Мы уходили к вянувшим стогам,  
И весело за нашими плечами  
Узоры вышивал по облакам  
Куст иван-чая.

Когда же день за ельниками тух,  
Взлетал, туманы белые встречая,  
Как будто красный молодой петух,  
Куст иван-чая.

## КРАСНЫЕ ТУЧИ

Люблю, как надвинутся с кручи,  
Столкнутся один на один  
Грозы тёмно-синие тучи  
И красные тучи рябин.

В кипенье раскатном и грозном  
Швыряет разгневанный лес  
Охапками крупные гроздья  
В разломы и окна небес.

Рассеются темные тучи,  
А красные, радуя взгляд,  
Ещё ослепительней, жгуче  
От молний упавших горят.

Горят над полями, домами,  
Над Русью, опять голубой,

Над нашим крыльцом и над нами,  
Все годы над нами с тобой.

Над ранней и поздней любовью,  
Над песнями прожитых лет,  
Над жизнью, над смертью, над болью,  
Над теми, кого уже нет.

\* \* \*

И вот наконец окупались  
Тревоги покоем души.  
Шары золотые купальниц  
Плывут в деревенской тиши.

И я не могу надивиться,  
Что даже в такой солнцепек  
От свежих купальниц струится  
Атласный сырой холодок.

И пахнет в безоблачный полдень  
Дождем грозовым и еще...  
Ну чем же, ну чем? Ах, припомнил —  
Прохладою девичьих щек!

А сердце мгновению радо:  
Лишь запах, лишь звук или вид —  
И сразу подскажет что надо,  
Что было — опять оживит...

В зеленые годы иду я  
И вижу чуть-чуть в стороне  
Тебя, до того молодую,  
Что даже не верится мне.

Ты трогаешь косы смущенно,  
И я от смущенья затих.  
Пылают от близости щеки,  
И свежестью веет от них.

И сердцу не надо иного,  
Чем это касанье щеки,  
Чем запах дождя грозового,  
И луга, и близкой реки...

\* \* \*

Умываюсь туманами севера,  
Поднимаюсь легко на бугры,  
И мне под ноги катятся клевера  
Фиолетовые шары.  
А заря, словно красная мельница,  
Мне опаживает лицо.  
Горизонт уплывает и светится,  
Как березовое кольцо.  
В спелой ржи, будто вытканы, вышиты,—  
То возникнут, то пропадут —  
Голубеют старинными крышами  
Деревеньки и там и тут.  
Здесь моя деревянная отчина.  
Пусть я житель и городской,  
А душе, кроме всякого прочего,  
Позарез нужен край такой.  
Не из тех я прохожих нечаянных,  
Что заглянут на ночь одну  
И у вдов, умудренных печалью  
Ищут старую старину.  
И хозяйки в домах удивляются:  
Было время — просили кусок,  
А теперь — то икону, то пряслицу,  
То ручного тканья поясок.  
И в цене не стоят — лишь скажите им,  
Но теряются бабы тут:  
Нет цены оценить пережитое,  
И задаром все отдают.  
Мне ж чего покупать, если родиной,  
Стариной ее, новизной  
Существо моё переполнено,  
Будто небо голубизной.

Всё волнует: и травы шумные,  
Свет реки и тень камыша.  
Здесь опять невольно подумаю:  
Что ж такое это — душа?  
Не приемник с чувствительной силою,  
Чтоб включить и настроить мог,  
Не березовый лист, не осиновый,  
Не старинный какой кузовок.  
А поет, и грустит, и дрожит она,  
И я думаю неспроста,  
Что душа — глубина пережитого,  
Непрожитого высота.

### СТОРОЖЕВОЙ ЛУЧ

Спать не могу. Лежу, расстроюсь.  
Недвижна ночь над головой.  
И в глубине сознания — совесть,  
Как будто луч сторожевой.  
Откуда он? В окошках звезды.  
Их блеск тревожен и могуч.  
Но в этот час, глухой и поздний,  
Нет, не от них щемящий луч.  
Он жгуч. Он будто откровенье.  
Он просекает толщи лет.  
И чем обиднее забвенье,  
Тем сокрушительнее свет.  
Из рваной памяти, из боли,  
Из мглы ошибочных дорог,  
Из дел, которых не исполнил,  
Из слов, каких сказать не смог.  
Из полуправды, ставшей в горечь,  
Из встреч, растрепанных уже.  
Всеочищающая совесть,  
Как жизни весть, горит в душе.

\* \* \*

Распахнул весеннее окошко  
В лепет листьев, в теплую струю.  
Солнышко погладило ладошкой  
Снеговую голову мою.

Ожил я от золотистой ласки,  
Будто годы жизни превозмог  
И бегу опять в луга, в подпаски,  
Будто вновь я звонкий паренек.

Так легко мне! Жизнь еще в начале!  
Но внезапно обожгла тоска:  
Люди паренька не замечают —  
Видят лишь седого старика.

И напрасно мучиться обидой,  
Что в сиянье молодого дня  
Я бреду, как всеми позабытый,  
Будто нет и не было меня.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Вместо предисловия</i> .....	3
<i>Роберт Балакшин.</i>	
Бригадир землекопов Саша Головачев и Всекрыссийский президент (достоверное повествование). Маленькая повесть	5
<i>Ольга Фокина.</i>	
«...И была у меня Россия». Стихи .....	27
<i>Владимир Кудрявцев.</i>	
«От костров поднимается дым». Стихи .....	37
<i>Станислав Мишнёв.</i>	
Мельник. Корова. Последний мужик. Рассказы .....	49
<i>Борис Чулков.</i>	
«Материнский здесь чудится взгляд...». Стихи .....	74
<i>Вера Маслова.</i>	
«От северных ягод волшебных». Стихи .....	78
<i>Антонина Каютина.</i>	
«Под водою спит моя деревня...». Стихи .....	81
<i>Анатолий Ехалов.</i>	
Снег валит. Ночь светла. Клюква огородная. Рассказы .....	85
<i>Ольга Кузнецова.</i>	
Вертолётно дерево. Рассказ .....	107
<i>Лидия Теплова.</i>	
«Дни я мерила счастьем». Стихи .....	112
<i>Ольга Гаряева.</i>	
«...И поглядеть в прозрачность вод». Стихи .....	118
<i>Лариса Мокшева.</i>	
«Звезда холодная моя». Стихи .....	121
<i>П. Иванова.</i>	
«Под тенью великих имен...». Стихи .....	126
<i>Дмитрий Ермаков.</i>	
Батон — вольный человек. День рожденья. Божоле. Ожидание праздника. Такой день. Рассказы .....	130
<i>Андрей Широглазов.</i>	
«...И три минуты вдохновенья». Стихи .....	151
<i>Александр Кормашов.</i>	
«Муза». Маленькая поэма .....	158
<i>Николай Кучмида.</i>	
От пристани до затонувшего солнца... Пейзаж. Зимой рано темнеет. Рассказы .....	163

<i>Владислав Кокорин.</i>	
«И птицы будут плакать за рекою...». Стихи .....	177
<i>Нина Груздева.</i>	
«Потихоньку оттаает душа...». Стихи .....	183
<i>Александр Грязев.</i>	
Откровение Дионисия. Повесть .....	191
<i>Александр Пошехонов.</i>	
«Мир держится на слове». Стихи .....	222
<i>Алексей Васильев.</i>	
«Высокий парень с именем Июнь». Стихи .....	227
<i>Михаил Карачев.</i>	
«Воскресит наши русские лики». Стихи .....	237
<i>Александр Цыганов.</i>	
Счастье. Помяни мое слово. Правда. Клюква. <i>Вологодские рассказы</i> .....	245
<i>Василий Мишенев.</i>	
«Продлятся наши радости земные». Стихи .....	271
<i>Василий Белов.</i>	
У котла. Во саду при долине. Рассказы .....	278
<i>Виктор Бараков.</i>	
«Слову предела нет». <i>Литературно-критический обзор</i> .....	319
<i>Василий Елесин.</i>	
«О родине душа моя болит». «Василий Белов. Встречи. Впечатления. Записи.» .....	335

## ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

<i>Виктор Коротаев.</i> Стихи .....	390
<i>Николай Дружининский.</i> Стихи .....	396
<i>Владимир Хазов.</i> Стихи .....	403
<i>Леонид Беляев.</i> Стихи .....	407
<i>Владимир Шириков.</i> «У рябин, вдоль проселка...». Рассказ .....	412
<i>Юрий Леднев.</i> Стихи .....	417
<i>Николай Фокин.</i> Стихи .....	421
<i>Александр Швецов.</i> Стихи .....	426
<i>Михаил Жаравин.</i> «Лёсина правда». Рассказ .....	433
<i>Алексей Шадрин.</i> Стихи .....	440
<i>Валентин Федотов.</i> Стихи .....	444
<i>Сергей Чухин.</i> Стихи .....	449
<i>Александр Романов.</i> Стихи .....	454

*Издание подготовлено к печати при поддержке  
начальника департамента культуры Вологодской области  
В. В. Кудрявцева*

---

## ЛИТЕРАТУРНАЯ ВОЛОГДА

*Альманах*

Редакторы:

*А. А. Цыганов  
В. А. Плотников*

Художник

*Э. В. Фролов*

---

Сдано в набор 28.08.2001 г. Подписано к печати 21.09.2001 г.  
Формат 84×108/32. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 24,36.  
Тираж 3000. Заказ 3212.

---

ВОЛОГОДСКАЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
160035, г. Вологда, ул. Ленина, 2.

ПФ «ПОЛИГРАФИСТ». 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

